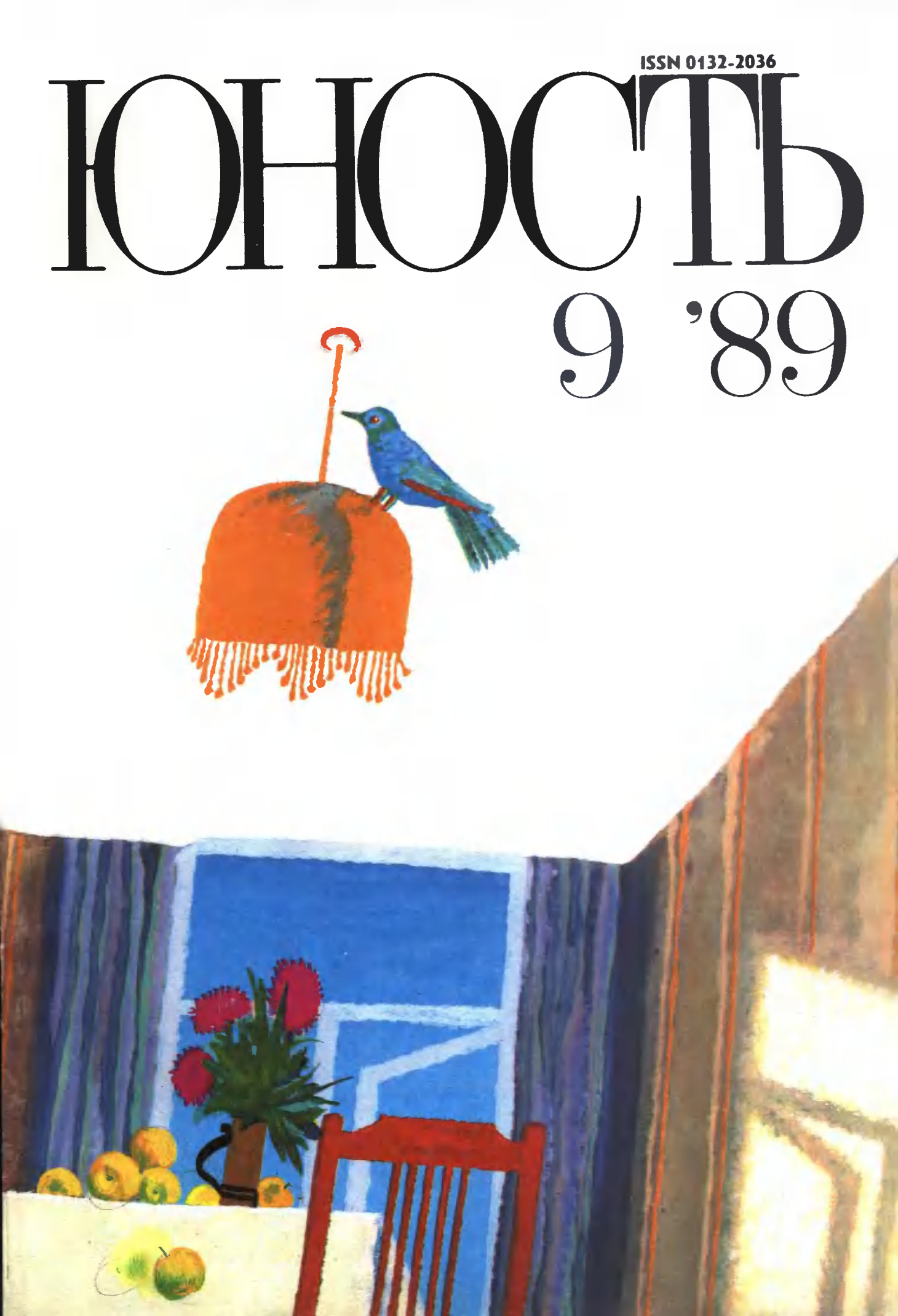
ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

9 '89



Татьяна НАЗАРЕНКО.
Цветы. Автопортрет. 1978 г.

Смотрите нашу вкладку.

ЮНОСТЬ

9 (412) '89

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1955 ГОДУ

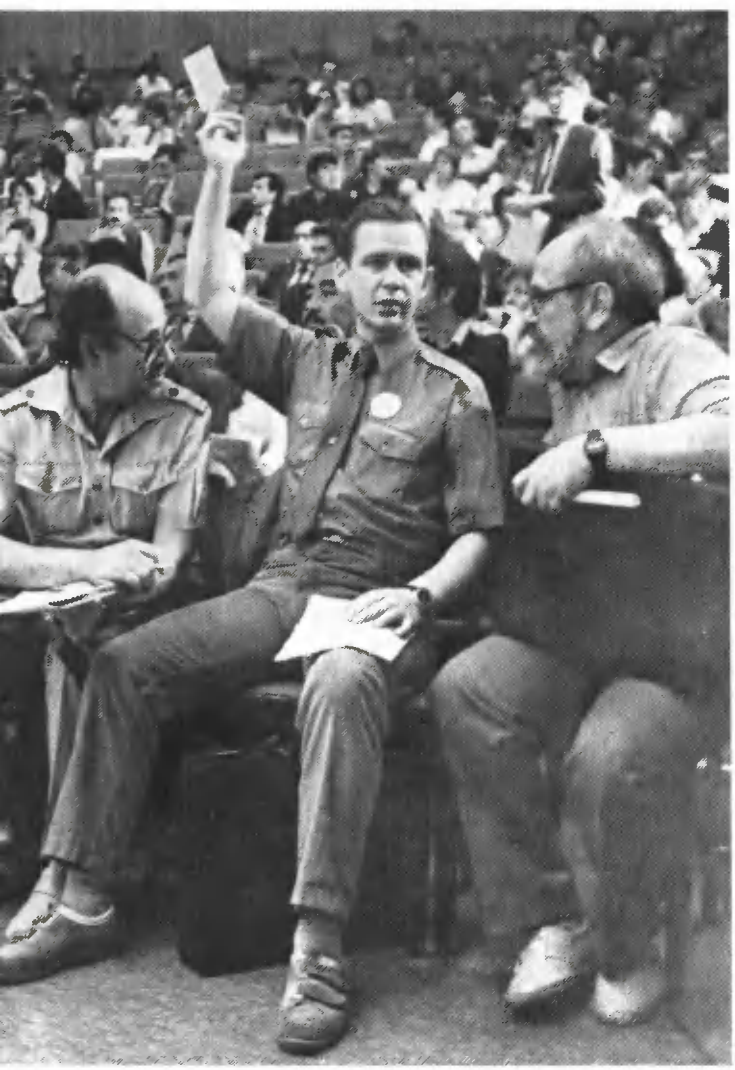
Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:
Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Татьяна БОБРЫНИНА
Борис ВАСИЛЬЕВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Олег КОКИН
Александр ЛАВРИН
Виктор ЛИПАТОВ
(заместитель главного редактора)
Игорь ОБРОСОВ
Мария ОЗЕРОВА
Виктор РОЗОВ
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Александр СЕРЕБРОВ
Евгений СИДОРОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Издательство ЦК КПСС «Правда»
Москва

Точка зрения

СЕРГЕЙ СТАНКЕВИЧ: ТАМ, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ ЕДИНСТВО, ТАМ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПАРЛАМЕНТ



В этой рубрике мы будем предоставлять слово народным депутатам.

Народному депутату Сергею Станкевичу 35 лет, женат, растит дочь, работает старшим научным сотрудником Института всеобщей истории АН СССР, специализация — история парламентаризма.

Прежде чем дать ему слово, наш корреспондент Сергей Адамов задал несколько вопросов, уточняющих позицию депутата.

КОРР. Уникальность нынешней ситуации в том, что и Съезд, и Верховный Совет СССР являются одновременно и высшими законодательными органами, и школой демократии для депутатов. Во время учебы ошибки и «двойки» неизбежны. Не может ли это фатально отразиться на дальнейшем развитии событий?

СТАНКЕВИЧ. Действительно, это школа, но обучение в ней бесплатным не назовешь. Уроки очень дороги, и важно подолгу не засиживаться в одном классе. Первые «занятия» показали наши проблемы в демократическом воспитании, и главные из них — предубеждение, самозапугивание, какой-то мистический ужас по отношению к политическим группам. При одном упоминании слова «фракция» у одних — уже душа в пятках и спина в поту, а у других — охотничий блеск в глазах и боевой клич у горла. Хотя никто из нынешних депутатов никогда прежде ни в чем фракционном «замешан не был», но реакция срабатывала автоматически: видно, где-то на уровне генов в нас заложена и политическая наследственность.

Поскольку парламент мы вводим в нашу жизнь, как хочется надеяться, всерьез и надолго, от продолжения разговора о фракциях нам никуда не уйти. Это и будет темой моего выступления.

КОРР. При всем нашем уважении к Съезду создалось ощущение, что это слишком громоздкий орган, чтобы быть действительно рабочим. Ваше мнение?

СТАНКЕВИЧ. В том виде, как он зафиксирован в Конституции, он — не законодательный орган. У меня такое впечатление, что и задумывался он как собрание, где гипертрофирована представительская функция. Представлены регионы, различные мнения: Мы послушаем, Мы взвесим, Мы решим. Мы одобрим, что нужно,что не нужно, Мы пропустим мимо. Съезд пока не приспособлен принимать решения. Поэтому такое стремление с нашей стороны придать Съезду грамотную структуру, дать возможность группам самоорганизоваться по принципиальным позициям и вести конструктивный диалог. Тогда мы отойдем от модели большого митинга, который ничего не решает, а лишь раздражает людей: болтать болтают, а результатов нет. Это чревато разочарованием народа в демократии.

КОРР. Сейчас, когда мы говорим «меньшинство», то подразумеваем группу радикально настроенных депутатов, пытающихся объединиться в рамках межрегионального клуба. Но есть и другое меньшинство, чьи черные ЗИЛы аккуратно выстраивались справа от входа во Дворец съездов. Как вы относитесь к этой депутатской группе?

СТАНКЕВИЧ. В зале депутаты делились на подавляющее большинство и подавляемое меньшинство. Эту группу, сидящую отдельно, подавляемой никак не назовешь. Хотя они чувствовали себя в несколько непривычной роли. Подвергались критике, прямым выпадам, в том числе и персональным. С этой точки зрения прежнего комфорта они были лишены. И в то же время ощущение хозяев положения за ними оставалось.

У нас на глазах происходит процесс перераспределения власти, во всяком случае, он начался. И, конечно, это не может быть воспринято с восторгом людьми, которые долгое время обладали этой властью безраздельно. Отсюда девальвацию собственного положения, упадок собственного авторитета и критику в свой адрес они воспринимают, точнее изображают, как нападки на партию, свое поражение — как поражение социализма, перестройки.

И благодаря такой подмене в своих послесъездовских выступлениях они нагнетают атмосферу необходимости реванша. На самом деле речь идет об утрате привычно монопольного положения в системе власти вполне определенной кастовой группировки. И впервые в истории нашей страны им противостоит пока еще не очень организованная, но вполне очерченная группа людей, которые объявляют о своих намерениях вытеснить — постепенно, осторожно, не форсируя процесс, но все-таки вытеснить — эту категорию людей с занимаемых позиций в общественной системе, поскольку занимают их не по праву. Не по праву интеллектуального и морального авторитета, не по праву людей, демократически избранных народом. Более того, на них лежит груз ответственности за то катастрофическое кризисное состояние, в котором мы находимся. И когда они говорят, что вы рветесь к власти — я согласен. Да, борьба за власть демократическими средствами — это и борьба за демократизацию самой власти.

КОРР. Каково ваше самоощущение в этой борьбе? Вы получили то, о чем столько лет мечтала на кухнях российская интеллигенция, моделируя заманчивую ситуацию типа «Если бы директором был я, то...».

СТАНКЕВИЧ. Порой ощущение бессилия, когда понимаешь, как много надо сделать, чтобы в зале поселилась реальная власть. Ощущение ответственности, потому что в ходе избирательной кампании были сделаны серьезные заявления. Но главное — яростный голод на реальную законодательную парламентскую деятельность. Я долгое время посвятил изучению мирового опыта парламентаризма, и хочется многое реализовать у нас.

ЧТО ГОВОРИТ ОПЫТ?

Парламенты в зарубежных странах возникли в разное время и в разных условиях. Некоторым «храмам демократии» даже не одна сотня лет. Чего только не бывало в их истории! Впрочем, одного не бывало наверняка: единства. Там, где возникало единство, там сразу кончался парламент и начинались фикция, комедия, фарс. Весь смысл существования парламента всегда состоял в том, чтобы законодатели могли представлять в нем различающиеся, в том числе конфликтные, интересы, организованно их сопоставлять и в компромиссном виде воплощать в законах. В таких условиях появление в парламентах сравнительно устойчивых групп, объединенных близостью политических взглядов, происходит совершенно неизбежно. Вопреки любым формальным препятствиям.

Самый простой и довольно распространенный вид парламентского размежевания — правительственное большинство против оппозиции. Старейший в мире британский парламент подал пример, официально утвердив деление на правительство ее величества и оппозицию ее величества. Аналогичные системы возникли в Австралии, Ирландии, Канаде и Новой Зеландии. Буквально на наших глазах приближаются к этому классическому образцу парламенты Польши и Венгрии. В таких парламентах функции лидера оппозиции признаются настолько важными, что он получает государственное жалованье. Правительство раскошеливается ради удовольствия иметь оппозицию, которая в своей борьбе отнюдь не намерена шутить!

Одним, пусть и главным, водоразделом парламентское размежевание не ограничивается. Большинство и меньшинство представляют собой не что иное, как коалиции меньших по размерам групп. За известным пределом тенденция к разделению может вылиться в крайность не менее опасную, чем пресловутое монолитное единство: есть риск подорвать фундаментальное согласие — саму основу для компромисса. Чтобы избежать этого, в некоторых странах официально устанавливается минимальное число членов парламента, необходимое для регистрации группы. Во Франции действует лимит: 30 человек — для национального собрания и 11 — для сената. В итальянской палате депутатов в состав группы должно входить не меньше 20 законодателей, а в сенате — не меньше 10. В бундестаге ФРГ только группы из 15 и более человек вправе претендовать на официальный статус. Аналогичные ограничения существуют в законодательных органах Австрии, Швейцарии, Бельгии, Турции. В Бразилии минимальное число членов парламентской группы должно составлять одну десятую часть общего числа всех депутатов. В Чехословакии принятый в апреле нынешнего года закон о депутатах Словацкого национального совета регулирует создание депутатских клубов по интересам.

Обратите внимание на то, что парламенты, как правило, обеспечивают политическим группам помещения для заседаний, оборудование для работы, персонал помощников и многое другое, включая оплату труда лидеров групп. Никому в голову не приходит поставить под вопрос ни право групп на существование, ни пользу от их деятельности, которая целенаправленно поощряется.

Парламентские группы играют важнейшую роль в законодательном процессе: они предлагают собственные законопроекты, оценивают предложения оппонентов, вносят поправки. Поскольку все это плод коллективного поиска и глубокой проработки, эффективность деятельности всего парламента существенно возрастает. Дискуссии приобретают целенаправленный характер, ибо в прениях выступают прежде всего представители групп, которым, кстати, в ФРГ и некоторых других странах отдается предпочтение перед индивидуальными ораторами. В Нидерландах, Франции и Японии даже время для выступлений выделяется группам пропорционально их численности. В процедурных правилах нередко предусматривается пропорциональное представительство от политических групп во всех важнейших парламентских органах. Заметьте — представительство политических позиций, а не просто территорий!

КАК БЫТЬ НАМ?

Нам, конечно, сложнее. Мало ли что у них там «за бугром» понапридумывали. У нас в политике ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИЛАСЬ система монолитного единства. Попробуй-ка демократически изменить то, что исторически сложилось и хорошенько бюрократически слежалось. Говорить, правда, уже можно по-разному (спасибо некоторым академикам), но действовать пока только вместе. Только строем. Шаг вправо, шаг влево — ФРАКЦИЯ. Со всеми вытекающими...

А если все же рискнуть? Без мифов и заклинаний, без травли и самозапугивания? Повернуться лицом к реальности. Пораскинуть мозгами. Что нам, собственно, нужно от советского парламента? Первое — всесторонняя конструктивная дискуссия с трезвой оценкой имеющихся расхождений, с честным поиском общих точек. Второе — выработка взвешенных решений на основе экспертно проработанных вариантов и во имя его величества Разумного Компромисса.

Теперь вообразите себе дискуссию с участием 2250 отдельно взятых ораторов. Смогут они договориться? К тому моменту, когда закончит выступать вторая тысяча, все забудут, о чем говорила первая. Много ли толку от такой грандиозной говорильни? Думаю, не больше, чем от гипотетической попытки 2250 авторов согласовать представленные каждым из них варианты одного законопроекта. Впрочем, подобная фантастика нам, разумеется, не грозит. В реальной жизни все произойдет проще: выступят в основном «нужные» ораторы и пройдет наверняка «нужный» законопроект. И то, что для пущего плюрализма получит слово парочка оппонентов, а две-три их идеи будут торжественно пристроены к закону в качестве архитектурного украшения, сути дела не изменит. Апологетов единства любой ценой такая ситуация, по-видимому, устраивает. А избирателей?

Чтобы наш советский парламент мог консолидироваться в реальном деле, а не в слегка обновленном плюралистическом «одобрямсе», сначала надо умно размежеваться. Правда, что-то знакомое? Уже где-то слышали? Так ведь история — великий законодатель, она рождает законы почище иных парламентских...

Любой представительный законодательный орган — и для

нашего Съезда это справедливо вдвойне и втройне — может нормально действовать в одном и только в одном случае: если в составе депутатов сложится естественная структура из ограниченного числа групп, отражающих реально существующую в обществе структуру интересов. Конституция и Закон о выборах как бы предписывают нашему Съезду разделение по территориальному и институциональному признакам. Помните, сколь жарким было порой противостояние региональных «делегаций», нередко умело направляемых высокопоставленными «руководителями»? С другой стороны, постоянно сказывалось особое положение депутатов от общественных организаций. «Общественники» невольно становятся самой «фракционной» категорией, поскольку представляют организации, объединенные каким-либо ярко выраженным специфическим интересом: комсомол, профсоюзы, ветераны, женщины. Для обеспечения этих интересов депутатам, как говорится, сам бог велел определиться в качестве группы.

Таким образом, как минимум две структуры на Съезде уже резко очерчены. Если добавить к ним еще и функциональную структуру, в основном привязанную к постоянным комитетам и комиссиям («аграрники», «промышленники», «экологи» и другие), то возникает вопрос: может, всего этого достаточно? Надо ли еще как-то делить депутатов помимо уже упомянутых, столь очевидных разделений? Обязательно надо. Ибо...

Три меньшинства, одно большинство и «здравый смысл»... главное, что определяет наши групповые привязанности в парламенте, это сходство или различие в политических позициях. И в обществе, и на Съезде безусловно определился спектр позиций — от радикальной до консервативной,— за которыми стоят существенные различия в понимании смысла и цели перестройки. Можно сколько угодно проклинать «ярлыки», твердить о «единодушной поддержке курса на перестройку», но принципиальное размежевание между депутатами неотвратимо, поскольку невозможно полностью примирить сторонников, условно говоря, трех платформ.

Первую можно обозначить с помощью ключевой фразы, взятой прямо из жизни: «Валяйте, голубчики, реформируйте. Все это уже было. Мы перетерпим, покуда вы сломаете себе шею, а тогда уж наведем железный порядок, идя навстречу пожеланиям трудящихся».

Вторая платформа определяется стремлением многих больших и малых «хозяев» принести на алтарь реформ все жертвы, которых уже нельзя избежать, но удержаться наверху самим, сохраниться как слой и сохранить общий контроль над процессом перемен. Характерная черта приверженцев такой платформы — претензия на монопольное право формулировать «единственно верный курс», который надо бдительно оберегать от наскоков справа и слева. «Перестройка — это мы! Вы тут поговорите, а мы послушаем, посоветуемся и решим»,— можно прочесть на незримых знаменах этой группы.

Стороиники третьей платформы исходят из необходимости коренных, а не частичных перемен в нашей стране с целью последовательной демонополизации экономики, политики и культуры, утверждения полного контроля общества над государством и создания реальных правовых гарантий для всех гражданских свобод.

Думается, что значительная часть депутатов по крайней мере к концу Съезда вполне сознательно могла бы примкнуть к одной из этих трех платформ. Но если бы такое самоопределение произошло, мы получили бы... три меньшинства. Судя по всему, большая часть депутатов по разным причинам явно не готова к организационному самоопределению в рамках Съезда. Тут и несамостоятельиость мысли, ставшая больше чем натурой, и предусмотрительное выжидание с расчетом на продвижение в парламентской иерархии. Но очень многие депутаты предпочитают руководствоваться такой внеполитической категорией, как здравый смысл. А он предписывал привычные, проверенные меры, реализуемые постепенно и с подчеркнутой лояльностью по отношению к лидерам перестройки: «Правы они или не правы в данном случае, но перестройка-то идет, чего же по мелочам, вроде повестки дня, людей дергать. Много или мало у министра недостатков, но ведь вон кто его рекомендует, там, наверное, не раз подумали. Более-менее справляются с перестройкой — справятся и министром».

На первом Съезде самая многочисленная «фракция здравого смысла» сыграла роль встроенного тормоза. Тезис «начальству все же видней» превалировал. Периодические атаки радикалов казались моветоном, раздражали, толкали на простые объяснения — «амбиции», «самореклама» и т. п. Главный догмат приверженцев «здравомыслизма» — надо не о свободах болтать, а накормить страну — бесполезно опровергать теоретически. Лишь собственная практика способна убедить большинство депутатов: без надежно гарантированных свобод если и можно чем накормить страну, так только новой порцией обещаний. Но этим добром она давно перекормлена. Как только депутаты перейдут от процедурных вопросов и персональных назначений к систематическому принятию законодательных решений, процесс политического самоопределения нынешних «здравомыслящих» неизбежно ускорится, а расстановка сил выявится полнее и рельефнее. Об этом, кстати, убедительно говорят результаты социологического исследования, проведенного на Съезде. «В условиях плюрализма мнений,— заключили социологи,— у депутатов формируется потребность в консолидации на основе сходства позиций и интересов. Большинство опрошенных (81%) считают возможным объединение депутатов в группы (в период работы Съезда и после) для выработки общих предложений на основе единых позиций. 11% опрошенных считают это неприемлемым, а 8% затруднились выразить свое мнение». Кроме того, 63% опрошенных депутатов высказались за то, чтобы выработать процессуальные гарантии защиты прав и интересов меньшинства. Исторически слежавшийся лед тронулся! Жизнь берет свое вопреки любым догматическим заклинаниям.

ПРЕДЛАГАЮ

Итак, что же я предлагаю? Всего лишь признать то, что с очевидностью доказала мировая практика парламентаризма: депутатские группировки в составе законодательного органа — явление совершенно необходимое и безусловно полезное. Нужно сразу же узаконить в регламентах Съезда и Верховного Совета возможность свободно создавать и регистрировать такие группы. Из сострадания к тем, кого с давних времен мутит от слова ФРАКЦИЯ, давайте назовем их... ну хотя бы клубами — как в Словакии и Польше. Конечно, стоит установить количественное ограничение, на официальный статус могут претендовать группы, составляющие, скажем, не менее одной пятой части от общего числа депутатов Съезда (450 человек). Надо бы предусмотреть все необходимое для нормальной политической деятельности групп (клубов), в частности, приоритетное участие их в дискуссиях и обязательное представительство во всех органах, формируемых депутатами, начиная с Верховного Совета.

Чтобы заработал парламентский механизм компромиссного согласования интересов, они сначала должны быть организованно представлены на всех уровнях, ярко выражены и недвусмысленно сформулированы (пусть в ряде случаев даже в крайней форме — это тоже полезно). Чтобы всерьез выбирать, нужно иметь отчетливо различающиеся варианты решений. Такую возможность предоставляют только депутатские группы, сформированные на основе сходства политических позиций.

Геннадий ГОЛОВИН

ЧУЖАЯ СТОРОНА

Повесть

Фото Леонида Шимановича
Рисунки Марины Пинкисевич

Среди ночи — будто толкнули — Чашкин проснулся.

Притаившись, долго лежал под грузным ватным одеялом — пораженно слушал, как жадно хозяйничает на улице непогода.

Плотные порывистые полотнища азартно метались в отдаленной вышине, с яростным полотняным гудом сшибались — и тогда тотчас грозно шарахало понизу: на разные виноватые лады начинали побренькивать стекла, с занудной страстью взвывало в балконных прутьях, а оконная рама, дряхло вскряхтывая, принималась упорно и мелко подрагивать, будто кто-то осторожный под шумок торкался среди ночи в дом.

Сколько ни старался, снова заснуть не мог. Часу, должно быть, в пятом тихонечко вышмыгнул из-под краешка одеяла (не дай бог обеспокоить Антониду Андреевну!) и, на преступных цыпочках ступая, выкрался в кухню.

Там, света не зажигая, на уголок ледяной табуреточки опасливо присев, ногу вкруг ноги для тепла завинтив, жадно и оживленно стал курить-накуриваться, со всхлипом припадая к зажатой в кулак, как на ветру, сигарете и пришептывая без смысла: — «Вот мутота́-то, едреноть! Вот мутота́!» — не зная, как по-иному избавиться от язвительного чувства ужасающей какой-то вины, которое (он вспомнил) и оборвало среди ночи его сон.

По козырьку подоконника с казенным жестяным звуком просыпа́ло время от времени то ли дождем, то ли ледяной крупкой. Чашкин опасливо вздрагивал. Косил за окно, как испуганная лошадь.

Беда творилась за окном. Так уж победно, так уж весело-подло ползли-расползались по черной земле серые змеи и змееныши злой ноябрьской поземки, такая уж всевластная слоисто-грязная мгла простиралась над всей этой разнесчастной, в горестный сон повергнутой землей, что лучше было бы и вовсе не глядеть туда! Едва лишь касался взглядом — торжественный ленивый ужас так и обдавал душу...

Не спал. Однако то и дело словно бы ухал воображением в какие-то звонкие предобморочные омуты, и в эти миги странное чудилось ему: будто бы он — это не он, Чашкин, а голый какой-то куст в зимней степи на лысом бугре. И на него одного — как черный тяжелый ливень — летит со всех сторон вся грубая погребальная тоска этой ночи!

Не спал. Однако иной раз как бы спохватывался: «Где я?» И каждый раз сигарета оказывалась потухшей, а вокруг оказывалось все светлее. Словно бы седая рассветная вода потихоньку затопляла пространство кухни.

Не спал. Однако на исходе больного этого бдения чудеснейшее диво примерещилось ему. Вспрянул Чашкин отяжелевшей головой, растаращил кисленько саднящие веки и вдруг обомлел! В грязно-жемчужных потемках увидел: тихонько, прелестно, нежно светлеет тоненькая женская фигурка... Господи! Как залепетало вдруг сердце его! С каким облегчением рванулся всей душой своей к н е й! Чуть не слезы ли на глазах вскипели!.. Да только не чересчур уж долго длилось видение это. Сморгнул Чашкин и обнаружил, что это всего-то навсего дочка его, Катюха. Встала, должно быть, по ночным делам и вот зачем-то заглянула на кухню.

Сонно двигая руками (пожалуй, и глаз не открывая), достала дочь бутылку кефира из холодильника. Принялась жадно, громко глотать из горлышка, со счастливыми стонами придыхая. А Чашкин глядел.

Он глядел на нее снизу вверх, а внутри у него виновато, безысходно, нежно все аж переворачивалось при виде этого долгого, сухонького, как стрекоза, родимого существа в жалко изжеванной, чересчур просторной ночной рубахе, ветхо сползающей с ее тоненьких, совсем еще детских плеч.

Отчаянно жалко было ему почему-то эту худосочную девчоночку свою. Но и так же отчаянно, прямо-таки умоляюще ему хотелось, чтобы и она тоже пожалела его сейчас. «Да пусть бы и не пожалела! Пусть бы просто спросила: что с ним? Почему такой одинокий сидит среди ночи в холодной кухне, в темноте?..»

Ничего она не спросила.

С грубым звяком сунула бутылку в раковину. Сказала своим подростковым, превосходительно-хамоватым голосочком: — Вот мать-то проснется, она да-ас тебе, что накурил... — и пошла, пренебрежительно шаркая шлепанцами и стараясь, чтобы, как у взрослой, раскачивалась при ходьбе совсем еще тощенькая, жалкая ее попка.

Чашкина будто, грубо тряхнув, пробудили.

Ему сделалось стыдно. Он словно со стороны увидел: печально-потешный, ноги завинтив винтом, сидит посреди кухни шут гороховый в сиреневых кальсонах — папенька ро́дный...

Уже направляясь спать, с изумленной тревогой подумал: «Что же это было?» — опять вспомнив и внезапное пробуждение свое, и непонятное сидение в темной кухне, и эту тоску... И не нашел ответа.

И лишь когда с медленной усладой уже вытянулся под жарко натопленным одеялом, лишь когда проникновенная дрожь уже поползла вдоль позвоночника, разбегаясь в кресте зябкими сладостными мурашами, лишь когда, зажужжав за глазницами, намертво стала лепить веки клейкая тьма — лишь тогда ярко, тихо, просто возникло вдруг перед ним л и ц о, на которое он воззрился, взволнованную досаду испытывая!

Лицо тотчас же исчезло. И вот, когда исчезло, тут он вспомнил: это лицо его матери.

Не успел, впрочем, ни удивиться, ни что-нибудь отчетливое подумать — уже летел, медленно перекувыркиваясь, в черный провал сна. Успел только услышать, как в стороне чей-то голос произнес без всякого выражения, без значения и смысла: — «А-а... Вот оно что...» — и...

И тотчас его начали будить — пренебрежительными тычками в плечо — без жалости и снисхождения.

Антонида Андреевна возвышалась над ним, как всегда по утрам, олицетворением презрительного укора этой постыдной для мужика привычке поспать подольше и послаще.

Голос ее, однако, поразил Чашкина.

— Вань! — произносила она сострадательно и нежно.— Проснись, Вань...

И привычные тычки тоже, оказывается, приснились. Она потрясывала его за плечо бережно, как больного.

— Иван! Телеграмма тебе!

Чашкин сел на постели в изумлении, еще не вовсе даже и проснувшись. «Телеграмма? Ему?!» Хотел было рассмеяться от удовольствия, но не успел: чуть не задохнулся от тоскливого смрада, ударившего в голову!

Все связалось быстро и безжалостно. Сострадательный взгляд Антониды. Телеграмма. И — главное! — лицо матери, которое явилось ему (он вспомнил) в миг засыпания.

— Мать...— сказал он обреченным голосом.

В руке у него оказалась вскрытая телеграмма. Она была чуть корява от клеек и как бы коробчата от многих перегибов.

— Срочная...— прочитал он с растерянной уважительностью. Пошел к окну.

— Тапки! — нервно, с уже обычными скандальными нотками вскрикнула жена. Чашкин болезненно улыбнулся ей, вернулся, послушно стал в шлепанцы.

За окном ветра уже не было. Снежок бедно лежал на черной земле.

«МАМА ТЯЖЕЛО ЗАБОЛЕЛА СРОЧНО ВЫЕЗЖАЙ АЛЕВТИНА»

Он ждал, что в телеграмме — д р у г о е. Он был уверен, что в телеграмме — д р у г о е. Он услышал что-то вроде разочарования.

— Алевтина...— несмело улыбнулся Чашкин, не уверенный, можно ли улыбаться в такие моменты.— Какая-то Алевтина?..

— Лялька! — сказала жена.— Сестра твоя! — И, оторвав от лица мужа сострадательно-внимательный, все еще ждущий, но теперь как бы уже и разочаровывающийся взгляд, повернулась уходить.

— Ох, ты! — виновато спохватился Чашкин.— Лялька! Алевтина...— и почему-то вдруг ужасно поразился, как-то грустно поразился этому обстоятельству: Лялька, оказывается, зовет себя Алевтиной. Всю жизнь все кличут ее Лялькой, а она — для себя — вишь ты, Алевтина.

— Я тебе там начала складывать,— неохотно сказала жена, полуобернувшись в дверях.— Возьмешь черный чемодан.

— Какой чемодан?! Погоди! — неприятно взволновался Чашкин.— Позвонить бы надо! Там, может, ничего и... ничего, может, серьезного-то нет!

Не хотел он никуда ехать! Боялся он ехать! Все в нем противилось этому грубому насилию: куда-то ехать! Он пятнадцать лет не двигался с места!

И Катюха тоже глянула взглядом незнакомым. Сочувствующим (самую малость) и, как у матери, о т ы с к и в а ю щ и м.

Вдруг Чашкин обнаружил, что у него трясутся руки.

Не волновался он, если честно признаться, еще нет. Был как бы сонный еще. А вот руки, как у хорошего пьяницы, вдруг старчески затряслись, когда взялся за вилку. Тут-то он, пожалуй, впервые поверил: что-то серьезное стряслось.

Подцепил кусок картошки. Стал жевать, но все никак не мог дождаться вкуса. Попробовал проглотить — чуть не подавился!

— Ты смотри! Не могу...— произнес с плаксивым удивлением и тотчас же вспомнил подходящие случаю слова: — Кусок в горло не идет! — и очень почему-то обрадовался этим нечаянным словам.

— Может, чайку попьешь?

В голосе Антониды прозвучал отголосок давешнего сочувствия к нему — глуховато прозвучал, но и этой хмуро окрашенной нотки в голосе матери оказалось достаточно, чтобы Катюха с несказанным удивлением вздернула вдруг голову!

Чудо чудное послышалось ей, и она с недоверием переводила теперь взгляд с матери на отца, с отца на мать. С недоверием, с иронией наготове, но и с жадной торопливой детской надеждой. «Не ослышалась ли?..»

— Катерина! Опять опоздать хочешь? — прессекла мать с застарелыми интонациями понукания.

С отчаянием, мгновенно вспыхнувшим, глянула дочь в ответ.

Чашкин смотрел на них как из-за толстого мутного стекла, по э т у сторону которого бесприютно зябко было от приближения какого-то такого бесприютного, такого зябкого одиночества, какого он в жизни еще не испытывал, которого люто боялся и от одного лишь предчувствия которого вон уже как тряслись его руки, по-стариковски подрагивала голова и дурнота, как смрадная вода, колыхалась в душе, то и дело приподымаясь к горлу.

— Для Клавки клюковки захватишь, грибочков сушеных...— услышал он голос жены и посмотрел на нее непонимающе. Тут же, впрочем, вспомнил, кто такая Клавка. Сестра Антониды, работает в аэропорту, с билетами поможет.

— Ты погоди,— попросил он.— Я все же позвоню сначала. Сейчас вот в контору пойду — с директорского-то телефона быстро дадут.

Она обернулась к нему от мойки с откровенно-язвительной, жалостной насмешкой: «Ты?! Чашкин?! С директорского телефона?!» — но тут зацепила взглядом дочь, все еще сидящую над тарелкой, и набросилась на нее:

— Ты что, опять опоздать хочешь?

Вдруг Чашкину будто со стороны показали: сквернеиьким седеньким полусветом полуосвещенная кухонька, и в насильственной тесноте ее — три серепьких человека с заспанными мятыми лицами, неприбранные, вяло и безо всякой охоты начинают жить вот этот день, который уже начался и неприязненно сияет им из-за окна едкой белизной первого в этом году снега... Надоедливо журчит вода из-под крана. Антонида в мятой рубахе, далеко выглядывающей из-под угрюмобордового халатца, сучит руками в раковине — раздраженно звякает посудой, раздраженно и напористо выговаривает что-то дочери... И тут же он, Чашкин,— тесно зажатый краем стола в привычный угол рядом с подоконником и как бы оглушенно взирающий вокруг, взглядом то и дело возвращаясь почему-то к воспаленно-лиловым булыжным пяткам жены, грубо топчущим задники чересчур узеньких и маленьких для ее ног домашних тапок...

Ему будто бы со стороны показали все это. И он — не зная чему именно — ужаснулся вдруг.

А затем и в желтенько освещенной передней — тесной и узкой от старых пальто, телогреек, плащей, какой-то еще рухляди, грузно и толсто обвисающей с многочисленных тут вешалок и просто с гвоздей, вколоченных в голую стену,— в раздражительной этой тесноте, поневоле скрюченными движениями влезая в рукава кургузого своего полупальтишка, нечаянно отразился вдруг в хмуром, цвета грязного льда куске зеркала на стене и не сразу, а с тугим пасмурным усилием узнал вдруг себя в этом мужичонке с чахловато-желтым широкоротым лицом немолодой уже, больной

обезьяны, на голове которой, будто бы для потехи, напялена была мальчиковая шапочка с козыречком,— неохотно, без приязни узнал в этом человеке себя — и опять его болезненно ужаснуло!

Вернее бы сказать, не ужас это был, а скорбное, скорбно и тихо пронзающее изумление...

Он и потом — когда вышел из квартиры и стал, как больной, медленно спускаться по ступенькам, с удивлением слушая в каждом волоконце мышц своих тягостную духоту и изнеможение — осторожно стал спускаться по кривоватым и разновысоко положенным ступеням, заляпанным жирной кофейной грязью и замусоренным (аж как-то злорадостно замусоренным!) всякой унылой дрянью: окурками, горелыми спичками, вьющейся картофельной шелухой, грязными морковными стружками, рыбьими головами, огрызками хлеба, вощеными обертками от маргарина, клочьями бумаги, серыми волосяными очесами, мокрой, жирной какой-то гадостью, завернутой в рвущиеся газетные кулечки,— всем тем, в общем, что высыпалось из переполненных помойных ведер у хозяек, когда они летели вниз по лестнице к мусоровозу, который идиотским распоряжением поссовета приезжал дважды в сутки, никогда не приезжал в срок и извещал о своем приезде бесцеремонным, нетерпеливым и хамски-веселым бибиканьем на всю округу, как бы подхлестывающим бедных женщин, и без того привыкших в этой подхлестывающей жизни вечно куда-то торопиться, чтобы не опоздать, чтобы успеть, чтобы досталось...

— осторожно спускаясь по этим ступенькам мимо дверей, дрянно обитых белесо лысеющей, крупно трескающейся клеенкой, возле которых на вспученных от набившейся грязи половиках толпились намертво скорябленные от сохлой глины кирзовые сапоги, крупитчатой рыжей гущей заляпанные резиновые сапоги, опорки, галоши, где стояли скособоченные картонки с непонятным барахлом, санки, лыжи, велосипеды и все те же помойки, приготовленные к выносу,

— медленно спускаясь по этой, как в белесом кошмаре, освещенной лестнице, вдоль стен, окрашенных в грязно-розовое и сладостно-изуродованных глубокими царапами слабоумной матерщины, изображениями половых органов, эмблемами футбольных команд, названиями рок-ансамблей и уличными кличками (среди которых с унылым упорством чаще других упоминался какой-то «Гипофиз»),

— спускаясь, как будто в тошнотворный туман опускаясь, по этой лестнице, Чашкин, не переставая, продолжал слышать в себе отголоски горестного этого изумления, зябкого этого ужаса, которые наподобие слабенького электричества то и дело продирали его, уныло раздражая, при каждом взгляде на тихое убожество жизни, которое, оказывается, окружало его...

Толкнул дверь, вышел на улицу и только здесь облегчение услышал!

Все было не так уж тошно и не так уж страшно.

До зимы было еще не близко.

Земля, схватившаяся за ночь жесткими колчами, уже потихоньку оживала. Слабенький снег, покрывавший ее, серел, заметно глазу серел, и ясно было, что через час-другой он уйдет, даже памяти по себе не оставив.

И этот запах быстро намокающего снега; и хмуроватый облик влажно чернеющего, словно бы сырой сажей начерченного леса на фоне скудно побеленных холмов, обступивших поселок; и победительный, черной водой наливающийся, бодро впечатанный в белое полотно дороги след автомобильных шин; и осторожная тихая капель, уже начавшаяся с крыш; и артельная крикливая суста все куда-то вспархивающих и снова в веселую бестолковую стаю слетающихся воробьев...— все это не о зиме говорило, нет, все это напоминало, напротив, весну! И тихая, смирная радость доверчиво вдруг торкнулась возле сердца Чашкина.

Что-то вроде стыда чувствовал он от робкой этой веселости.

Полагалось, он знал, как-то по-другому себя чувствовать, получая этакие вести. Пожалуй, он даже и знал, каким у него должно быть сейчас лицо, каким голосом он должен разговаривать, как двигаться. Может быть, именно поэтому он вместе со стыдом и некие странные прикосновения удовлетворения слышал в себе: шел на работу тысячу раз хоженой дорогой, но так еще никогда не ходил. Был словно бы вяло ошеломлен, оглушен. Ноги еле переставлялись. Дурнота подкатывала к горлу... И вот это неладное, что он замечал за собой в это утро, странным и немножко стыдным образом удовольствие ему доставляло, поскольку свидетельствовало, что он все же переживает, и, похоже, именно так переживает, как полагается переживать.

Но в то же самое время он не переставал слышать и тревогу в себе, потому что настоящего-то горя он так-таки и не мог в себе услышать, хоть и усиливался вниманием. И ему было немного стыдно и немного тревожно из-за этого, но именно «немного», ибо полтора десятка лет он, в сущности, о матери не вспоминал. Почему так случилось? Из-за чего? — он об этом, конечно, не задумывался. Просто в это вот утро поневоле обратился мыслями к матери, которая, судя по телеграмме, собралась помирать, и вдруг обнаружил, как мало он о ней вспоминал все эти годы.

Конторские работать начинали с девяти. Чашкин вспомнил об этом лишь тогда, когда поднялся на второй этаж и удивился мрачной тишине, царящей в длинном пустом коридоре, пластиковый пол которого еще хранил размашистые следы мокрой тряпки.

Ступая просохшим краешком, уважительно уклоняясь при этом от раззолоченных фанерно-кумачовых щитов, во множестве развешанных тут, Чашкин стал пробираться к приемной.

Дверь туда была распахнута, у порога стояли ведра.

Сильный снеговой свет утра валил там в большие окна, и из насильственной тесноты коридора завидно чувствовалось, как там с избытком просторно, светло, начальственно, в тех директорских покоях, и как не случайно отличаются они ото всех тех каморок, щелей, отгороженных уголков, мимо дверей в которые шел Чашкин и в которых скучно и раздраженно ютилось всякое прочее немалочисленное начальство этой фабричонки, умудрившейся разместиться и даже производить всякий галантерейный ширпотреб в здании, в котором, как сказывали, до революции еле-еле размещалось волостное правление.

Чашкин переступил порог приемной и встал. Баба Вера-уборщица домывала, должно быть, в директорском кабинете.

Чашкин стоял, поджидая, и с удивлением слушал, как светлая пустота приемной прямо-таки выпихивает его назад, в темень коридора! Без злобы, но и без приязни. Словно он — инородное здесь тело.

Озлобленно пыхтя, на четвереньках, без стеснения воздев зад и плавно-протяжными движениями мокрой тряпки выволакивая за собой мусор, выползла из директорского кабинета баба Вера.

— Чо тебе?

Она глянула на Чашкина снизу вверх, из-за плеча, и по ее азартно распаренному лицу было видно, что она сейчас одинаково готова и облаять его с обычной своей непомерной злобой и, совсем напротив, распрямившись, перекинуться парой-тройкой добродушных слов с человеком, прекрасно ей знакомым.

— Да вот...— морщась, промямлил Чашкин, быстро уставившись взглядом в сторону и с трудом перемогая в себе стыд, почти страдание оттого, что мелькнуло его глазам что-то позорно-драное, грязно-голубое, никакому взгляду не предназначенное...— Вот. К начальству бы надо. Они небось не скоро еще?

Баба Вера стала с готовностью подниматься. С многосложной болью в спине, в пояснице, в коленях выпрямилась, быстро отерла лицо сгибом руки и убежденно заговорила:

— Это только ты, Ванька-дурак, да я дура, до света подымаемся горб на них ломать за восемьдесят рублей в месяц, дерьмо из-под них вывозить да пустые бутылки. А они, мил-человек, в это время еще сладкие сны смотрят (тут она зло-актерски хохотнула), как бы тебе, дураку, да мне, дуре, еще лучшее жизнь сделать: чтобы мы и вовсе спать не ложились!

Сколь ни помнил Чашкин бабу Веру, всегда она была вот такая: в злобе на весь белый свет, ничем не довольная. (Что-то смутное вспомнил тут Чашкин из рассказов Антониды о бабе Вере: без мужа растила дочку, дочка уехала, к внукам бабку не подпускает...)

— А вот эти тряпки откудова?! — вопрошала между тем баба Вера, чуть ли не тыча в лицо Чашкину каким-то драньем.— Думаешь, казенные? Ха! Это, не поверишь, еще Олькин халат, сама шила! А вот это — мешок, в запрошлый год из Егоровска комбикорм привозила! А ты говоришь...

Чашкина вдруг опять болезненно окатило, уже знакомым слабеньким ознобом неболезненно продрало. «Что ж это со мной? Столб-столбом стою зачем-то в приемной... тряпки мне в лицо тычут... А я вместо того, чтобы...»

— У меня, баба Вера, мать вроде как помирает,— сказал он.— Телеграмму вот сегодня принесли.

Бабу Веру будто на взлете подсекли. Руки с протянутыми к Чашкину тряпками она по-актерски бессильно обронила вдруг. Лицом разочарованно поскучнела.

Отворачиваясь к ведрам, в лицо ему не глядя, сказала с хмуростью в голосе: — «Что ж... Немолодая уже, наверное? Все там будем»...— и вдруг ужасно обрадовалась случившимся словам. Почти с весельем повторила, почти пропела: «Все-е там будем!» — и еще раз повторила, и еще раз.

Ловко опеленав тряпкой щетку, небрежно и властно выгнала мусор в коридор. За десять секунд управилась.

Остановившись в дверях, оглянулась:

— Ну, а к этим зачем?

— Да позвонить вот хотел. Может, позволят?

Она коротенько подумала. Сказала, как приказала: — «Тогда сиди-жди! Любка-то маленько раньше, чем они, приходит»,— и пошла. И снова, непонятно от чего взбодрившись, словно бы с вызовом кому-то запела в коридоре: — «Все-е там будем! Все-е там будем!»

Чашкин сел на уголок стульчика и стал ждать — как проситель,— с вялой досадой удивляясь на себя, севшего почему-то именно так, на уголок стульчика, сразу же покорно-терпеливую позу приняв именно просителя.

«Цок, цок, цок!» — бойко-весело застучали в коридоре остренькие каблучки.

— Дядя Ваня! Привет!

Молоденькая, сияюще-умытая, влетела в приемную Любка.

Может, ей и хотелось говорить посдержанней (повод все-таки был не из веселых), да только никак невозможно было ей сдержать упруго рвущееся из нее наружу утреннее веселье жизни. Семнадцать лет ей было.

«Вжик! Вжик!» — скинула сапожки. Одной рукой принялась расстегивать-снимать шумно шуршащую, пухлую, празднично-алую (аж какое-то розовое марево распространяющую!) куртку, другую руку— ладонью — протянула к Чашкину: — «Давай телефон, дядя Вань!»

Тот поспешно вскочил, предупредительно вложил в ладошку обрывок от сигаретной пачки, на котором лет пять назад Лялька записала ему свой адрес-телефон.

Трижды дернула наманикюренным пальчиком нежно зажужжавший телефонный диск, подождала ответа и вдруг в развеселый, совсем девчоночий разговор бойко ударилась: «Веруся? Ну, здравствуй, Веруся! И куда же это вы, голубки, тогда исчезли, интересуюсь знать??» (Несколько обидела, надо сказать, Чашкина этим разговором...)

Слушала, что говорит, оправдываясь, какая-то неведомая Чашкину Веруся, а сама в это время с откуда-то взявшейся чиновничьей сноровкой вынимала из ящиков, раскладывала по столу пухлые пачки исписанных бумаг, в стопку устраивала уныло раззявые папки-скоросшиватели. Клочки, листочки, обрывочки, попадавшиеся под руку, мельком прочитывала и с решительным облегчением, сжамкав в ладони, швыряла, не глядя, в корзинку под столом. Успевала при этом еще и покашиваться озабоченно-нежно на свое отражение в зеркальце, прислоненном к письменному прибору, и не забывала между всеми этими делами то и дело успокаивающе показывать глазами Чашкину: «Не волнуйся, дядя Ваня, я маленько еще послушаю, а потом прерву-поверну разговор. От этого дело только быстрее сделается...»

Чашкин ждал, впрочем, уже вполне доверчиво.

С благодушной отрадой — то как мужик на бабу, то как дед на внучку — глядел на Любку, этак оживленно, как синичка на кусте, живущую, зябко-весело взбудораженную свеженькой, крепенькой юностью (а главное, непобедимой верой в нескончаемость этой юности) — глядел и в который раз поражался этому чуду чудному и чудно́му: не позавчера ли вот эта самая Любка, вцепившись в мамкин палец, от земли разглядывала дядю Ваню с полувраждебным хмуреньким любопытством, покуда посреди улицы он разговаривал с ее матерью, бывшей соседкой по переулку? Было это, дай бог памяти, лет тринадцать назад, декабрь месяц был, и он даже помнит, о чем они говорили тогда — о том, как часто болеют дети в детском саду.

Глаз отдыхал глядеть на нынешнюю Любку. Удивительно и весело было глядеть. Но и горчащее, неотчетливое раздражение чувствовал Чашкин, разглядывая сегодняшнюю Любку.

Эти вчерашние соплюшки, которые без устали, волна за волной, преображались в этаких вот греховно-прельстительных, вовсю уже приспособленных для рожалого дела молодок,— они не просто свидетельствовали Чашкину, что Время идет, что Время проходит. Они свидетельствовали еще и об ошеломляющей, бесцеремонной к Чашкину несправедливости этого идущего Времени: годы, которые к ним, вот к этим девчонкам, плюсовались, эти же годы из его, чашкинской, жизни уже вычитались!

Непостижимо это было. Жутковато было.

Но не одним этим печально раздражалась душа.

Все чаще ранясь в последние годы знаками, как бы сказать, повелительности Времени,— глядя, как вот сейчас, на повзрослевшую Любку, а затем отмечая, как любки вот эти превращаются в женщин и как женщины эти начинают потом грубеть, матереть, дурнеть, словно бы спешно устремляясь по уклону, поневоле принимая все более частое участие в свадьбах, крестинах и похоронах (причем хороня уже и тех, кого он числил в сверстниках) — все чаще, одним словом, замечая течение Жизни и все чаще поворачиваясь с вопросительным недоумением в ту сторону, куда течет эта жизнь,— Чашкин все чаще и потрясеннее ловил себя на одной и той же догадке, от которой сразу же нехорошо, растерянно и угрюмо становилось на душе: «А ведь нет в этом плавном, обстоятельном, величавом течении никакого смысла! Нет! Проста жизнь человечья. Незатейлива. Бессмысленна. Печальна...»

Едва недобрые эти догадки посещали — все существо Чашкина начинало тихо стервенеть, несогласное, восставать против этой нагло-великой Неправды!

Он ведь знал — как и всякий сущий на Земле,— что это не так! Каждой горячо живущей клеточкой своей плоти, каждым нервно дрожащим волоконцем он знал, он слышал, он верил: «Это не так!» Не может быть так. Не должно быть так!

Самое удивительное, что и этому знанию, и этой вере нисколько не мешало, что весь сумеречный, монотонный уклад его собственной жизни говорит совершенно другое. И то, как живут окружающие его люди — невесело, смутно, словно бы оглушенно живут,— говорит совершенно другое. Да и само окружение, в котором утекают его годы,— вот этот поселок, заброшенно-невеселый, грустно общарпанный непогодами, дрянно застроенный врастающими в грязь домишками и двухэтажными, хило кривящимися сизыми бараками (смурными памятниками так и не начавшейся здесь послевоенной великой стройки), а также шестью скверно-серыми, наводящими тоску на сердце бетонными пятиэтажками — гордостью поселковых властей, именуемой на городской манер «микрорайоном»,— и сам этот поселок, и вся жизнь, угнездившаяся здесь, полная неудобств, нехваток, бестолочи и ощущения упорно гнетущей стесненности,— все окружение это тоже ведь о другом твердило: «Да, проста! Да, бессмысленна! Да, незатейлива! Да, печальна здесь жизнь человечья...»

— Ладно, Веруся! — Люба, наконец, повернула разговор.— С тобой и твоим ненаглядным мы еще разберемся. А теперь бери в праву ручку авторучку и пиши без ошибок: Московская область... Учти, Веруся! Это личное распоряжение Деркача! По самому срочному тарифу! — И она продиктовала телефон, адрес и фамилию, написанные на обрывке сигаретной пачки.

— Через полчасика обещала соединить! — Люба повернулась к Чашкину радостно светящимся лицом добро сотворившего человека.— В Москве-то сейчас часов шесть. Линия свободная. Так что поговоришь, дядя Вань, не бойся! — И тут же, почувствовав надвигающуюся паузу, отыскала новую тему для разгонора: — Как там ваша Катюшка? На танцы еще не бегает?

От неожиданности вопроса Чашкин хмыкнул, но с ответом не собрался — в приемную, погружен, как всегда, в рассеянно-печальную думу, в неотвязное как бы недоумение горестное, вошел Деркач Вячеслав Иванович, директор.

Замедленно и церемонно поклонив тщательно причесанную, бриолиновым сальным глянцем сияющую голову, скрылся, ни слова не сказав, в кабинете.

Был Вячеслав Иванович нездешний. Не в том только смысле, что родился неведомо где, а в том, что, по выражению бабы Веры, не из здешнего дерьма был леплен.

В костюмах, даже и в будни, ходил «кобеднешних», всегда при галстуке, а одеколоном прыскался каким-то таким иноземным, что Люба, стыдясь и краснея, всякий раз не могла удерживаться: норовила заскочить в кабинет сразу же следом за директором — не столько по делу, сколько затем, чтобы оказаться в пределах этого дивного, чувственно будоражащего ее, наркотически пьянящего аромата, мигом рождающего в ней сладкую истому и какие-то лаково-яркие буржуазные картинки некоей шикарной жизни. Каждый день давала она себе слово «не делать этого» и каждое утро грубо и нетерпеливо вожделела миг, когда коснется ее ноздрей первая сладостно раздражающая паутинка той азиатско-пряной, тропической благовони, которая, собственно, и составляла секрет заморского одеколона, которым прыскался по утрам Деркач Вячеслав Иванович, ее директор.

(Впрочем, не одеколона, а «дезодорант-лосьона» под названием «Эксцельсиор», упаковку которого два года назад Вячеслав Иванович приобрел в перерыве областной конференции в ларьке облторга, который по обыкновению раскидывал свои прилавки в фойе Дома политического просвещения для делегатов, потрафляя их самолюбию и сладко бередя избраннические струнки в их душах всяким мелким импортным дефицитом, который можно было купить тут без всякой толкучки и который, больше того, продавали тебе так легко, весело, услужливо и охотно, что это не могло не придавать еще больше праздничности настроению и исторической уверенности делегатам. Было это два года назад — в те еще времена, когда был Вячеслав Иванович человеком растущим и не просто уважаемым, а уважительную опаску вызывающим, и именно поэтому — потому что было это еще в те времена — Деркачу, как и Любе, тоже доставлял наслаждение, но другого рода — страдательное, ностальгическое наслаждение запах этого «дезодорант-лосьона», которым он продолжал упорно, словно ритуально, словно бы в пику кому-то, ежеутренне маслить голову, с каждым утром все скупее отмеривая из пузырька на ладонь этой благовонной влаги и все чаще обращаясь глухой тоскливой мыслью к тому дню, когда и этот пузырек, и последний, еще не початый, кончатся, и он тогда...)

Еще год назад Вячеслав Иванович директорствовал в Егоровске, в облцентре, на трансформаторном заводе. Затем — как формулировали в поселке — «погорел, схлопотал и слетел». И теперь вот отсиживался у них.

Отношение к нему у большинства народа было вполне равнодушное, хотя скорее сочувственное, нежели холодное. Этому, надо полагать, много способствовала та непроходящая мина растерянности и печали, которую носил на лице директор и на которую не могли не отзываться привычно-отзывчивые на сострадание поселковые люди. А поскольку фабричной жизнью он руководил как бы сквозь недоуменный сон — ни во что не вмешиваясь, всех благожелательно выслушивая, со всеми соглашаясь (и ничего в результате не предпринимая), то и со стороны производственной никаких отчетливых ощущений — ни за, ни тем более против — ни у кого не вызывал.

Личной его жизнью, да, интересовались очень.

Семью из Егоровска он, понятное дело, перевозить с собою не стал и жил в «гостевой комнате» Дома приезжих. Жил в общем-то у всех на виду, но тихо, за занавесочками. И мужиков, конечно же, живейше интересовало, с кем он обходится. А женщин волновало, в сущности, то же самое: кто ему стирает и готовит.

Почти единогласно считалось, что Вячеслав Иванович выпивает. То в одном, то во втором магазине поселка видели, как он покупает вечерами коньячок. (Дело, вы скажете, совсем некрамольное, вечерком купить коньячок. Конечно. Но только Вячеслав Иванович как-то так, с таким проворством воровато затыривал каждый раз бутылку с глаз долой, что люди, а главное, продавщицы, с ходу определили: выпивает.)

Это обстоятельство, кстати, нисколько никого против директора не настроило. Совсем напротив — оно как бы и сочувствия к его горестной судьбе прибавило. Пьющий за занавесочками в одиночку, пусть даже и коньячок, вряд ли имел много шансов воспрять вновь. Эта вполне всем понятная слабость словно бы знак ставила на директоре: махнув на себя рукой начинает жить человек! И тут уж никакие костюмчики, никакие одеколончики обмануть не могли. И вот именно то, что «махнув на себя рукой»,— почти симпатию порождало к Деркачу у многих из поселковых, которые, если призадуматься, самн уже давно, без всякого коньяка, жили-горевали именно так: «рукой на себя махнув».

Директор прошел, и Люба с неодобрением отметила, что Чашкин ни здрасьте, ни привета на лице, ни полупоклончика не обозначил, лишь проводил Деркача хладным, совершенно равнодушным взором.

Сидел на красешке стула — было видно, что отчетливо сознает и с усилием претерпевает свою здесь неуместность — и больше, чем всегда, был похож сейчас дядя Ваня Чашкин на не очень крупную, сочувствие вызывающую измученно-больную обезьяну.

Глядя на этот чересчур широкий, безгубо пришлепнутый рот, на небольшую пипочку носа, казавшуюся особенно потешной в соседстве с обширной, плохо выбритой, выпукло лежащей верхней губой, глядя на эти умненькие, с терпеливой болью глядящие глазки его, на этот мальчиковый чубчик, старательно зачесанный набок, глядя на эти мужицкие, коряво изломанные работой ладони, молчаливо и чуждо лежащие на коленях как бы отдельно от Чашкина,— Люба испытывала слегка раздраженную, но и очень все-таки сочувственную обиду за него. Ну, к примеру, как если бы она была уже горожанкой, а он, деревенский нелепый родственничек, приехал вдруг в гости и сидел тут перед ней — тихий, растерянный, жалко-неуместный, но все-таки свой, поселковый, кровная, считай, родня.

И хотя смотрела на него, конечно же, свысока — с наивного, насмешливого, смешного высока семнадцати своих лет — с высоты, проще сказать, бессмертия — с высоты тех ярких, звонко-звучных дел, которыми будет (уж будьте уверены!), в отличие от Чашкина, туго наполнена вся ее жизнь,— хотя и свысока смотрела, хотя и звучал ее самомнительный радостный голос: «Нет, мы такими не будем!» (а если точнее, то вот как звучал: «Нет, **мой** таким не будет!») — но обида была именно сочувственная и именно за Чашкина, за весь его неказистый вид, за сострадание и снисхождение, которые он всем своим обликом вызывал.

Негородское дитя, выросшее в окружении таких вот, с виду неладных мужиков, она знала о них многое, может быть, даже все — и дурное, по преимуществу скучно связанное с выпивкой, и доброе, которое было так чаще всего обыденно, просто и не видно, что на него и не обращалось уже внимания, и доброго этого было много, несравненно больше, нежели дурного, и вот поэтому, глядя на Чашкина, Любе еще и необыкновенно досадно было — досадно на смутно ей понятные хмурые обстоятельства жизни, которые почему-то вынуждали дядю Ваню быть вот таким.

Должно быть, сильно и горячо умела чувствовать добрая эта душа. Должно быть, много еще было в ней пылкости, не припорошенной мелкой житейской пылью.

Потому что вдруг — как бы вспышкой — словно на миг вспыхнувшим новым зрением она увидела Чашкина совсем другим, совершенно незнакомым.

...Он был в армейском. Мятая пилотка с криво повисшей звездочкой расклепанным колпаком сидела на ежом стриженной голове. На дочерна пропотелой, заваксившейся от грязи и оружейного сала гимнастерке ни единой медальки, ни единой блесточки не было.

Он сидел на чем-то низком, почти на земле — терпеливо, измученно, смирно, как и в приемной сейчас сидел, но как бы на другом фоне: среди скорбного хаоса постигнувшей его страну беды, тяжело обронив набрякшие усталостью руки, покорно затурканный, нескладный, несправный — сидел, будто на минуту только присел перевести дух, а вокруг простиралась серая безбрежность предназначенной ему военной работы.

(С Любой и раньше изредка случались эти, всегда нежданные, накаты ясновидения — нововидения, надо бы сказать,— и она втайне гордилась ими, а за людьми, которых так увидела, с жгучим интересом потом следила, исподтишка, надеясь, должно быть, и в обыденной жизни увидеть в них что-то из того, что она уже знала о них.)

Малое мгновение длилось наваждение это. Люба сморгнула его и тихонько рассмеялась, как всегда, не умея объяснить себе, что случилось, только чувствуя, что случилось что-то хорошее...

В этот момент раздался звонок над дверями кабинета: Вячеслав Иванович вызывал.

Она прошла в кабинет, с полминутки побыла и вновь возникла, совсем незнакомая: сонно-сияющая, как бы тихонько одурманенная, а нежные крылышки ее утончившегося носика еще весело-гневливо потрепетывали, внимая, должно быть, ускользающему запаху колдовского деркачевского одеколона.

— Он вас просит, дядя Ваня,— сказала она, как сквозь сон.— Спросил, по какому делу... И вот — просит.

Чашкин неприятно взволновался, аж закряхтел от досады и внятного ощущения насилия над собой. Не хотел он ни с кем сейчас говорить! А уж с начальством — тем более.

Все же поднялся. Все же пошел, отчетливее, чем всегда, обозначая походку подневольного человека.

Вячеслав Иванович Деркач возвышался над столом в позе державной. Однако уныло пуст был стол, и было в позе директора что-то от человека, лишь на минутку присевшего — ну, к примеру, в ожидании важного телефонного звонка...

Он смотрел на вошедшего Чашкина так, словно бы силился вспомнить, зачем ему понадобился этот человек.

Сероватая скука, малость настороженности, немного терпеливого высокомерия, много небрежения и почти полное отсутствие хоть какого-нибудь интереса были во взгляде, которым смотрел Деркач на Чашкина, удивительнейшим образом умудряясь *не видеть* его!

(Здесь, конечно, надо разобраться. Глаза Вячеслава Ивановича были в полной исправности. Они достаточно отчетливо запечатлевали и черты этого курьезного лица, и торчащие по-школьному уши, и кургузое это полупальтишко, но, как бы сказать,— и эти вполне зримые черты, и то, что он узнал со слов Любы о стоящем перед ним и что записал на листке календаря: «Чашкин. Подг. цех. Макальщик», и знание того, ради чего макальщик этот торчит с утра пораньше в его приемной,— все это *вместе* никак не связывалось, не считало нужным, точнее, связываться, в его сознании в образ вот этого живого, о своем живом несчастье думающего, именно *вот этого* человека!)

Перед ним, как в туманной поволоке, блекло было обозначено некое абсолютно ему стороннее существо —

один из тех, чьи лица размытыми блинами, рядок за рядком, светлели ему снизу из потемок зала во время всяческих собраний и чьи руки — «Кто за?» — со смехотворной, хотя и всегда слегка насмешливой, готовностью воздевались кверху, внося каждый раз умиротворение и облегчение в начальственную душу...

один из тех был перед ним, кто вяло кишел молчаливой и угрюмой толпой где-то там, заполняя низы *его* пирамидальной системы, которая, как водится, вся целиком входила в чью-то другую, гораздо большую, пирамидальную систему, а та, в свою очередь, в чью-то еще...

один из тех, кого было принято величать в бумажках и в бумажных речах «трудовым коллективом», «славным рабочим классом» и кого он, как и многие, еще со времен комсомольской своей юности, когда еще только постигались циничные азы *массовой* работы, называл про себя ОНИ...

один из тех, кто вызывал в нем вначале изумление, даже возмущение, а затем и насмешливое пренебрежение своим непостижимым, бездонным, наплевательским по отношению к себе равнодушием, покорством любой, даже самой глупой воле, долготерпением своим, которые как бы провоцировали его, Вячеслава Ивановича, на еще большее пренебрежение к НИМ, уже и на бесцеремонность даже, с каждым разом все более отдающую душком катастрофы, ибо и в молчании этом, и в многотерпении, и в равнодушии к себе постоянно чудились приметы какого-то неминуемого для него, Вячеслава Ивановича, гибельного взрыва (каждый раз он убеждался, что именно чудились, но страх не вовсе исчезал)...

один из тех стоял перед Деркачом, на ком держались (и директор с досадой не мог не понимать этого) и его личное благополучие, и возможность его личного восхождения по ступеням пирамиды вверх, и хотя казалось, что это должно бы вызывать в нем чувства, далекие от равнодушия и пренебрежения, но именно равнодушие и именно пренебрежение, граничащее с презрением, чем дальше, тем больше вызывали в нем эти низшего слоя существа, ибо чем выше над ними он поднимался, тем больше требовалось пренебрежения и равнодушия к ним, чтобы возвышаться далее.

Это была механика, заведенная не им. Это была та самая *механика взаимоунижения*, по законам которой возвышалась пирамида и согласно законам которой неукротимо карабкались снизу вверх такие, как Вячеслав Иванович, и чем выше ты вскарабкивался, тем больше оставалось внизу тех, на кого ты *имел право* смотреть с пренебрежительного высока, и все меньше оставалось над тобой тех, кто имел право точно так же взирать на тебя.

Вячеслав Иванович уже давно функционировал по законам этой системы — с самого первого шага — с первого проведенного *за закрытыми дверями* заседания комсомольского комитета класса. С тех пор он немало преуспел в этом своем восхождении, и именно поэтому — хотя сейчас-то Деркач переживал и не лучшие времена,— именно поэтому он *не мог видеть* Чашкина в этом непритязательном существе по фамилии Чашкин, по профессии макальщик, которое стояло в дверях кабинета, вызванное им, но... ради чего же вызванное?

— Так,— произнес Вячеслав Иванович, покосившись на календарик.— Чашкин... Макальщик...— устремился упорным взглядом в лицо Чашкину, но все равно не сумел вспомнить, ради чего его вызывал.— Макальщик — это что? — спросил, выигрывая время.

Чашкин неохотно ответил.

(Он тоже разглядывал директора. Почему-то именно сегодня он чувствовал свое право вот так, холодно и нахально, глядеть на директора и видеть, как на рентгене, что сидит перед ним молодой лодырь, хорошо кормленный, нежно себя любящий и потому прямо-таки по-детски разобиженный случившимися с ним неприятностями,— заметно пустяковый мужик из тех бодрых захребетников, которых ощутимо много поприбавилось в последние годы и которые шустрили, кормясь при людях, приезжая-отъезжая на «Волгах» своих и «газиках» с портфелями, которые они умели носить так, будто там не протокол лежит какого-нибудь собрания, а чертеж атомной, не меньше, бомбы — всегда театрально-деловиты, гладко бритые, ладно стриженные, неуловимо похожие друг на дружку и серенькими костюмчиками, и галстуками, и непременной алой цацкой на лацкане пиджаков, и спортивной своей припрыжкой, и, главное, тщательно таимой от всех, но всегда ощущаемой *тревогой*, которая прямо-таки излучалась от них,— тревогой перед разоблачением, можно было бы сказать, если бы хоть для кого-то была тайной имитаторская, наглая и жалкая одновременно, сущность их неспокойного существования.

Вот один из таких субчиков и сидел перед Чашкиным, изо всех сил напрягаясь, чтобы принять начальственную осанку, и откровенно страдал, не зная, что сказать Чашкину, которого он вызвал, явно забыв, ради чего вызвал.)

— Ма́кальщик,— неохотно ответил Чашкин, наставительно исправив ударение на то, заведомо неправильное,— которое почему-то принято было на фабрике с неведомых времен.— Ма́каю. Цепляю заготовку. Ма́каю в одну химию — вынимаю — ма́каю в другую химию, потом на транспортер.

— Ясно,— озадаченно произнес Деркач и вдруг просиял.

«Чуткость!» — вспыхнуло перед глазами, как типографским шрифтом набранное. «Забота!»

— Да, Чашкин...— произнес Вячеслав Иванович, напустив на лицо озабоченно-сочувственную мину и зная наверняка, что сейчас сказанное наверняка станет известным внизу. (Плевать ему было, что думают о нем внизу. Не собирался он засиживаться на этой фабрике! Все же сказал, механически последовав шаблону, принятому среди начальствующего люда, который гласил, что нет вреда, кроме пользы, совершать время от времени благодеяния, тем более если они ни малейшего труда тебе не составляют.)

— Да, Чашкин,— раздумчиво повторил он.— Мать это, видишь ли, такое дело... Люба меня тут проинформировала. В общем, я думаю, так: возьмешь мою машину. Через два часа будешь в области. На дневной рейс успеешь. Мать, Чашкин, это такое дело, что раздумывать нечего.

И тут напористо, тревожно затрещал телефон.

Деркач трубку схватил молниеносно. Тотчас неприветливо покосился на Чашкина и сказал, не умея скрыть разочарования:

— Тебя.

И вдруг почти вскричал нервно:

— В приемную, в приемную иди!

Чашкин вышел.

Люба уже протягивала телефонную трубку, взволнованно и пылко глядя в лицо.

Чашкин взял, приложил к уху и заорал, как орут на переговорной:

— Але, але!

И тотчас же совсем рядом услышал Лялькин голос, сонный и замедленный:

— Это ты, Ваня?

Голос звучал настолько близко, что он даже оторвал трубку от уха и заглянул в нее.

— Чо там мать-то? Мне тут, понимаешь, телеграмму принесли!

— Умерла мама,— так же тихо, и сонно, и замедленно сказала сестра.— Ты приедешь?

Он почувствовал странное: будто всплыл. Будто высокой волной его приподняло, сняло с прикола и тихо, беспомощного, понесло.

— Тебя ждать?

— Да! — Он сел на угол Любиного стола, не заметив этого.— Когда? Ну... это?

— Ночью сегодня. Часа в четырс. Я три ночи не спала, потом ей стало лучше. Я прилегла на минутку, потом проснулась, а она уже.— Лялька говорила механическим ровным голосом.— Ты приедешь хоронить?

— Приеду! Да! Без меня не хорони! Слышь? — Он снова орал, как на переговорной.— Слышь? Без меня не хорони!

И вдруг замолк, как осекся, потому что почуял в крике своем готовность заплакать.

— Ты поняла? — спросил он тихо.

— Да. Спасибо, хоть позвонил. Ну все. Клади трубку. А то я уже не могу: я три ночи не спала.

Чашкин отдал трубку Любе. Та исступленно глядела ему прямо в глаза, будто отыскивая что-то.

— Ну, все...— Чашкин повторил Лялькины слова и виновато улыбнулся.— Померла мама моя...

И удивился, как неудобно стало языку, когда произносил он слово это: «мама».

* * *

С чемоданом в ногах, с корзинкой на коленях — ни рукой, ни ногой не шевельнуть — сидел в кабине «газика».

Ждал.

Клонило в сон, и сладко, уныло мозжили тонкие кости лица от непрорвавшихся слез.

...Когда с полчаса назад поспешал уже с вещами к фабрике, где дожидалась машина, проходил мимо школы. Там шла перемена.

И вдруг услышал отчаянный, жалобный голос Катюхи:

— Па-а-пка! — как крик о помощи.

— Папка...— подбежала, взяла за рукав, застенчиво прятала лицо.— Папка...— и погладила руку.

— Что же ты, лапушка, раздетая бегаешь? — не нашел он чего сказать и коротко погладил ее по голове. Удивившись тотчас, настолько отвыкла рука от этого жеста.— Иди, милая, простудишься.

Дочь послушно повернулась идти, подняла на него глаза, и вот тут-то и ударили Чашкину в лицо благодарные слезы. «Пожалела! — радостно увидел он.— Наверное, и ночью пожалела, да не сумела сказать. Нёма ты моя, лапушка! Дочечка!»

И вот сидел в машине и с чувством нежданного светлого обретения слушал, как ломит лицо от слез, как тепло ему, и грустно, и радостно от чего-то...

С треском распахнулась дверца.

— Коичай ночевать, дядя Вань!

Костик, фабричный шофер, рыжий, румяный, большой, шумный, стал затискиваться в кабину.

Застонали пружины сиденья. Заскрипела-затрещала спинка кресла. Вся машина как бы жалобно накренилась.

— Ключ на старт! — бодро-весело скомандовал себе Костик, включая зажигание. Мельком оглядев Чашкина, спросил: — В аэропорт, дядя Вань? Сделаем! — Потом еще раз глянул и добавил не очень уверенно: — По дороге в совхоз на минуту заскочим, не возражаешь? Кое-чего подвезти просили.

Чашкин промолчал. С чего бы он стал возражать?

— Музыку! — объявил тогда Костик и включил радио.— По нашим дорогам, дядя Ваня, только с музыкой!

В кабине раздались заунывные звуки скрипок и виолончелей.

— Не пойдеть! — решительно сказал Костик, меняя волну.— Строить и жить не́ помогает!

Снова стал азартно шарить по эфиру, скорости, однако, не сбавляя и лишь иногда бросая ручку настройки, чтобы перехватить баранку.

Везде были лишь виолончели и скрипки.

— Так я и знал! — Костик выключил приемник.— Придется нам с тобой — без всякой музыки! Этот...— он кивнул головой наверх,— все-таки, видать, помер. Я вообще-то еще утром догадался. Включаю телевизор, а там вместо «Новостей» — эти... ханурики, носы повесили и на скрипочках своих пилят.

Был Костик весело взбудоражен и даже радостен, и было совершенно ясно, чем именно взбудоражен и от чего радостен: нежданно обломившейся возможностью сбегать, как тут говорили, в Егоровск без всякого начальства, со всеми вытекающими из этого халтурами и выгодами.

— Жаль! — произнес он через некоторое время с искренним огорчением.— К Дню милиции хороший концерт должен быть. Теперь наверняка отменят. Жаль!

Въехали тем временем в совхоз.

Остановились у одного дома, у второго, у третьего. Костик выскакивал, вел с хозяевами переговоры. Переговоры заканчивались, судя по всему, безуспешно, однако Костик каждый раз возвращался за руль преисполненный как бы еще большего оптимизма.

— Броня крепка! И танки наши быстры! — все неукротимее распевал он.

После одного из визитов, торжествуя, сообщил, затискиваясь между рулем и сиденьем:

— Ну, кто был прав? Сейчас по телевизору: «...С глубоким прискорбием сообщаем!» Я еще утром догадался! — Проворно включил приемник и, пока передавали медицинское заключение, ехал молча и медленно, со вниманием, однако, вглядываясь в номера домов.

Перечисление болезней подействовало на него, видимо, угнетающе. Он смачно выругался.

— С таким здоровьишком...— сказал зло,— в Доме инвалидов надо жить, а не страной править! — И тотчас, заметив старуху, праздно сидящую на скамеечке возле усадьбы, тормознул и стал выбираться наружу.

Здесь дело сладилось. Через пару минут Костик возник, легко неся на каждом плече по мешку. «Броня крепка! И танки наши быстры!» Кинул мешки на заднее сиденье, сверху прикрыл телогрейками.

— Па-аехали, дядя Вань! — объявил окончательным голосом.— С а-арехами! По гла-аденькой дорожке!

Выбравшись на твердую дорогу, спросил:

— Твой-то, дядя Вань, уже небось в армии?

— Девка у меня. В седьмой класс ходит.

— Девка? — Костик покосился на Чашкина превосходительно.— Девка — это тоже ничего. Спокойнее. Хотя (он вдруг гоготнул) с какой стороны посмотреть. Принесет в подоле — чего будешь, дядя Ваня, делать?

— Ничего не буду делать! — сердито ответил Чашкин.

Не сказать, что очень уж раздражал его Костик своим весельем и разговором. («Какое дело молодому, здоровому парню до чьих-то похорон?»), но тесно ему было отчего-то и маетно, и ужасно было жалко того благолепного настроения, которым нечаянно одарила его Катюха и которое так же нечаянно развеял шумный и бесцеремонный Костик.

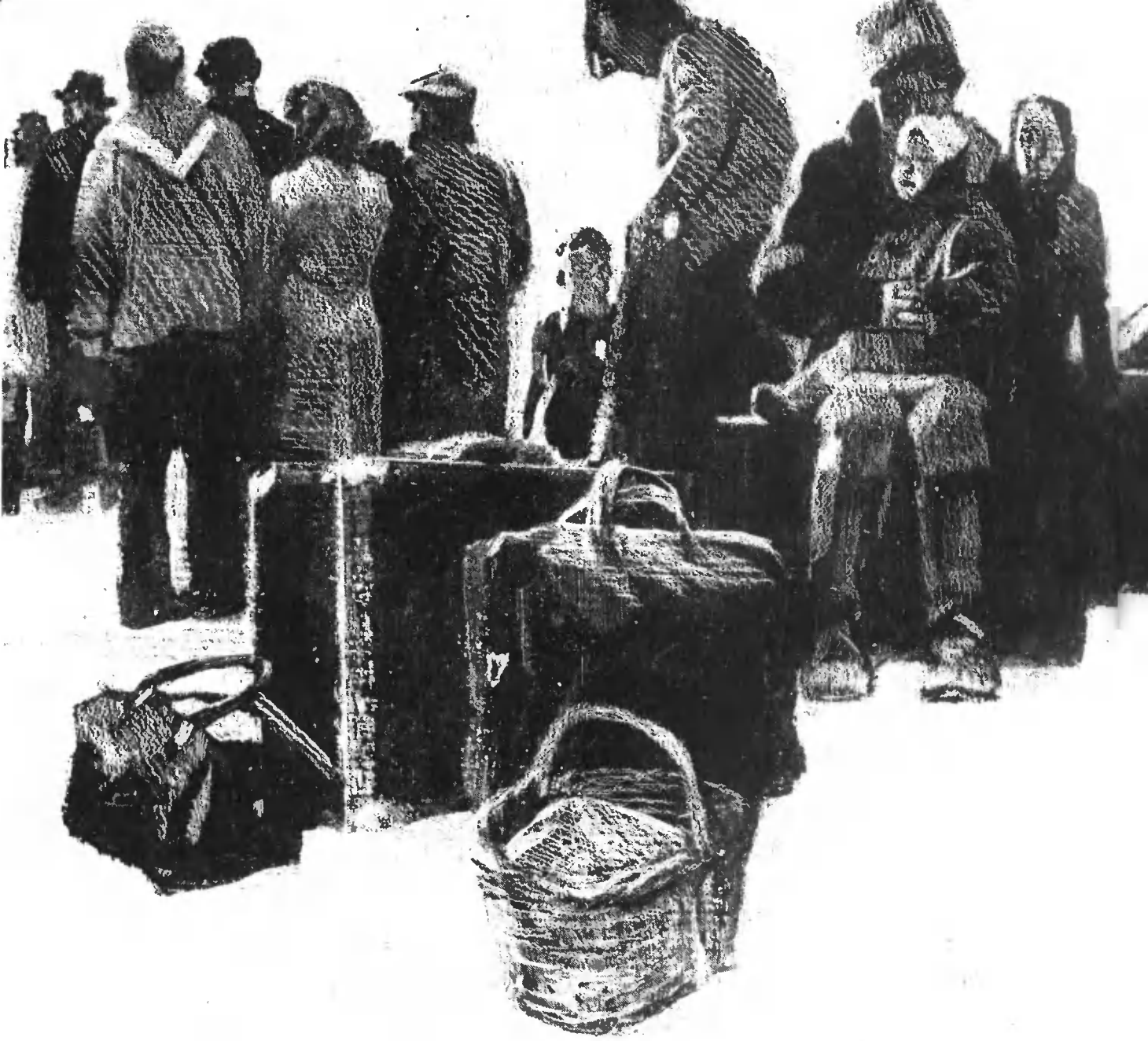
Больше всего хотелось сейчас — побыстрее доехать до места.

— Я, Константин, поспал бы маленько...

— Спи, дядя Вань! — охотно разрешил Костик.— Когда спишь — меньше грешишь! — Выключил музыку, и сразу же Чашкину стало ясно, из-за чего еще так муторно ему было: от старательно-заунывных, печальную скуку наводящих на сердце звуков скрипок и виолончелей.

Думал, что, едва прикроет глаза, так и провалится в сон. Но сон не пускал его нынче дальше порога.

Сидел, словно в черном тесном коконе. Слышал все подъемы и спуски дороги, и завывания мотора, то жалобные, то возмущенные. Ни о чем в особенности не думал, и о смерти матери тоже все как-то не получалось думать: обращался мыслию в ту сторону, а там, в том углу души, было непроглядно-черно, непонятно, непостижимо, и он опять отворачивался, на будущее откладывая думы свои о матери, которая померла, окончательно обозначив этим его одиночество в мире, но — странное дело! — если одиночество это еще



совсем недавно, ночью и поутру, внушало почти ужас, то сейчас он ощущал его как какое-то свое приобретение, хотя и об этом тоже все никак не получалось пристально подумать — в чем оно, это приобретение...

Машина остановилась.

Костик выбрался наружу. Дверку, чтобы не хлопать, прислонил — она тотчас открылась,— и Чашкин услышал, как в бензином пропахшее тепло кабины, словно бы помедлив, неспешно стал вваливаться звучный ясный холод.

Даже и не открывая глаза, Чашкин догадался, что они — на Перевале.

Перевалом называлось место — что-то вроде площадки, разутюженной колесами на горбушке хребта,— где дорога из поселка, вскарабкавшись на последний, самый трудный подъем, встречалась с грейдером, вползавшим сюда из райцентра. Дальше — быстро и плавно понижаясь с увала на увал — уходила отсюда уже одна, на весь район единственная «шисейка», связывавшая этот глухой угол с областной столицей. Никакая машина, шла она из области в район или наоборот, миновать Перевала не могла. Здесь всегда, хоть ненадолго, останавливались.

Все три дороги по грустному российскому обыкновению были биты-перебиты в прах, в клочья изодраны траками, яростно размолочены бесчисленными буксовками и почти во всякое время года для езды не просто трудны, но мучительны. Поэтому Перевал, который приходилось преодолевать дважды в любую ездку, был для водителей место особое — тысячи раз клятое, страстно ненавидимое место.

Однако не было и милее места, чем Перевал, для измученного, аж почерневшего лицом шофера, когда, одолев последние, самые склизлые метры, услышав с чувством, подобным счастью, как надежно наконец зацепились протекторы за грубую твердь дороги, переваливал он машину через гребень, оказывался на ровном, глушил мотор, распахивал дверцу и минуту-другую просто сидел, свесив наружу ноги, то ли не в силах вылезти, то ли откровенно наслаждаясь тишиной, покоем и отсутствием озлобленной ярости, без которой почти никогда не обходилось это, его и дороги, противоборство.

Потом тяжело спрыгивал на землю, закуривал все еще ходящими ходуном руками и шел в сторону от машины — словно бы затем только, чтобы ощутить себя отдельно от нее,— садился на скамеечку под навесом или на полувкопанный в землю старый протектор, которыми огорожена

была площадка с опасной овражной стороны, и непременно сколько-то времени сидел там, от всего отчужденный, покуривая, поглядывая окрест и с наслаждением привыкая к мысли, что теперь-то дорога пойдет все вниз и вниз, и ты, считай, уже добрался до места, коли вскарабкался на Перевал.

Странное дело, но все словно бы таили — и от других, и от себя — еще одну причину, по которой невольно мил был людям этот не слишком-то взрачный, разбитый машинами и загаженный постоянным людским присутствием клочок земли.

Отсюда, с Перевала, так далеко, так хорошо было видно! — на все стороны света,— так ошеломительно много открывалось вокруг и ввысь небесного пространства, раздражительно-сладко-непривычного для здешнего люда, издревле привыкшего селиться в низинах, в тесном окружении леса,— такая отсюда распахивалась уныло-великая, хмурая, морю подобная даль, что человек, оказавшись здесь, испытывал ощущение, похожее на глубокий счастливый вдох после удушья, и медленные державные мысли рождались в нем, и празднично, горько, высоко думалось тут о многом: о жизни, о людском назначении, о вечности, быть может ..

Звякая пустыми бутылками в мешке, рядом с машиной возник Костик. Сказал, словно бы усмехаясь над собой:

— Во! Считай на полколеса от жигуленка набрал!

В любое другое время, в любом другом месте те же самые слова произнес бы с веселым ором, но здесь, но сейчас — стоял, задумчивый, почти серьезный, несильно привалившись к стойке распахнутой дверцы, а сам искоса и вовсе, казалось, не внимательно все поглядывал на тусклую зелень, которая рыхлым угрюмым бархатом прикрывала, как заливала, землю до зыбкого горизонта.

— Сказывали, мать хоронить едешь? — спросил он вдруг с неуклюжим сочувствием.

— Ну.

Костик помолчал. Сняв с плеча мешок, преувеличенно внимательно глядел, как тот раскручивается на весу в вытянутой руке. Потом с заметным усилием — даже поморщившись от этого усилия — сказал:

— У меня вот тоже... мать чего-то мается,— тут же вдруг зло заскучал, поглядел на небо и заторопился: — Ну что, дядя Ваня, поехали?

Чашкин согласно кивнул. Он так и не вылез из кабины.

И — поехали!

И — устремились с радостным облегчением вниз, с угора

на угор, как с полки на полку,— мимо машин, которые с кропотливым усердием карабкались навстречу, отчаянно чадя моторами и дробно дрожа от запредельного напряжения непосильной этой работы,— летели, с ходу пролетая (одна только грязь! ленивым тяжелым веером по сторонам! с треском!), с налету прошибая дремучие, ржавому студню подобные, разливанные жирные хляби, один лишь вид которых у водителя, ползущего вверх, вызывал тоскливое ожесточение и словно бы ощеренную гримасу в душе,— летели — все вниз и вниз! — и веселье гульбы, ликование удавшегося побега переполняли их. «Броня крепка! И танки наши быстры!» — то и дело орал Костик, улыбаясь Чашкину от уха до уха,— бренчали какие-то железяки, звенели бутылки, шарахало и кидало на колдобинах аж под брезентовый потолок!..

Славная это была потеха: «С а-арехами! По ко-очкам!» — сладкая утеха всех живущих за Перевалом, и, кажется, не будь ее, этой утехи, ни одна машина никогда не одолела бы эти каторжные, измывательские версты вверх.

У въезда на тракт Костик остановился разобраться с мешками.

Чашкин, пустовато и придурковато глядя перед собой, слегка виновато улыбался, все еще храня в себе бестолковую, толкливую радость легкой этой дороги.

Потом повинно спохватился: «На похороны ведь еду!» — погнал с лица неуместное выражение довольства — «Можно ли улыбаться-то?» — и новые маски, одна другой нелепее, полезли на лицо: то вроде бы плаксивый ребенок, то будто бы мужичок, глупо заважничавший неведомо отчего...

Все невпопад было! Все было *не так*!

Чашкин даже застонал с досадой, опять ощутив, опять застрадав от тесноты, в которой находится — от тесноты! от раздражительной несвободы! от связанности! — от всего того, из-за чего, как ему казалось, так убого, так темно и погребенно было всем его чувствам.

И — голодное, вспыхнуло вдруг жгучее желание *вырваться*! Из утеснения этого вырваться! Из-под груза корзинки этой, что ли! Из кургузого пальтеца своего вырваться! Из всего того вырваться, что как бы и не существовало в яви, но чем заполонена была его жизнь, что делало его жизнь загроможденной, несвободной, тесной, серенькым душным туманом, как бы задымленной!

Он даже застонал от несказанного мечтания этого и досадливо завозился под корзинками своими.

— Ну что, дядя Вань? Броня крепка? — Костик, развеселый, опять стал затискиваться в кабину.— Теперь полетим, как в ероплане!

Дал газ. По привычке щелкнул ручкой приемника. Снова заныли медленные, горесть обозначающие звуки. Костик матюкнулся. Без особой надежды поискал другую волну.

Старательно опечаленным, сгущенным голосом, в котором, однако, привычно проскальзывали нотки бодренькой актерской фальши, диктор произнес: «Отдать последнюю дань выдающемуся...» — Костик поспешно щелкнул выключателем.

Через полминуты, сурово и горестно глядя перед собой, сказал:

— Неделю, не меньше.

— Чего «неделю»? — не понял Чашкин.

— Неделю, не меньше, никому житья не будет!

— Ты это к чему?

— А к тому! Помер? Пусть о тебе родня горюет! Нé хрена всей стране настроение портить!

Тяжелые, снеговые, похоже, облака громоздились по горизонту. Смеркалось. Черные мокрые поля, скорбно и скупо присыпанные белым, тянулись по сторонам дороги.

Угрюмая осень, непоправимая осень царила в мире. И то и дело тоскливо вскидывалось сердце: до зимы, серой, хмурой и безрадостной, оставался день-другой, не более.

— Летают! — с облегчением вскрикнул вдруг Костик и вновь повеселел.— А то, думаю, сидеть дяде Ване Чашкину! Больно уж злодейские тучи заходят.

Неприятно, словно свинец на срезе, посверкивающий самолет, похожий на беременную рыбину, грузно набирал высоту. Он казался почти белым на фоне черно-сизых туч, и был он дивным, но и раздражительно-ненужным, постороним здесь, во глубине глуши.

При виде самолета Чашкин неприятно взволновался.

Сейчас, внутри машины, рядом с поселковым Костиком — он был *еще дома*. Но до города оставались уже минуты — уже поднялись над лесом бело-красные полосатые трубы комбината, жирно и сыто извергающие сажный дым, все чаще попадались навстречу городские машины... Вот-вот должно было кончиться свое, знакомое, и начаться — новое, чужое!

И опять он услышал, как вяло, протестующе заныло в душе. Не хотел он никуда ехать! Боялся он ехать!

* * *

Его пристегнули ремнем поперек живота, и он стал сидеть, неестественно выпрямивши спину, затылок закинув к изголовью кресла, руки державно возложив на подлокотники,— очень сам себе напоминал окаменелого какого-то истукана.

Неизвестно было, в какую сторону глядит самолет, но Чашкину почему-то думалось, что лицом он обращен сейчас прямиком на Москву, и вот теперь-то, связанному, насильственно повернутому в ту сторону, ему уже невозможно было увильнуть мыслью от того, что ждет его там. И с покорной отвагой прикрыв глаза, Чашкин стал понуждать себя думать о том, что ждет его там...

И вдруг — на удивление легко, быстро, исчерпывающе — увидел,

как скромно толкутся на улице возле забора, и в палисаднике, и на крыльце материнского дома, без конца перекуривая и, похоже, не имея охоты заходить в дом, темно одетые люди с выражением лиц деловито-сурово-торжественным...

как, бережно проталкиваясь сквозь эту тихую толпу, снуют туда-сюда распорядительные женщины, непонятно взбодренные и оживленно озабоченные неизвестно откуда идущими поручениями...

как чинно восседают на скамеечках, вынесенных на воздух, старушки в черных глаженых платочках, беспечально, с торжественным и одухотворенным высокомерием поглядывающие на молодых, которые потерянно мыкаются по двору, все не решаясь войти в дом, а потом все же заходят, чтобы через несколько времени вновь возникнуть на крыльце с лицами, взволнованными и светло-растревоженными...

Он увидел затем, что и в доме рассажены по табуреточкам и стульчикам, стоящим как-то по-особому отдельно, многочисленные старушки — здесь-то совсем уже старенькие, кажущиеся спящими, иной раз и вправду задремывающие, но время от времени *так* взглядывающие на оживленно живущих вокруг людей, такими нежно-беззащитными младенческими глазами,— что рука у людей так и тянулась утешительно прикоснуться к их отчаянно худеньким, совсем уже бестелесным плечикам, и хотелось сказать им что-то *взрослое*, ободрительное и ласковое, но не сказывалось чаще всего — только влага быстренько подергивала глаза людей...

Он увидел, как в тесной прихожей дома кучно толкутся, словно бы испугом теснимые поближе к выходу, люди с небудничными, тревожными и нежными глазами — почти каждый растерянно выбит из колеи и потому как бы родственно обращающий себя, раскрытого, навстречу всякому, кто заходит с улицы, первым делом бросая по-детски насторожённый и жадный взгляд свой туда,

где за раскрытой дверью, узостью к двери, стоит гроб, сразу же жестоко разящий воображение злыми узорчатыми зазубринами глазета, бегущими по краям этого корытообразного вместилища, и желто-стеариновой птичьей головкой того, кто лежит там, вдали, с трудом различимый среди быстро мертвеющих цветов, кротко горящих свечей и пышно взбитых кружавчиков изголовья,—

где сумрачно царствует удивительнейшее пространство тишины и где непостижимым образом все длится и длится торжественное *мгновение* Конца, Завершения, Достигнутого Предела...

Человек вступал в это странное пространство, некоторое время глядел, избегая пристально глядеть, на то неузнаваемое, что лежало в цветах, однако долго не выдерживал присутствия своего живо живущего, живо суетящегося существа среди этого недвижия, среди запредельного этого Покоя, как бы уже сгустившегося вокруг этого, живому человеку противной красотой красивого гроба,— поворачивался, уходил, озадаченный и неспокойный, не забывая скользнуть напоследок пытливым сочувственным взглядом по стульчикам, на которых чинно и устало, будто исполняя работу, восседала родня.

Среди родни Чашкин, понятно, увидел и себя — как бы со стороны — неприступно праздничного, как бы слегка закоченевшего в черном бостоновом костюме и галстуке и слегка важничающего от того несомненного факта, что нынче он —

одно из главных лиц в этом замедленно, сонно и церемонно длящемся действе.

Но именно — как бы со стороны видел себя! И было ему немного стыдно от этого. Стыдно, что не слышит он в себе, хоть убей, настоящего горя!.. А особенно стыдно было оттого, что мысли его раз за разом возвращаются к тому неизбежному моменту, когда нужно будет целовать усопшего в уста, а он, ничтожный человечек, вот ведь о чем размышляет: как бы этак исхитриться и как-то так повернуться спиной к зрителям, склоняясь над гробом, чтобы не видать было, целует он или не целует в ледяные губы лежащего в гробу!

Все чувства, все мысли его о матери, о смерти матери были словно бы пыльненьким салом заволочены, полузасохлы, вялы.

«Что же ты за человек такой?!» — думал он о себе с отчаянием.

...Самолет крупно вздрогнул. Звук моторов с натужного, преодолевающего завывания перешел в новую тональность, радостно-облегченную. И самолет, коротенько падая — как со ступеньки на ступеньку,— содрогаясь и временами сильно шарахаясь, будто подвергаем ударам ветра, пошел на снижение.

Чашкин открыл глаза. Светилась надпись про не курить и привязные ремни.

Все, вокруг сидящие, взволнованно шевелились. Внимательно вычисляя, вглядывались в часы.

— До Москвы-то еще час с лишним...

Никто уже не спал. Озирались на соседей. Взглядывали вниз через иллюминаторы. Беспомощно и тревожно были оживлены.

— Чего это они? До Москвы еще час с лишним! — слышалось то там, то здесь.

— Может, чего случилось?

— Это ты брось! Что может случиться?

Однако паника, как легкий сквознячок, уже веяла среди пассажиров.

— Мало ли случаев?

— Брось!

Самолет еще раз шарахнуло, как бы даже в сторону швырнуло. Отчаянно заплакал проснувшийся ребенок.

Паникой еще раз — уже свежее — повеяло по самолету.

— Что же это они делают, сволочи?! — бухнул на весь салон отчетливый бас.

Тотчас же — вподхват ему — затараторила женщина, с возмущенными полувзвизгами затараторила что-то привычно-скандальное, в гуле моторов малоразборчивое, неизвестно кому адресованное, но взвинчивающее.

Тут вновь закричал младенец — завизжал! Теперь уже на новой, совсем пыточной, непереносимой ноте.

Тотчас все разволновались.

— Безобразие! — возгласил новый голос.

— Что же это они делают, сволочи?! — вновь гаркнул бас.

Вдруг все, сидящие по левому борту, стали, как по единой команде, склоняться к иллюминаторам, что-то там высматривая. «Мотор...» — послышалось слово.

— Горим, что ль? — шутейно предположил молодой пьяноватый голос. И тотчас стал, видно, расталкивать соседа-приятеля:

— Эй! Кончай ночевать! Горим!

— Го-орим! — с готовностью, с готовой радостью вскричала какая-то бабенка.

На миг все стихли. И вдруг стало слышно, как, не сдержавшись, зарыдала женщина — тихо, но горестно и на весь салон отчетливо.

Тотчас забубнили во множестве голоса — успокаивая, возмущаясь, совестя, но было уже поздно.

Неизвестно откуда, как пожар, раздуваемый уверенным ветром, уже началось: «А-а-а!..» Возникая на скулящих, нудно ноющих низах, возвышаясь к истерическим слезам, пошел от человека к человеку плохо сдерживаемый (хотя пока еще и сдерживаемый) бессловесный вой: «А-а-а-а!..»

Чашкин плохо соображал, что и из-за чего происходит. Но он почувствовал, что и его вдруг мелко заколотило.

Салон уже голосил вовсю. Как от общей для всех зубной боли. И вот-вот вой этот должен был разрешиться: криками, истериками, вскакиванием с мест, беготней в поисках выхода!

Из-за занавесочки выглянуло насмерть перепуганное личико девочки-бортпроводницы. Тут же спряталось. Чашкин с изумлением страха озирался.

Молодая женщина у окошка из последних, видать, сил сдерживалась от воплей в голос — с закрытыми глазами запрокидывалась затылком к креслу и то хваталась растопыренными пальцами за грязное от слез лицо, то бессильно роняла руки в колени.

Мужик по соседству с Чашкиным сидел набычившись. Упорно, тупо, слепо и зло зрил в спинку кресла перед собой. Казался спокойным, но лицо его крупно дрожало: мышцы под кожей ходили торопливым ходуном.

Паренек лет двадцати все оглядывался из своего кресла на сидящих в салоне. Будто отыскивал, кто поможет. И такой уж жалобный, насмерть перепуганный мальчишечка выглядывал из этого паренька — беспомощный, готовый вот-вот расплакаться,— что Чашкину совсем уж стало не по себе.

Он не успел, правда, вконец перепугаться:

— Граждане пассажиры!

Мужской мужественный и усмешливый голос раздался вдруг из динамика:

— Наш самолет, выполняющий рейс номер...— Он обстоятельно и подробно перечислил и номер, и пункты маршрута, по которому летел самолет,— начал снижение в аэропорт города Н. Просим всех пристегнуть привязные ремни и воздержаться от хождения по салону.

Всем стало заметно легче.

Чашкин огляделся с торжествующим облегчением и встретил точно такие же пылкие взгляды, которыми пассажиры делились с рядом сидящими.

Однако лица то и дело опять поднимались вперед и вверх — к репродуктору. Не все еще было сказано...

В самом деле, после паузы голос с неохотой продолжил, уже как бы и не совсем официально:

— ...Посадка в аэропорту города Н. вызвана метеоусловиями порта назначения Домодедова. После регистрации билетов и багажа в аэропорту города Н. наш полет будет продолжен.

И снова все вздохнули с облегчением. Впрочем, ненадолго.

Возмущенно затараторил какой-то голос:

— Какая регистрация?! Какая-такая регистрация?! — Голос, как показалось Чашкину, должен был принадлежать человеку маленькому и чернявенькому.— И при чем тут тогда метеоусловия Домодедова?! Если «рейс будет продолжен»?! Какая регистрация?!

— Что делают, сволочи! — бухнул уже знакомый бас.

Но все же, что ни говори, не было уже той взволнованности.

— Главное, сесть нормально...

— Подумаешь, регистрация!

— Так мы горели или не горели? Кто скажет?

И вдруг откуда ни возьмись зародилось и поползло расползаться по салону словцо, на разные лады повторяемое:

— Закрыли!

— Как это так «закрыли»?

— А так! Как на Олимпиаду закрывали, так и сейчас закроют!

— То Олимпиада!

— Сказано же: «метеоусловия».

— Во, заразы! Что хотят, то и воротят!

— Так мы горели или не горели?

— Неужели, и правда, закроют?

— А что? Им это пара пустых! Советская власть отдохнуть не даст...

Однако, повторим, не было уже той взволнованности. Главное ведь, и вправду, не горели, не падали, а просто-напросто «начали снижение». Значит, жизнь ни у кого из летящих не отымут, не спросясь. Главное сейчас — правильно мужик сказал — нормально сесть. Подумаешь, пару часов потратить на новую регистрацию (сиживали и сутками!), главное, нормально сесть, а там — все будет путем!

Чашкин с весельем глянул на соседа справа — и вдруг похолодел! Тот сидел, запрокинув голову назад и набок. Лицом был грязно-сер. Вроде и не дышал уже.

Чашкин несмело протянул руку и будяще похлопал соседа по рукаву. «Вот-те раз!» — сосед не шевелился.

Чашкин в беспокойстве огляделся. Кого бы позвать?

Потряс соседа еще раз, уже без надежды, на всякий случай.

И тот вдруг — ожил!

Навзничь отброшенную голову переложил с места на место, обратил на Чашкина заспанный начальственный взор.

— Фу ты! — смешался Чашкин.— Извини! Я думал, что ты — того...

— Помер, что ли? — грубо и строго спросил сосед.

— Ну-у, вроде.

— Жив! — объявил сосед. Проморгал сонные веки, глянул на Чашкина уже по-новому, приязненно. Сразу стало видно, что он, хоть и начальник, наверное, но из простых.— А ты, стало быть, решил, что я — т о г о? Хе! Тоже в Москву?

— Ну.

— По делам или по личному?

— Это...— промямлил Чашкин.— По личным... по делам.

— Мда! — провозгласил сосед-начальник.— Я вот тоже, брат, по личным делам и должен доложить тебе, что дела наши личные — тухлые! Потому как посадят нас сейчас в городе Н. и в столицу Родины будут пускать либо по московской прописке, либо по сверхсрочной командировке, либо... если вышел рылом! Ты вроде бы, смотрю, не москвич?

— Да какой уж там москвич...— усмехнулся Чашкин.

— Значит, будешь сидеть и ждать!

— Ка-ак?! — ужаснулся Иван.— Мне нельзя! Что вы?! Чего ждать-то?!

— ...ждать, пока не закопают под стенку нашего несгибаемого, нашего пламенно-выдающего...

— Этого, что ли? — осторожно намекнул Чашкин и сделал глазами наверх.

Тот превосходительно расхохотался:

— Точно!

— Не-е...— повторил Чашкин с интонацией недоверия.— Чего-то я не пойму. Ну, похороны. Ну, этот... траур. А как же люди? Никто же зря не едет!

Сосед поглядел на него совсем уже насмешливо, даже с жалостью:

— Ми-илый! При чем здесь твои так называемые «люди», когда местное авиационное начальство, а может, и не местное, а может, и не только авиационное, из дресен сейчас лезет, чтобы обозначить перед вышестоящим неописуемую скорбь и горячую жажду делом ответить на постигшую утрату! В голове у них сейчас — суета, разброд, каша! У каждого очко дрожмя дрожит в ожидании завтрашнего дня и завтрашнего начальства! О н и сейчас что хочешь сделают! Они сейчас во что хочешь с д е л а ю т в и д, что верят! Даже в такую глупость, что обезумевшая от горя страна — вот прямо сейчас! — бросится вся, до единого жителя, в Москву, чтобы отдать последний долг этому...— Тут он явно удержался от какого-то, не вовсе пристойного слова.

— Ну, а если я, к примеру? — спросил Чашкин, немногое понимая из речей соседа.— Тоже — на похороны. Не-е! Не на те похороны, а на свои! Мать у меня померла... Тогда — как?

— Тогда я тебя поздравляю! — Тут же, впрочем, прикусил язык: — Прости, брат! С такими вещами поздравлять... Телеграмма есть?

— Есть! — Чашкин оживленно и радостно сунулся за пазуху.

— Тогда, святое дело, улетишь в первую очередь. Тебе беспокоиться нечего.

Чашкин — во второй раз за последние полчаса — испытал удар несказанного облегчения.

— Ну а вы как же?

Тот глянул на него с нескрываемым любопытством.

— За меня не бойся. До Москвы, насколько я знаю, от города Н. верст пятьсот. Выйду на шоссе. Голосну. Превосходно доеду.

— Да? Ну ладно.— легко и равнодушно согласился Чашкин. Опять отвалился в кресле, прикрыл глаза. Смутная улыбка довольства нарисовалась на его лице: тихо лелеял незнакомое, сладкое, нежданно нагрянувшее чувство, что он — не как все, не на общих основаниях, что «ему-то беспокоиться нечего»...

В печальных потемках этого все меркнущего и меркнущего ноябрьского дня, под зло-пасмурными этими небесами, глядя на приземистую грязно-бетонную коробку аэропорта, неохотно освещенную изнутри жиденько-голубеньким, аптечным каким-то светом,

стоя под крылом самолета в маленькой толпе таких же, как он, зябко ссутулившихся, дробно дрожащих людей, которые с каждым порывом язвительного ветра все теснее и отчаяннее сбивались в кучу,

тускло и покорно взглядывая на серые пустырные пространства вокруг,— Чашкин вдруг испытал острейшее изумление (почти, впрочем, беззлобное) загадочным правом и темной силой тех, кто был смутно представим его воображению и кто м о г вот так, не спросясь, спустить с небес на землю — черт-те где! — сотню людей, каждый из которых по важным ведь делам торопился, воображал, что только он вправе решать, куда ему лететь, когда лететь, где делать посадку,— взять и спустить с небес, и вытолкать на ледяной аэродромный ветер, в ноябрьскую эту тоску!

Молодая и злая, сильно озябшая женщина в тоненькой синей шинельке стояла у изножия лестницы и нетерпеливо поглядывала, как, озираясь, спускаются по трапу пассажиры, вид которых был заспан, растерян и отчего-то смущен.

Через какое-то время женщине надоело ждать — она повернулась, ни слова никому не сказав, и шагом предводителя направилась к зданию аэропорта.

Толпа под самолетным крылом суетливо вскипела, смешалась, но уже очень скоро обрела правильный образ стада: рядом с шинелькой поспешали самые преданные и воодушевленные; в середке шествовали, пытаясь соблюсти хотя бы видимость самоуважительности, то и дело, впрочем, срываясь на мелкую трусцу; в хвосте стада телепались откровенно никудышные, все безнадежнее растягивали отару в подобие длинной унылой очереди.

Чашкин шагал в середке — ближе к хвосту.

Каждый шагал поврозь.

Идти было не близко и очень холодно. Чашкин, однако, успокоенный тем, что ему беспокоиться нечего, терпел охотно.

Длинный автопоезд из пустых полуоткрытых вагончиков промчался мимо, шумно разбрызгивая лужи.

Развеселый водитель с сизыми от холода прыщами на лице проорал что-то веселое и приветственное синей шинельке. Та не ответила, даже не взглянула.

Чашкин изумился — кротко, с оттенком некоторой даже почтительности: удивительно, ничего не скажешь, жили тут. Ни шинельке, ни парню-водителю даже и в голову не пришло, что надо бы подвезти зазябших, не близко идущих людей.

...А часа через полтора с лицом, придурковатым, счастливым и слегка напуганным, он уже сидел на полу второго этажа аэровокзала, спиной упираясь в решетку балкона, несмело поглядывал по сторонам и то и дело старательно подбирал ноги с прохода, по которому бесцельно и лениво брели туда-сюда такие же, как он, «граждане пассажиры» с лицами, которые уже остервенелы были от скуки и злобы и бессмысленности происходящего с ними.

Чашкин сидел и был всерьез, тихо счастлив тем, что сидит на полу, что ему удалось углядеть, как освобождается место возле оградки балкона, и успеть быстрее всех усесться, и вот теперь он может сидеть и с высоты, как свысока, смотреть на вяло кишащую внизу серую толчею бестолково и безнадежно слоняющихся людских фигур.

Чашкин еще и тем был нешуточно счастлив, что удалось ему — не иначе как чудом! — заметить в громоздком навале багажа, плывущего по транспортеру, свой чемодан — неузнаваемо уже ободранный, заляпанный грязью,— и успеть выхватить, прежде чем тот кувыркнулся в багажную груду, накопившуюся с нескольких рейсов и все растущую, и уже заполонившую тесное помещеньице фанерного павильона больше, чем в рост человека, и по которой теперь ползали, в сердцах отшваривая чужое, те несчастливцы, кто вовремя не успел к конвейеру и теперь был вынужден заниматься раскопками. А еще чем счастлив был Чашкин, так это тем, что удалось ему благополучно выцарапаться из яростной, нахрапистой толпы, которая кипела возле окошка справочной и к которому (окошку) все вдруг, едва войдя в аэропорт, дружно устремились, увлекши с собой и Чашкина.

Оказавшись почти нечаянно в центре этой толпы, Чашкин мгновенно ощутил такую погибельную тошноту в сердце, такое предсмертное обомление чувств, что без шуток решил: здесь-то ему и конец.

С бессловесным воплем попытался вырваться было из плотной бестолочи шумно дышащих, все куда-то продирающихся людей, из заразного, цепкого этого ожесточения —

да только куда там! — толпа, как трясина, уже крепко держала его. И тогда, обреченный, он стал стоять неподвижно, обмирая от жути и тоски, никаких уже попыток не предпринимая — ни для того, чтобы вырваться, ни для того, чтобы, как все, прорваться к окошку, и, должно быть, только поэтому — минут через пять — его подволокло к застекленному барьерчику.

Тут-то, словно проснувшись, он отчаянно уцепился за что-то и стал кричать в окошко бледной от ненависти к пассажирам девчушке (похожей чем-то на Любу) какие-то слова о похоронах.

Девчушка глянула на него по-доброму.

Этот человек, единственный, не спрашивал у нее, почему Москва закрыта, почему он хуже москвичей, почему его командировка не может считаться особо ответственной,— не спрашивал, когда, как и что же теперь делать, и не глядел на нее лютыми, белесыми от злобы глазами, будто это именно она, вчерашняя школьница, выдумала всю эту несуразную чехарду с внезапно садящимися «бортами», с отменами рейсов, с перерегистрацией...

Она ведь была, видит бог, девочка совсем не грубая. В любое другое время ей доставляло отчетливое удовольствие сидеть за своей загородочкой в синенькой, по фигурке ушитой форменной тужурочке и отвечать на вопросы пассажиров, получая удовольствие от того, как терпеливо и вежливо, с улыбкой и добром отвечает она пассажирам. И даже в этот день, с утра, ей долго хватало терпения отвечать, как учили, но старшая по смене, как назло (назло!), пропала, и вот она сидела в своей стекляшке уже четвертый час, а толпа разгневанных, ничего не понимающих, несчастных людей все осаждала и осаждала ее оконце и злость свою, бешенство свое к Аэрофлоту выплескивала на нее, и ей, конечно же, было обидно, с каждым часом все обиднее и обиднее, и сначала она чуть не плакала, а потом...

А потом на чью-то грубость ответила вдруг и сама с хамством, слегка даже ошеломившим ее, но от которого вдруг так странно-легко стало, так защищенно, какие-то нудные тормоза ослабли... И хоть она еще пыталась слабо сопротивляться этому новому в себе, но все чаще уже срывалась на базарные скандальные ноты, и хоть стыдновато ей все ж делалось каждый раз, но уже и освобожденно и злобно-весело.

И вот когда сунулся в окошко этот человек с лицом несчастной морщинистой больной обезьяны и сказал про похороны — девушка с облегчением перевела дух. Не надо было сволочиться, не надо было чужим голосом выкрикивать чужие слова... И она улыбнулась этому человеку по-человечески и, испытывая к нему что-то вроде благодарности, стала втолковывать, что пусть он идет в отдел перевозок, коли телеграмма есть, его-то отправят, пусть не беспокоится (хоть одного-то по ее милости отправят!), первым же рейсом, а рейсы будут, не волнуйтесь, после регистрации будут сформированы новые рейсы из тех пассажиров, кто имеет право в нынешних обстоятельствах лететь в Москву.

Выслушав объяснения, Чашкин забелевшие от напряжения руки от прилавка отцепил, толпа его тут же сплюснула, отпустила, еще разок придавила и наконец, совершенно счастливого, хоть и полузадушенного, изжамканного, выплюнула в сторону!

И там, чуть не упав, зацепившись за коленки сидящего на корточках безмятежно веселого парня, Чашкин выдохнул с восхищением:

— М-мать честная! Как живым-то оставили?!

Парень улыбнулся ему с сочувствием, актерски сверкнул ослепительно-белыми, на подбор зубами:

— Ребра-то целы? Ну тогда — ничо! — И вновь обратился оживленным взором к толпе, которая бушевала возле справочной и куда он время от времени неизвестно кому подкидывал лозунги: — Праально! Если не москвичи, так что же, уже и не люди??

Ему, одному-единственному, было весело здесь. Он, один, не был злобен, не был взвинчен. Казалось, вокруг него кругом очерчено пространство безмятежности и веселого удовольствия жизни.

Чашкин с сожалением оторвал взгляд от кучерявого этого весельчака. Пошел искать отдел перевозок.

...И вот теперь, позволив себе малость передышки, сидел на полу балкона и тешил себя покоем, довольством, смутными усладами случившихся с ним сегодня удач.

Хотя, если честно глядеть, никаких ведь удач еще и не случалось. И о каком покое можно было тут говорить?

Все беспокойства только-только еще начинались...

Над креслами зала ожидания развешаны были телевизоры.

Один из них располагался чуть наискосок от Чашкина — он поневоле поглядывал туда.

Там, в сонном аквариумном сумраке экрана, все продолжалось и продолжалась медленная чинная работа возложения жестких венков, вставаний в ряды почетного караула, смены вооруженных солдатиков на посту, пожимания рук и бессловесного пришепетывания слов соболезнования черно одетой родне лежащего.

Причем по лицам тех, кто все это время вставал или выходил, отстояв свой срок, из почетного караула, кто выстраивался строго по ранжиру поближе ли, подальше ли от гроба,— по их лицам, по тому, как старательно и принужденно держали они складками лица маску скорби, как бы одну на всех обязательную, ясно было видно: нет в них ни скорби, ни даже простого человеческого сожаления об ушедшем, а идет церемония, в механическом повторении основных моментов которой вот все эти люди — лишь механически повторяющиеся фигурки, вроде тех, что в урочное время появляются на циферблатах старинных башенных часов и проплывают там по кругу, раз навсегда окаменелые, чудные и нелепые.

А мимо гробового сооружения, напоминающего более всего косо и вверх расположенную цветочную клумбу, где, совсем уже невзрачный, помещен был усопший, глядя на которого Чашкину казалось, что он прямо-таки на глазах все глубже и глубже погружается в эту пучину из цветов и вскоре вовсе там утонет,— мимо погребальной той платформы спешным (и кем-то, видимо, подгоняемым) ручейком проходили, явно и сами торопясь пройти, тепло одетые мужчины и женщины, на которых телевизор пренебрежительно почти совсем не обращал внимания, среди которых, однако, Чашкин успел заметить и несколько всерьез заплаканных лиц, пораженно заметив одновременно, что и на этих лицах в общем-то нет никакого горя, а есть лишь естественное опасливое любопытство живых к покойнику и (совсем немного) сочувствие оставшихся жить к переставшему жить.

Почти все были с сумками, с портфелями, и нетрудно было Чашкину вспомнить разговоры о том, что всех этих людей гонят в тот сумрачный зал, и нетрудно было вообразить, что, вот сейчас выйдя из скорбных тех стен, они оживленно устремятся по домашним своим делам, немало довольные случившимся отгулом, и, быстро изжив из себя неприятную досаду от созерцания мертвого тела в груде цветов, быстро и с удовольствием займутся жизнью.

Маетная, заунывная музыка приглушенно доносилась из телевизоров. Время от времени ее перебивали бубнящие голоса дикторов, одинаково траурно-приподнятые и с одинаковой фальшивинкой скорбные.

Все это сливалось с каторжным шорканьем тысяч ног по кафельному полу аэровокзала, с детским плачем, который со все большим отчаянием раздавался то там, то тут; с отголосками скандала, как бы постоянно тлеющего, то разгораясь, то стихая, внизу у справочной; с оживленным, все более крепнущим, недовольным и уже угрожающим «бу-бу-бу», которое, подобно машинному гуду, заполняло здание от пола до крыши.

И все язвительнее, все наглее и победительнее плыла по битком набитому зданию истошная вонь туалетов, двери в которые уже почти не закрывались и к которым, кроткие, бессловесные, поневоле нестеснительные, уже выстроены были очереди женщин, оловянно-мертво освещенные огромным ноябрьским небом, угрюмо стоящим за сплошь стеклянной фасадной стеной аэровокзала.

Пожилая женщина в форменной аэрофлотовской шинели — необыкновенно мило, на взгляд Чашкина, покрытая серым деревенским платком,— не в первый уже раз пробиралась по своим делам вдоль узкого прохода, который оставался между расположившимися на полу людьми. И не в первый уже раз Чашкин растроганно обратил внимание, как она смотрит — без тени раздражения, с сочувствием, но без обидной жалости — на людей, которые, конечно же, не могли не досаждать ей своими узлами, чемоданами, ногами, вытянутыми на середину прохода.

В ней, в этой милой женщине, даже и намека не обозначалось, что она может быть нервна, бранчлива, к людям

неприязненна. Мгновенно верилось, глядя на нее, что такого в ней нет и вовсе!

И это таким чудом чудным гляделось в раздраженной кипящей атмосфере аэропорта... и она, главное, кого-то так напоминала Чашкину из поселковых пожилых женщин, что он, неожиданно поймав и *ему тоже* причитавшийся мягкий незлобливый взгляд, быстро вдруг понял: если кто-то и поможет ему здесь, в чужой этой стороне, то только она, вот эта женщина!

Тотчас же, не на шутку волнуясь, с ощущением, что совершает непоправимое, покидая насиженное место,— он поднялся и поспешил следом за ней.

Он приметил дверь, куда она зашла, и стал покорно ждать, поневоле подвергаем множеству толчков и грубостей, поскольку ждать он остался на ходу у людей.

В жизни не видавший столько людей за раз, он испытывал тоску от этой толкотни. Тоска была, как грязный дым, застящий душу.

«Зачем поехал?» — все чаще обращался он к себе со злобной досадой. Тут же спохватывался: «Мать ведь...», старался думать о матери, о смерти матери, но куда уж тут было думать о матери, о смерти ее, когда вокруг творилось такое!

— Землячка! — вскрикнул он вдруг так отчаянно, что большинство народа (а не только женщина, которую он поджидал и нечаянно просмотрел) оглянулись.

... и ужасно обрадовался чрезвычайно хорошему словечку, пришедшему в голову, и окончательно почему-то уверился: «Поможет!»

Он протолкался к ней сквозь поток навстречу идущих и еще раз повторил, удовольствие ощущая от этого славного слова: «Землячка!»

— Ну что тебе, землячок? — Она взглянула на него через плечо, и он тотчас увидел, что вовсе и не такая уж она пожилая, еще вчера баба-огонь была, и заробел, и смешался, и жалкие вдруг стал слова говорить:

— Матушка у меня померла. В Москву надо. Покажи уж, ради Христа, к кому обратиться!

— Телеграмма есть? — спросила она, коротко оглянувшись, и продолжая идти (не идти все равно бы не позволили).

— Есть! А как же? — с восторгом обладания воскликнул Чашкин и привычным уже жестом сунулся за пазуху.

— А ты что, может, и вправду землячок? Откуда?

— Из Егоровска! Посадили, вишь ты, ни с того ни с сего. А ты-то откуда?

Она назвала дальневосточный город.

Чашкин огорчился и даже шаг придержал:

— Не-е... Не земляки мы.

Она расхохоталась, мельком оглянувшись на него. Успокоила:

— У меня зато отец из ваших краев. Не потеряйся гляди!

— Я уж за тобой — как нитка за иголкой! — воскликнул счастливо Чашкин и опять заторопился изо всех сил.

— Да разве тут протолкаешься? — потерянно сказал Чашкин, когда они подошли к отделу перевозок и поглядели, что творится.

Творилось примерно то же, что и возле справочной. Каждый на свой манер норовил добраться до начальника, который с измученным лицом, хранящим легкую брезгливость честного человека, попавшего в обстоятельства нечестные, сидел за столом, отделенным от людей подобием прилавка.

— Нет,— говорил он всем.— Нет. Пока нельзя. Нет распоряжений. Не имею права.— Старался говорить как можно ровнее и спокойнее и не сорваться на крик, который так и торкался у него в горле.

Он, этот начальник, не мог не понимать, что сейчас олицетворяет для всех этих несчастных людей ту самую подлую, барски-пренебрежительную силу сидящих наверху, которая, одна, и вынудила мучиться, бесноваться от бессилия, унижаться и быть униженными сотни, тысячи мужчин, стариков, женщин и детей, вероломно застигнутых и посаженных в аэропортах, и поскольку он знал, что сделано это не из соображений веских, а исключительно лишь из трусости перед начальством, которое придет *завтра* («Кто знает, а не спросит ли завтрашний начальник, а почему, дорогие товарищи, в дни всенародного траура, в дни единодушной скорби, в дни, когда особенно нужна была политическая зрелость, бдительность и выдержка, почему по *вашей*, дорогие товарищи, милости Москва, столица нашей Родины, была наводнена случайными людьми?»), и поскольку многих из тех, кто принимал или мог принять такое решение, начальник отдела перевозок знал и откровенно презирал, ему тем большего и тем более мучительного труда доставляло сидеть вот в этом кресле, быть поневоле защитником их подлой воли, и вот почему чем дальше, тем больше, ему отчаяннейшим образом хотелось сорваться на крик.

Человек с ослепленными от бешенства глазами вырвался из толпы, толкшейся возле прилавка. Чуть не сшиб Чашкина с женщиной.

— Стопчут нас здесь однако...— сказала она.— Попробуем, может, через Степаныча пройти?

Открыли дверь «Посторонним вход воспрещен», прошли по узкому коридору, спустились на несколько ступенек, поднялись на несколько ступенек, повернули направо, повернули налево, пересекли комнату, где, надрываясь, орал по телефону мужчина, приветливо кивнувший женщине и без выражения оглядевший вконец оробевшего Чашкина,— и вдруг оказались, как с удивлением обнаружил Чашкин, там же, откуда уходили.

Через полуоткрытую дверь было видно, как люди штурмуют прилавок, но теперь-то и Чашкин и женщина были по *эту* сторону.

Женщина подала знак осаждаемому человеку, и тот сразу же, с облегчением заулыбавшись, поднялся. Будто только и ждал повода хоть на минутку покинуть свой пост.

Однако, когда он заметил Чашкина, стоявшего за спиной женщины, лицо его опять заметно ожесточилось.

— Давай телеграмму! Быстренько! — сказала женщина, пока тот приближался.

Чашкин с готовностью протянул. Стал с любопытством оглядываться вокруг. Защищенность, покой и отрада царили в нем.

Вдруг он услышал:

— Анюта! Милая! Ты что, первый день в Аэрофлоте? «Смертная» должна быть заверена врачом! А это?

Женщина заглянула в телеграмму.

Начальник — теперь уже Чашкину, с неприязнью глядя на него,— сказал:

— Без заверенной подписи врача — это не телеграмма! Это — бумажка! По ней я не имею права отправить вас. А ты...— он снова повернулся к Анюте,— в следующий раз смотри, за кого хлопочешь!

Чашкин не сразу-то и понял, что случилось. А когда понял и, ощущая дурноту, как от нежданного удара, вскричал: «Так телеграмма-то! Телеграмма-то ночью пришла!» — начальник уже возвращался на проклятое свое место, бормоча с отвращением: «...не имею права... права не имею...»

Чашкин повернулся к женщине.

— Ночью пришла! Телеграмма-то! Я позвонил сеструхе, она и сказала... По-одпись! — Он чуть не заплакал.— Ладно! В следующий раз, когда мать умрет, буду знать, что нужна подпись!

— Пойдем-ка,— сказала женщина, внимательно поглядев ему в лицо.— Выведу я тебя. Ты погоди. Может, чего еще и придумается.

Они пошли.

Она вдруг рассмеялась:

— Во-о, землячок! Из-за тебя, вишь ты, и мне накостыляли!

— Так телеграмма же! — снова принялся горячо объяснять Чашкин.— Она ведь ночью пришла! Я позвонил сестре...

Анюта отворила дверь. Они опять оказались среди толчеи.

— Ты где-нибудь *здесь* будь! — Она показала и вновь повторила, не очень-то уверенно: — Может, чего еще и придумается...

— О-о-ой! — сказал вдруг Чашкин жалобно.— Чего-то не могу я... тошно мне чего-то! Я уж на улице лучше!

(Окончание следует)

Игорь
ШКЛЯРЕВСКИЙ

ТАЙНА ТАЙНЫХ

* * *

Пришла худая белая собака. Сидит и смотрит. Я её накормил. Уткнулась мордой в мою ладонь. Нос — холодный и мокрый. У здоровой собаки всегда — холодный, мокрый нос...

Вечером шел к реке и увяз в болоте. И вдруг сказал самому себе:

— Болото — мокрый нос земли! Ведь где-то же земля должна быть мокрой. Здоровая земля хоть где-нибудь должна быть влажной.

Ветер крутит пыль на Полесье. Болото, в котором я увяз, уже кочует облаком по небу. И у земли уже — сухой, горячий нос. А я иду и повторяю, как заклинание, как тайну тайных:

— Полесье — мокрый нос земли. Ведь где-то же земля должна быть мокрой. Здоровая земля хоть где-нибудь...

* * *

Люблю чертополох — нарядный и колючий. «Растет на пастбищах и вдоль дорог. В хозяйстве непригоден. Лекарственного значения не имеет. Сорняк».

Все, что не можем съесть,— мы называем сорняками.

Обходил заросли чертополоха, и мне приоткрылась его тайна. И человек обходит эти заросли, и лошадь, и корова. И даже трактор объезжает. И блаженствует под чертополохом незатоптанная земля. Отдыхает, как небритый усталый человек, в воскресный день закрывшись у себя на даче, чтобы с понедельника опять втянуться в сумасшедшие ритмы жизни. Люблю чертополох!

* * *

Копал в овраге червей, и лопата вывернула полиэтиленовый мешок. Стал копать в другом месте и выкопал полиэтиленовый пакет. Страшно подумать, сколько земли не дышит.

Все переживет земля — и кости наши, и железо, а пластмассу изрыгáет.

А мы все перевыполняем планы по изготовлению моторных лодок, пластмассовой посуды, пластмассовых детских игрушек. У современной хозяйки посуды больше, чем было в прошлом веке у графини.

* * *

Смотришь в небо, но что эти звезды? Остывшие камни, шипящие угли, ковши с раскаленной серой, сковородки, забытые богом.

А мы — на небесном цветке, в озоновом одуванчике, на кувшинке в затоне Вселенной... Ковыряем, скоблим, прогрызаем ее лепестки.

Носимся на моторных лодках — потехи ради, праздно. И даже не думаем, что это — святотатство, не меньшее, чем ездить на мотоциклах по хлебному полю.

* * *

Вода — живое существо... Она смотрит на людей сквозь плывущие мазутные пятна и видит жениха в нечистой рубахе, и неопрятную невесту с мусором в волосах, и наши белые дома в потеках грязи, и грязную черемуху на обрыве.

Воды — лики народов, зеркала времён, отражения совести людей...

* * *

Облако из Чернобыля упало на мою землю.

Я рыбачил на Днепре, на Припяти, на Соже. Идешь лугами — обсасываешь клевер, идешь лесом — набиваешь рот спелой земляникой. Непрокуренная слизистая оболочка и свежее детское нёбо осязают и ощущают в тысячу раз острее, чем у взрослого человека. Земляника, черника, брусника... Теперь в них затаилась страшная сила, убивающая красные кровяные тельца.

И вот я отчужденно прохожу мимо спелой земляники, отчужденно прохожу мимо белых грибов, отчужденно смотрю, как плещется плотва и по воде расходятся круги. Впервые в истории людей — крах генетической памяти, асфальтовый тупик детства и тайная погибель чувствительности. Ведь в сознании умирают источники радости, счастья, благодарности жизни.

А какие остаются?

Лени, хитрости, равнодушия. Их становится больше, равновесие нарушено. Невидимая глазу трагедия чернобыльской аварии, еще не осознанная учеными и философами.

* * *

До самого горизонта по тундре тянется наполненная водой колея. Совсем свежий след. И ни души вокруг. Спрашиваю у биолога:

— Кто здесь проехал?

— Трактор.

— Давно?

— Лет десять назад...

Солнце освещает пустую тундру, и блестит колея...

* * *

Присиился лозунг:
Земля — квартира без мусоропровода.

* * *

Жил на Белом море у биологов. Они открыли тайну речного жемчуга. Был жемчуг и пропал...

Оказалось, что жемчужница зарождается в жабрах семги! Но нерестилища завалены потонувшим сплавным лесом, в малые реки семга почти не заходит — их превратили в деревянные коридоры. И не стало в мелких северных реках русского жемчуга. Все повязано тайными узлами, и недолго нам хамить на своей одииокой кувшинке.

* * *

Вместо слов «мертвая река», «отрааленный воздух», «изнасиловаиная природа», мы стали говорить: «экология, экологические проблемы»...

Это все равно, что малограмотной старухе вместо слова «рак» сказать «канцер», она будет улыбаться и просить таблетки.

* * *

Иду по чистой безлюдной улице финского городка Ювескюле. Обронив спичку, прошел метров двадцать, оглянулся — белеет моя одинокая спичка.

Украшеиие земли не стало у нас государственной идеей, смыслом существования, нашей главной профессией и национальной гордостью.

Каждый из своего окна смотрим на грязный, унылый двор. Привыкли смотреть на грязь. Смотрели молча. Теперь смотрим и критикуем.

Какое-то заклятье над нами. Какое-то жуткое оцепенение — то немое, то болтливое. А грязь лежит.

* * *

Сколько рыбы было в монастырских прудах и какие сады! Пруды отняли, вода заросла тиной, сады пришли в запустение.

Теперь у церкви есть силы и деньги — отвоевать у городской пустыни несколько гектаров во имя вечной жизни и хлорофилла.

* * *

Когда стерлядь входила в малые реки на нерест, церкви не звоиили в колокола... Об этом сообщают старые русские журналы, рассказывая о жизни верхневолжских городов.

* * *

Одинокая старуха пасет коров и собираст в луговых лужах карасиков на уху. Вечером она гонит стадо мимо нашей стоянки и говорит: «Вот и я нарыбачила».

Вместо риторических уроков о любви к родине хоть бы один учитель догадался вывести школьников на весенние луга. Там в пересыхающих лужах и канавах задыхаются миллионы мальков, оставшихся после половодья. А летнее солнце уже припекает.

Кстати, американцы — патриоты. И не на словах — на деле, они украшают свою землю в личном пространстве.

* * *

В многоэтажных домах человечество не выживет.

* * *

За час в окне поезда блеснула одна лужа. И это весной — в апреле...

Уже сегодня надо строить ветряные и водяные мельницы.

НОВЫЕ СТИХИ ИЗ «ЛЕТОПИСЦА РЕКИ»

Пляж инвалидов

Раздевались в кустах инвалиды,
в стороне от веселых людей
и, цепляись за грустиые ивы,
иеумело сиолзали к воде.
Погружаясь в ирохладиые струи,
о, водв! — улыбались калеки,
изиывали от счастьи болячки,
ввслаждались обрубки, культиики,
иатертые костылими,
протезами райсобеса.
Освежалв иесчвствых река,
и смеились калеки, как дети.
Мальчик с удочкой, тихий свидетель —
на иесок выползали нелепо,
и молчало печальиое Небо,
и с обидой смотрела Вода
на ирискорбиое это блажеиство.
Для чего в доиотопиых веках
добивалась онв совершеиства?
Бплся мозг на увечиом виске,
и валялись в кустах иа песке
деревяниые руки и иоги...
И молчали бессильиые боги.

Зачарованный часовой

А иомиишь, весной в Рогачеве
стоил ив мосту часовой
и, голову свесив с перплв,
смотрел, как в прозрачиой воде
под сваями рыба ходила,
сверкая боками иа дне.
Твк смотрит детдомовец иочью
иа елку в богвтом окие.
Блестит золотые шары,
и мальчик бревчит ва рояле.
Скрипели возы за спиной,
солому сквозь доски роиили.
И, голову свесив с перила,
одии, в синеве сиротливой
стоял иа мосту часовой.
Забыв о шиионах ковариых,
с веревочиой леской в кармаие,
проиизаииый дивиой тоской...
А иочью кувшиика белела
среди отражевных светил,
и ужас его осеиил!
Земля — одииокий цветок,
кувшиика в затоие Вселениой...

Соловьиный тупик

На разъезде с бухаиками хлеба
иассажиры сходили впотьмах,
и иарядиое майское иебо
сиротливо сверкало в дверях.
Поезд полз от столба до столба.
Ждали в сумерках встречвый из Праги,
долго плакали жабы в овраге...
И опять скрежетала судьба.
Пропускали Берлииский, стояли
посреди оиемевших иолей,
и свистел в тупике соловей!

Огонь

Моросащаи родииа детства,
торфявики, мокрые вербы,
болот водяиистая груеть.
Приедешь, и векуда деться...
О, веселый оговь пустырей!
Праздиик бедвых детей,
покровитель озябшего счастья,
всех, кого ириютили стога,
кто, дрожа, зарывался в солому,
От илакатов не стало теплей,
и костры подарил Прометей
могплевскому детскому дому...
Все мы — сироты вечности,
все мы — детдомовцы неба,
и в лесах заплутавший грибиик,

они и пейзажи родные украсят, и вода не будет скатываться с лугов, и плотины подопрут ее.

Надо создавать современные дирижабли и другие летательные аппараты, которые не пачкают небо, не рвут его на клочья.

Помню водяную мельницу на реке Ресте, еще крутились жернова, и вода стекала с колеса. Помню мельника, белого от муки, и белые ивы над глубокими запрудами. В них водилась крупная нарядная плотва. А теперь поймаешь плотвицу, и чешуя остается на ладони.

Помню пыльную дорогу из пионерского лагеря и догнивающие ветряки на холмах.

Грустная шутка — если бы мы еще лет на 30 отстали, то сегодня оказались бы впереди.

* * *

На Полесье всегда дует ветер. Коридоры ветряков могли бы заменить целую АЭС.

* * *

Идет речная «Ракета». Пассажиров — одиннадцать человек. Я спросил у каждого: зачем и куда он едет?

В гости к другу, к подруге, на танцы, просто так, на день рождения...

Летит речная ракета, выплескивая реку, разбивает ударной волной берега, обваливаются огромные комья глины, обнажаются корни береговых дубов и ветел, трепещут на песке выброшенные волной мальки, и расклевывают их сороки. Едем на танцы!

* * *

Летом 1963 года я плыл по Тихому океану. Навстречу нам двигался японский краболов. Рыбаки попросили у нас воды.

Наше судно остановилось. Японский сейнер приблизился, и мы перебросили через борт брезентовый шланг. Он стал упругим и холодным — потекла вода.

Улыбаясь и кланяясь, японские рыбаки отплывали в пустой океан.

И тогда я впервые с ужасом подумал о Земле. Она не может причалить к другой планете и заправиться свежей водой...

* * *

У каждого города есть своя тайна, свой узел счастья.

Невзрачные бабочки бедного, серого цвета... Но вот не стало их, и не стало в реке уклеек, чехоней, голавлей. Все верховодные рыбы пропали. И погасла вода. И погас под плакучими ивами млечный путь серебристых мальков.

Ослабела тайная сила воды — река перестала притягивать...

И погасли глаза у людей. Как будто не бабочка пропала, а развязался узел счастья. Поденка похожа на серую нитку, завязанную бантом.

* * *

В римском сенате, если строили плотину или канал, совет ученых докладывал о возможных последствиях через 200 лет...

* * *

Осенью 1986 года два инспектора просидели всю ночь на берегу Припяти — без костра. У них были спички и хворост был рядом, в кустах, но эти люди знали, что на ветках, на траве, на соломе лежит чернобыльская пыль. И если поджечь запыленные ветки, костер становится маленьким реактором.

До утра сидели на песчаной отмели, а ночь была холодная, сырая.

— Может, дрова помоем?

Жутко было слышать свои слова.

Впервые в истории Земли озябшие люди не зажгли костер...

и веселый плохой ученик,
иа реку убежавший с урока.
И сниет костер одиноко...
На людей, иа поля, иа дома
наползала кромешная тьма,
и молчала вода, как чужая,
но маячил иод ивами свет!
И в огонь и смотрел,
продолжая
взгляд, которому тысячи лет...
Я костер оставлял в темноте,
собирая на отмели хворост,
ио с оглядкой — горит, не погас...
По росе возвращался к нему,
и скулила душа, как собака.
Одиноко сияя во тьму,
мой костер отбивался от мрака.
И сияиие жаром текло
по лицу, по намокшим колеиям,
навевая звериную грусть,
обещаиие солнца — не бойся,
я на темную землю вернусь!

☆☆☆

От ветра гудит голова,
за лесом мигает заринца,
уныло и тошно кричит
больиая какая-то птица.
Лежу, дрожу, слушаю —
душу знобящие крики.
А дома светло и тепло,
иа полке любимые книги,
и дождь барабаиит в стекло.
Дрожа, зарываюсь в солому.
А может, я волю свою
и ветер унылый люблю
за то, что тоскую по дому?

Под зеленым кустом

Полями иду, а вороиа крпчит:
— Оиять он идет к реке!
Лесами иду, а сорока трещит:
— Пустая железиая банка
блестит у него в руке.
Лесами иду, а в траве ежи
болтвют, обнюхав след:
— Не миого еды у иего лежит.
— Откуда, ведь ои поэт!
Лисицы, ежи и сороки,
и всякие мелкие птицы
повсюду следят за мной.
Все видят ои, все знают,
пронюхали мой рюкзак —
яблоки, лук, баранки...
И все-таки иочью они придут
к веселой моей стоянке.
Ведь надо кормять детей,
а жить все трудней в иолях,
с утра самолет летает
и сыплет отраву с иебв,
вороиа вчера ослепла,
и майских жуков ие стало.
О, радость! На дие мешка
лежит копчеиое сало.
Великая тайна...
— Тише!
Нельзя, чтоб узнали итицы,
нельзи, чтоб узиали мыши.
Крадутся ежи к стоянке.
сужают круги лисицы.
О, запахи сала и хлеба!
Костер иа лугу пылает,
сидит у костра иоэт,
стихи сочиняет в небо...

— Живу под зелеиым кустом.
Вертлявые птицы крадут у меия
остатки засохшего хлеба.
Собаки бродячие лезут в тайник,
козы с иопуростью Дон Кихота
ириходят и лижут соль,
и ворои-крумкач прилетает,
когда отплыву от стояики,
клюет из корзины сало.
Приходят ко мие и ежи,
и ветры воруют одежды,
а причут и дубах н во ржи,
но все оставляют надежду
на мпр под зеленым кустом!

Наша публикация

Марк АЛДАНОВ

СВЯТАЯ ЕЛЕНА, МАЛЕНЬКИЙ ОСТРОВ

Рисунки Павла Бунина

В школьной тетради Наполеона от 1788 года (Fonds Libri, № 11), составленной по курсу географии аббата Лекруа, занесены рукой будущего императора следующие слова: «Sainte Hélène, petite île». На этом месте запись в тетради обрывается.

I

Однажды в раннем детстве Сузи Джонсон услышала от своей матери, что вперед к обеду больше не будет подаваться пудинг. Сузи заплакала от горя.

— My little darling [1],— сказала ей нежно и наставительно мать,— Бетси Браун и другие девочки тоже не получат пудинга. Надо терпеть и экономить. Во всем виноват злой Бони, который устроил дорогой старой стране континентальную систему.

Сузи сквозь слезы осведомилась, что это еще за континентальная система. Но мистрис Джонсон и сама не совсем хорошо это понимала. Девочке показалось, что континентальная система что-то вроде длинной, гадкой змеи.

Вечером, ложась спать, Сузи, по указанию матери, помолилась Лорду, чтобы Он спас дорогую страну от злого Бони, который отобрал у нее, и у Бетси Браун, и у других английских девочек вкусный пудинг — с изюмом, сливами и сладкой коричневой коркой,— верно, для того, чтобы все съесть самому.

Злого Бони мисс Сузи боялась и ненавидела больше всего на свете. Всякий раз, когда она дурно себя вела, мать и мисс Мэри говорили, что отдадут ее Бони, и при этом делали страшные глаза. В первый раз Сузи услышала имя Бони както утром за завтраком и с ужасом спросила, кто такой Бони.

— Он сам сатана! — воскликнула, не удержавшись, ее воспитательница.

— О, мисс Мэри! — с укором сказала мистрис Джонсон, не любившая неприличных слов.

Но дэдди, подполковник Джонсон, оторвавшись от свежего номера «Morning Post» и ударив кулаком по столу, заявил, что мисс Мэри совершенно права: Бони действительно сам проклятый сатана. При этом подполковник Джонсон завращал глазами и в словах d-damned d-devil както особенно страшно растянул букву d.

Только когда мисс Сузи стала уже большой, незадолго до того, как ей пошел восьмой год, ей сказали, что Бони — не просто Бони, что это кличка, вроде как ее двоюродного брата Эдуарда Брауна зовут Эдди. Она узнала, что у злого Бони есть другое, длинное и трудное, имя: Наполеон Бонапарт, и что он состоит Кингджорджем (просто кингом,— поправила, улыбнувшись, мать) у французов, которые живут за морем, едят лягушек (shame!) [2], хотят погубить дорогую старую страну и воюют, как настоящие гунны, нечестно, совершая всякие зверства.

Вскоре после этого дэдди, подполковник Джонсон, был убит злым Бони на войне. А еще позднее к обеду стало снова появляться сладкое. Читая газеты, большие оживленно говорили, будто дела злого Бони идут плохо: его бьют русские. Сузи тотчас осведомилась о русских и узнала, с некоторым страхом, но и с удовлетворением, что это хороший народ, который живет в снегу с медведями, ест сальные свечки, но любит дорогую старую страну и не любит проклятых французов: русский король Александр, дальний родственник Кингджорджа, и один русский граф с фамилией, которую ни выговорить, ни запомнить невозможно, подожгли даже свою столицу Москву, чтобы спалить забравшегося туда Бони и сделать удовольствие Кингджорджу. Это очень понравилось Сузи.

Чуть не каждый день, во все время ее детства, мисс Сузи приходилось слышать о разных злодеяниях Бони. Наконец, в одно летнее утро, к ним в дом вбежал их молодой кузен, лейтенант Эдуард Браун, весь сияющий и украшенный блестящими орденами. В разговоре, радостном и быстром, он часто произносил слово Ватерлоо,— и через несколько минут всему дому стало известно, что герцог Веллингтон и кузен Эдди победили злого Бони, отомстили за дэдди и что отныне дорогой старой стране больше нечего бояться. Кроме Эдди, в победе над Бони принимали участие немцы — очень хороший народ, который воюет честно и не совершает никаких зверств. Но немцы помогли только чуть-чуть, а все главное сделали дорогие старые малые, дорогой старый герцог Веллингтон и особенно дорогой кузен Эдди.

[1] Милочка (англ.).
[2] Как стыдно! (англ.).

Затем судьба странно завертела Сузи и всю ее семью. У них в доме стал бывать некрасивый, неприятный военный, с оттянутой верхней губой и острым подбородком, сэр Гудсон Лоу. Он как-то особенно почтительно обращался с мистрис Джонсон и подолгу оставался с ней вдвоем по вечерам. Зимой того года, когда вернулся кузен Эдди, мистрис Джонсон, слегка покраснев, сказала Сузи и ее меньшой сестре, что у них будет новый дэдди, ибо оиа выходит замуж за сэра Гудсона. Мисс Мэри под строжайшим секретом сообщила девочкам, что сэр Гудсон незнатного рода: ему до них так же далеко, как им до герцога Норфолька, первого пэра Англии. Но это не беда, ибо сэр Гудсон очень хороший человек и известный генерал. Одновременно оказалось, что они все переселяются очень далеко, на какой-то остров святой Елены, куда их новый дэдди назначен губернатором, и что на этом острове уже находится злой Бони, которого они будут стеречь — и не позволят ему убежать и убивать англичан. Затем все они долго — два с половиной месяца — ехали по большому морю на корабле с мачтами и с пушками, их страшно качало, всех, но не ее,— она одна ни чуточки не была больна,— и наконец приехали на остров святой Елены, в большой дом Plantation House. Прекрасный дом, чудный сад с невиданными мимозами очень понравились Сузи. Обежав квартиру, она первым делом спросила, в каком подвале заперт Бони, и нельзя ли его хоть издали увидеть, если это ие очень опасно. Но оказалось, к большому ее успокоению, что Бони в доме вовсе нет, что он живет в другом месте, на вилле Лонгвуд, очень далеко от Plantation House и что они, кроме дэдди, его видеть не будут, ни вблизи, ни издали.

На острове св. Елены Сузи незаметно превратилась из малого ребенка в очаровательную девочку. Говорили, что она красавица. Ей шел шестнадцатый год, и уже иногда называли ее мисс Сузанной, когда в нее алюбился и сделал ей предложение представитель русского императора на острове св. Елеиы, граф Александр де Бальмен.

Своего будущего мужа Сузи в первый раз увидела на обеде, который губернатор дал в честь иностранных комиссаров. Она сразу обратила внимание на то, что граф де Бальмен — красивый человек, гораздо более красивый, чем австрийский уполномоченный, барон Штюрмер, и французский, маркиз де Моншеню. Когда негры внесли в залу канделябры, мисс Сузанна с любопытством и гадливостью приготовилась к тому, что русский вынет свечу и съест. Но русский этого не сделал. Мисс Сузанне даже показалось, будто граф де Бальмен совершеиный джентльмен.

За обедом говорили то по-французски, то по-английски. Русский очень хорошо говорил по-английски — с оксфордским произношением, как кузен Эдди. Правда, мисс Сузанна сразу заметила, что оксфордское произношение у него выходит не совсем так, как у кузена Эдди, и что ти-эйч у русского какое-то странное. Но и это ей почему-то понравилось. По-французски же граф де Бальмен говорил совершенно изумительно,— сама мисс Сузи с трудом изъяснялась на этом языке. Ей даже показалось, что он говорит по-французски гораздо лучше, чем маркиз де Моншеню. Маркиз был, однако, другого мнения и с некоторой иронией слушал картавую речь своего русского коллеги.

Разговор шел, как почти всегда, о генерале Бонапарте и о тех неприятностях, которые он продолжал чинить всему миру, а в частности сэру Гудсону Лоу и иностранным комиссарам. Моншеню, старый эмигрант, в свое время считавшийся крайним реакционером даже в Кобленце, рассказал несколько случаев из времен молодости корсиканца. Оказалось, что Бонапарт когда-то собственноручно задушил женщину легкого поведения. Маркиз описал это происшествие с чрезвычайно точным указаиием места, обстоятельств, имен и всех подробностей убийства.

— Quel scélérat, Seigneur, quel scélérat! [1] — воскликнул в заключение Моншеню.

Граф де Бальмен, выслушав учтиво французского уполномоченного, со своей стороны рассказал несколько анекдотов о Наполеоне, но в другом роде. При этом оказалось, что граф, хотя и дипломат по профессии, проделал в чине подполковника несколько кампаний и имел много боевых наград. Де Бальмен рассказал это к слову, легкой иронической улыбкой показывая, что не придает ни малейшего значения своим военным подвигам — особенно в присутствии такого заслуженного воина, как сэр Гудсон Лоу. Наполеона граф де Бальмен видел за всю свою жизнь только один раз — на поле битвы при Ватерлоо. Он был прикомандирован императором Александром к верховиому аиглийскому командованию и во время знаменитого сражения неотлучно находился в свите герцога Веллингтона. При слове Ватерлоо лица всех англичан и англичанок просветлели, а Моншеню слегка нахмурился, несмотря на свою эмигрантскую ненависть к Наполеону. Де Бальмен тотчас это заметил и, обращаясь к маркизу, с величайшей похвалой отозвался о храбрости, проявленной в день Ватерлоо фраицузскими войсками.

— Bonaparte y a déployé tout son terrible génie, et Dieu sait s'il en a! [1]

И он мастерски описал, как Бонапарт с вершины холма Belle-Alliance руководил сражением, которое считал совершенно выигранным. Вдруг — было около полудня — в тылу его армии неожиданно показались немцы Блюхера вместо французского корпуса Груши.

— Il faudrait la plume d'un Chateaubriand pour décrire le désespoir qui s'est peint alors sur la figure mobile de César... [2]

Так закончил де Бальмен свой рассказ. Все это он видел в полевую трубу. Сидевший за столом заезжий гость, седой, молчаливый офицер, получивший две раны под Ватерлоо и ничего этого не видавший, подумал, что у русских штабных офицеров удивительные полевые трубы. Но мисс Сузанне рассказ русского очень понравился. А еще больше ей понравилось, что во время рассказа де Бальмен два раза посмотрел в ту сторону стола, где не было никого, кроме нее и старой мисс Мэри.

Сэр Гудсон Лоу, осклабившись, заметил, что сражение при Ватерлоо было бы все равно выиграно англичанами, даже если бы Блюхер не пришел на помощь.

— Hé, hé, qui sait, qui sait, mon général! — возразил маркиз.— Quand on a affaire à l'armée française... [3]

— Nous n'en safons rien en effet,— заметил со своей стороны барон Штюрмер.— Ces prafes allemands fous ont rendu un choli serfice [4].

Де Бальмен, которому было все равно, кто победил при Ватерлоо: англичане или немцы,— похвалил и Блюхера, и Веллингтона.

— Quel rude homme, votre Iron Duke [5],— сказал он сэру Гудсону и тотчас сообразил, увидев кислую улыбку хозяина, что сделал промах: губернатор недолюбливал Веллингтоиа, который однажды назвал его, хотя и вполголоса, но довольно явственно, старым дураком. Де Бальмен был совершенно согласен с такой оценкой умственных способностей сэра Гудсона и думал вдобавок, что сам герцог Веллингтон ненамного умнее губернатора святой Елены. Желая загладить свой промах, он с легкой улыбкой добавил, что великим людям присущи маленькие слабости: победитель при Ватерлоо так желает во всем походить на генерала Бонапарта, что просил знаменитого Давида написать его портрет и (тут он опять поглядел в сторону мисс Сузанны)... и близко сошелся с певицей Грассини. Но... (он, улыбаясь, помолчал несколько секунд) Давид отказался писать герцога, а госпожа Грассини теперь на пятнадцать лет старше, чем была во время своей близости к генералу Бонапарту.

Маркиз де Моншеню немедленно назвал Грассини безголосой дрянью (в его время при старом дворе были не такие певицы) и выразил удивление, почему Его Величество король Людовик XVIII, в обсуждение поступков которого он, впрочем, не смеет входить, не приказал повесить Давида: ведь этот мерзавец до Бонапарта писал портреты Дантона, Робеспьера и Марата и был дружен со всей революционной сволочью.

Моншеню принадлежал к очень знатной семье, находившейся в родстве с французским и испанским королевскими домами; поэтому он позволял себе, даже при дамах, самые грубые выражения, справедливо полагая, что у него они никак не будут отнесены на счет дурного воспитания.

Молчаливый седой офицер, к общему удивлению, вмешался в разговор и, холодно глядя на маркиза, сказал по-

[1] Какой злодей, Господи, какой злодей! (франц.).

[1] Бонапарт проявил в тот день весь свой ужасный гений. А ведь у него гения достаточно! (франц.).

[2] Нужно было бы Шатобрианово перо, чтобы описать отчаяние, изобразившееся тогда на подвижном лице Цезаря... (франц.).

[3] Кто знает, генерал, кто знает?.. Когда имеешь дело с французской армией... (франц.)

[4] В самом деле, это совершенно неизвестно... Немцы вам оказали славную услугу (франц.).

[5] Что за человек ваш Железный Герцог (франц.).

английски, что король Людовик XVIII, вероятно, потому не приказал повесить мистера Дэвида, что, во-первых, в культурных странах вешать можно только по приговору суда, а, во-вторых, все цивилизованные люди чтут в мистере Дэвиде великого живописца.

Барон Штюрмер с приятной улыбкой перевел замечание офицера не знавшему по-английски маркизу. Наступившее молчание прервал де Бальмен. Он рассказал столь же мастерски, что, когда Дантона везли на эшафот, Давид, с террасы Café de la Régence, зарисовал его фигуру на колеснице парижского палача. Дантон увидел бывшего друга и закричал ему своим чудовищным голосом: «Хам!»

— Впрочем,— прибавил граф.— Monsieur прав: надо быть снисходительным к гениальным артистам.

Леди Лоу, заметившая, что разговор может принять неприятный характер, вернула его к вечной теме, на которой все были всегда согласны. Она заговорила о Бонапарте. Сэр Гудсон рассказал, как он, в начале своего пребывания на острове святой Елены, тщетно старался установить хорошие отношения с корсиканцем.

— Когда графиня Лоудон, жена лорда Мойра, генерал-губернатора Индии,— сказал он, почтительно произнося английский титул,— была проездом здесь, я устроил в ее честь обед и пригласил генерала Бонапарта. Вот какое я послал ему приглашение.— Он наморщил лоб и медленно, значительным тоном, прочел по памяти своей пригласительный билет: «Сэр Гудсон и леди Лоу просят генерала Бонапарта пожаловать к ним на обед в понедельник в 5 часов, чтобы встретиться у них с Графиней».

— Скажите, что было обидного в этом моем приглашении? — прибавил он, обращаясь к де Бальмену.— Так знайте же: я не получил никакого ответа. Да, я не получил никакого ответа на это приглашение! — повторил он трагическим голосом, торжественно оглядывая всех присутствующих.

Де Бальмен подавил усмешку и подумал, что надо было быть совершенным дураком, чтобы послать Наполеону приглашение встретиться с Графиней. Он сочувственно покивал головой. В это время дамы встали из-за стола; мужчины остались,— им подали портвейн и сигары. Мисс Сузанна, выходя, с непонятным и радостным волнением почувствовала на своей спине взгляд красивых глаз де Бальмена.

Он ей положительно очень понравился. Не понравилось ей только одно. Когда за чаем она с вареньем подошла к гостю сзади со стороны канделябра, то оказалось, что у русского графа на затылке довольно большая плешь, величиной с блюдечко для варенья. Хотя эта плешь была мастерски замаскирована приглаженными поперечно прядями волос и хотя де Бальмен, увидев неожиданно подошедшую сзади молоденькую мисс, тотчас совершенно естественно повернулся так, что плешь исчезла, как если бы ее вовсе и не было,— ничто не скрылось от пятнадцатилетних глаз мисс Сузанны. Это ей очень не понравилось. Но только одно это.

Граф де Бальмен стал часто бывать у них в доме, много шутил с ней, дразнил ее, исправлял ее французские ошибки,— они часто говорили по-французски, по просьбе леди Лоу. Ко дню ее рождения, когда некоторые из домашних по привычке подарили ей куклы, он поднес Сузи красивый несессер, выписанный из Парижа, с ее инициалами на красном шелке шкатулки. Мисс Мэри, округлив глаза, отозвала в сторону свою воспитанницу и сказала ей, что такой несессер должен стоить по меньше мере десять гиней, чему мисс Сузанна едва могла поверить и не поверила бы, если б это не утверждала знающая все мисс Мэри. Сузи очень смущенно благодарила графа за такой неслыханный подарок. Де Бальмен ласково смеялся, повторял ее сбивчивые фразы, подражая английскому произношению французских слов,— и мисс Сузанне казалось, что глаза у него влажные и чуть маслянистые, как слива ренклод. Это ей тоже понравилось. А поздно вечером, когда она легла в постель, ее поразила мысль, что подарок из Парижа надо было заказать за полгода вперед. От волнения она не могла заснуть по меньшей мере четверть часа.

Самое важное и необычайное событие всей жизни Сузи случилось вечером. Граф де Бальмен долго разговаривал с ее родителями, запершись с ними в кабинете губернатора. За-

тем он уехал, причем сэр Гудсон Лоу проводил его до ворот, у которых стоял экипаж графа с негром и русским грумом. Там они еще довольно долго разговаривали. Между тем леди Лоу вышла к дочери и сказала ей смущенно и взволнованно, что де Бальмен просит ее руки. Леди Лоу было неловко: она сама вышла замуж на четыре года раньше своей дочери и предчувствовала, что над этим будут смеяться. Мать сказала Сузи, что граф де Бальмен — прекрасная партия. Правда, странно выходить за русского и придется, к сожалению, если не жить, то подолгу оставаться в России. Но, впрочем, граф шотландского происхождения, и часть их семьи еще недавно жила в Англии: леди Лоу лично знала последнего в шотландской линии этого знаменитого рода, Рамсэй Босвелль де Бальмена, имевшего права на имение и замок Балмораль. А главное — граф прекрасный человек и совершенный джентльмен.

— You are so young, Suzy, arn't you? [1] — сказала леди Лоу, вздохнув.

— I am, mother [2],— ответила мисс Сузанна, сама не понимая своих слов.

— God bless you [3] !

На этом они обе заплакали. Затем пришла мисс Мэри, которая тоже заплакала. Затем появился сэр Гудсон и сказал, что надо не плакать, а радоваться. А через день мисс Сузанна Джонсон стала невестой графа Александра де Бальмена, безумно счастливой и по уши влюбленной в жениха. Русский комиссар ждал разрешения своего правительства для того, чтобы покинуть остров святой Елены. Перед отъездом должна была состояться свадьба.

II

Александр Антонович де Бальмен, стоя перед зеркалом, в третий раз завязывал галстук. Выходило все не то. Надо было сделать точно такой узел, какой носил в последнее время Джордж-Брайан Бруммель. Граф часто встречал первого из европейских dandy (тогда это слово только что пришло на смену прежних кличек: petits-maîtres, roués, incroyables [4]) в ту пору, когда служил в русском посольстве в Лондоне. Пряжку на ботинках, знаменитую Бруммелевскую пряжку, он воспринял давно и хорошо. Но с галстуками дело не совсем ладилось. Де Бальмену казалось к тому же, что на острове святой Елены общество по неопытности не сумеет оценить гениальную простоту Бруммелевского стиля,— и он подумывал, не усвоить ли ему другой, более смелый тон туалета — вроде, например, костюмов лорда Байрона.

«Перейти разве от одного би к другому»,— спрашивал себя Александр Антонович, вспоминая ходившее в лондонском свете изречение, по которому существовало в мире три настоящих человека и все с фамилиями на букву Б: Бонапарт, Байрон и Бруммель.

Байрона граф де Бальмен также встречал в Лондоне: периоды пребывания Александра Антоновича в Англии совпали с расцветом славы и светского успеха молодого автора «Чайльд Гарольда». В первый раз де Бальмен увидел поэта на вечере у леди Гарроуби. Байрон неподвижно сидел в кресле, хмуро рассматривая гостей и почти не поднимаясь при появлении дам. Мужчины недоброжелательно поглядывали на его прозрачное лицо, напоминавшее мертвую красоту статуи, и на черный фрак, который он носил вместо принятого синего. Кто-то объяснял неучтивую неподвижность лорда его болезненным желанием скрыть свою хромоту. Несколько дам, забыв приличие, впилось глазами в красавца. Сам Бруммель, появившийся ненадолго в салоне, провожаемый завистливыми взглядами молодых денди, которые старались запомнить и усвоить каждую мелочь его простого костюма, окинул Байрона беглым взором и, хотя это был не его стиль, одобрительно кивнул головой: ему никакое соперничество не было страшно,— он был Бруммель. Рядом с Байроном сидел известный лидер тори и пространно излагал молодому пэру намерения консервативной политики в предвиденьи поражения Бонапарта. Байрон внимательно слушал, не глядя на собеседника, и затем, помолчав, выразил надежду, что эти виды не сбудутся: сам он от всей души желает победы Наполеону — на зло монархам, партии тори и редакторам газеты «Morning Post». Де Бальмен не мог без смеха вспомнить мигающие глаза консервативного лорда, растерявшегося при этом ответе. В продолжении всего вечера Байрон говорил очень мало — преимущественно о погоде,— и, по-видимому, меньше всего думал о том, что сказать. Автор «Чайльд Гарольда» оживился только тогда, когда послышались звуки клавесина: Каталани своим бархатным голосом пела романс Гретри «Je crains de lui parler la nuit» [1]. Сверкающие глаза Байрона расширились. «Рисуется»,— сказал себе в утешение де Бальмен, но вместе с тем он подумал, что ничего прекраснее этого лица и этих безумных глаз ему никогда видеть не приходилось. После концерта Байрон тотчас поднялся и незаметно уехал. В обществе его считали гордецом; де Бальмену показалось, что он просто застенчив.

Несколькими днями позже Александр Антонович встретил лорда в другой обстановке, поздно ночью, в модном ресторане Стефена, где они случайно оказались соседями по столикам. Байрон ужинал с двумя друзьями: в одном из них, небольшого роста брюнете с добрыми беспокойными глазами, де Бальмен тотчас узнал знаменитого актера Кина, который по средам и пятницам сводил с ума Лондон трехминутной агонией датского принца в последнем действии «Гамлета», а по понедельникам — словами «And buried, gentle Turrel?» [2] в роли Ричарда III. Другой спутник Байрона, чудовищного сложения мужчина, неестественно носивший костюм, как-то особенно бережно прикасавшийся к тарелкам и стаканам, точно боясь их раздробить, и всем своим обликом сильно напоминавший носорога, был король боксеров Джэксон. Стол трех знаменитостей привлекал внимание всего ресторана: дамы и иностранцы смотрели на Байрона, кокотки и англичане — на Джэксона, о котором с почтительным ужасом передавали друг другу, будто он одним ударом кулака сваливает с ног вола. К общему удивлению, Байрон ел исключительно омаров и бисквиты, запивая их крепкой водкой и горячей водой. Метрдотель, знавший привычки знаменитого лорда, раз пять или шесть подносил ему попеременно рюмку водки и стакан горячей воды. Де Бальмен смотрел на поэта и не узнавал молчаливого гостя леди Гарроуби. Лицо Байрона сверкало оживлением, он что-то рассказывал и звонко-добродушно хохотал, слушая художественную речь Кина, который с необыкновенным искусством подражал мистрис Сиддонс, Кэмблю, Гаррику, Фоксу, принцу-регенту и другим известным людям. Смеху Байрона вторило рычание носорога, обнажавшего чудовищной величины целые и сломанные зубы. Кин ел ножом, называл поэта «ваша светлость» и беспокойно оглядывался по сторонам, особенно на де Бальмена, уставившегося на них не совсем учтиво. Наконец, он не выдержал и что-то тихо сказал своим товарищам. Джэксон поднял голову и сверкнул на Александра Антоновича обломками огромных зубов и белками маленьких глаз; де Бальмен инстинктивно опустил руку в карман, где у него всегда лежал небольшой двуствольный пистолет, сделанный для него по особому заказу Лепажем. Но Байрон быстро сказал несколько слов носорогу, и тот немедленно успокоился.

«Да, очень интересный человек, этот сумасшедший лорд... Необыкновенная смелость в мыслях. «Чайльд Гарольд»,— ну, в стихах я плохой судья... Но черный фрак с этим фантастическим жилетом. Très personnel... [3]. Все-таки стиль Бруммеля вернее. Надо быть Байроном, чтобы позволять себе эксцентричность. И Геллеспонт он переплыл, если не врет. Кажется, не врет. Другие ломаются, а у Байрона это все естественно. Глаза у него совершенно необыкновенные... Почему от него сбежала его супруга? Неужели правда, что говорил тот птенец?..»

Не так давно приезжавший на святую Елену из Англии молодой офицер, краснея и шепотом (хотя дам при разговоре не было), рассказывал де Бальмену ходившие в Лондоне скандальные слухи о причинах развода Байрона с женой.

Де Бальмен снова потянул своими длинными пальцами концы галстука. На этот раз вышло недурно. Александр Антонович открыл небольшую шкатулку, задумался немного при виде десятка лежавших в ней булавок, соображая

---

[1] Ты так молода, Сузи, не правда ли? (англ.)
[2] Да, мама (англ.).
[3] Да благословит тебя Господь (англ).
[4] Щеголь, франт (англ. и франц.).

[1] «Я боюсь разговаривать с ним ночами» (франц.).
[2] «И зарыл их, милый Тиррел?» (В. Шекспир «Ричард III», акт IV, сцена 3; перевод Анны Радловой).
[3] Здесь: очень оригинально (франц.).

соответствие каждой галстуку и костюму, старательно вколол одну и стал надевать жилет. Де Бальмен со своим большим опытом жизни отлично знал, какое значение имеет платье. Бруммель, человек без роду и племени, стал первым человеком в самом чопорном обществе мира почти исключительно благодаря своему умению одеваться. И, тщательно это скрывая, де Бальмен ежедневно отдавал часа два туалету: меньше было невозможно. Граф всегда одевался сам; ни вывезенный им из России Тишка, теперь грум, а прежде просто малый, ни лакей-негр не присутствовали при его туалете.

«Сегодня, вероятно, получу и новые произведения Байрона»,— подумал де Бальмен, с удовольствием вспомииая, что с минуты на минуту должны принести привезенную вчера кораблем европейскую почту. «И письма непременно получу. Не может быть, чтобы Нессельроде еще не дал ответа... Неужели Люси опять ничего не напишет? Впрочем, черт с ней... Газеты и книги будут во всяком случае. Поменьше бы все-таки стихов. А много умных людей в Европе теперь пишет стихи: Гёте, Делавинь... чего доброго, я сам скоро начну... И деньги за это платят порядочные. Говорят, Байрону Меррей отзалил за «Чайльд Гарольда» 600 фунтов, а тот кому-то их подарил. Очень бы пригодились — при дороговизне на этом проклятом острове. Сколько еще будет расходов по свадьбе...»

Де Бальмен застегнул жилет и опрыскал себя духами.

«А все-таки есть в этом что-то несерьезное. Не то что несерьезное, а смешное.— «Чем вы занимаетесь?» — «Пишу стихи...» En voilà un métier... [1] Все человеческие занятия не слишком умны — мое в том числе,— но это, пожалуй, поглупее остальных. В службе нет ничего смешного, а в стихотворстве — есть... У нас сочинители еще, впрочем, не вошли в моду. Не будь покойник Державин министром, кто стал бы его читать? «Гряди, Алкид, на гидру дерзку, смири ее ты лютость зверску...» C'est complètement idiot... [2] Кто у нас еще пишет стихи? Ce pauvre bâtard de Joukovsky ... Un brave homme d'ailleurs [3]. Или Гаргантюа Крылов... Да еще несколько мальчишек. Чаадаев говорил, будто в Царскосельском лицее два мальчика пишут прекрасные стихи. Энгельгардт тоже их хвалил. Того, что поталантливее, зовут, кажется, Илличевский. А другого... Забыл... Diable !.. Забыл... Скверная становится память. Говорят, что к сорока годам память всегда слабеет... И морщинка, кажется, новая обозначается, вот здесь, около носа».

Де Бальмен подошел к другому зеркалу, которое висело в углу, сбоку от окна, и которое он особенно любил. В этом зеркале он всегда выходил моложе и лысина была не так заметна. Осмотр его несколько успокоил.

«Влюбилась же Сузи»...

Александр Антонович осторожно, чтобы не смять костюма, сел в кресло и задумался. В сотый раз он себя спрашивал, не безумно ли он поступает, женясь в сорок лет, да еще после такой жизни, да еще на шестнадцатилетней девочке, да еще на англичанке.

III

Граф де Бальмен был внук родовитого шотландского выходца, состоявшего сначала на французской, потом на турецкой службе и окончательно устроившегося на русской при императрице Анне Иоанновне. Отец Александра Антоновича занимал пост генерал-губернатора курского наместничества. Де Бальмен, в раннем детстве потерявший отца, девятнадцати лет от роду поступил в конногвардейский полк и в два года достиг чина штабс-ротмистра, когда с ним случилось странное и неожиданное происшествие. За уличный скандал с полицией, после бурно проведенной ночи, он был, внезапным распоряжением императора Павла, лишен дворянства, разжалован в рядовые и немедленно водворен в казармы. Там он оставался только три дня. За это время случилось — уже не с ним одним, а со всей Россией — происшествие еще более странное, хотя и не совсем неожиданное.

На третий день после своего несчастья де Бальмен, убитый тем, что с ним произошло, уничтоженный физической усталостью, беспрестанным унижением, бессонными ночами и грязью павловской казармы, был утром выведен со своей ротой на ученье. Но отряд их не дошел до Царицына Луга, а почему-то стал около Невского проспекта. Офицеры в недоумеиии перешептывались. Вдруг на противоположной стороне Невского появился человек в круглой шляпе. Он что-то взволнованно кричал. Александр Антоиович смотрел на него во все глаза: за круглую шляпу при Павле ссылали в Сибирь, ибо от нее и от жилетов произошла, по мнеиию императора, французская революция. Сердце де Бальмена забилось от радостного и страшного предчувствия. В это время показалась быстро мчащаяся коляска « vis-à-vis », запряженная шестеркой цугом, с кучером в национальиом костюме и с форейтором,— все это также было строжайше запрещено. В коляске неподвижно сидел геиерал с иахмуренным, умиым лицом, бледным и утомлеиным точно после веселой ночи. Де Бальмен тотчас узнал военного губернатора Петербурга, графа фон-дер-Палена. Солдаты стали смирно. Генерал остановил свой экипаж, подозвал ротного командира и, высунувшись из коляски, что-то ему сказал. Офицер изменился в лице и перекрестился. Де Бальмен не вытерпел мучительного волнения. Он потерял голову.

— Петр Алексеевич, ради Бога, что случилось? — вскрикнул он не своим голосом, выступив к Палену из шеренги.

Ротный командир и солдаты застыли. Пален с недоумением посмотрел на молодого человека, узнал его, усмехнулся и сказал несколько слов ротному командиру, показав на де Бальмена глазами.

— Ребята! — произнес он затем звучным, спокойным голосом.— Его Величество император Павел скоичался нынче ночью от апоплексического удара. Вас поведут присягать его сыну, императору Александру Первому. Учения сегодня не будет. Вам выдадут по чарке водки.

И, кивнув ротному командиру, Пален тронул рукой кучера. Форейтор заревел страшным голосом; коляска по мокрому снегу поиеслась дальше — по напраалению к Зимнему дворцу. Оцепеневший де Бальмеи мог еще разглядеть, как граф Пален, отъехав, несмотря на холодную дурную погоду, снял с себя шляпу и вытер платком лоб.

Солдаты молчали.

— Отчего бы умереть? Кажись, вчера не был хвор,— сказал наконец один.

— Что ж так зря присягать? Этак всякому присягнешь...

— Эх, нам что? Кто ни поп, тот и батька. Водка будет, и на том спасибо.

— Нам, известное дело, все одно, а вот их благородиям... Офицерье-то старый царь не больно жаловал.

Через два часа, провожаемый недобрыми взглядами солдат, де Бальмен ехал из казармы на извозчике в баию, оттуда на свою старую квартиру — пить шампанское (к вечеру в Петербурге не осталось ни одиой бутылки шампанского). А на следующий деиь он, как все, отправился в Михайловский замок проститься с прахом Павла I.

В эти два дня люди в офицерских мундирах входили во дворцы беспрепятственно и делали там что хотели. На царскую семью никто не обращал виимания. В течение нескольких дней офицеры были хозяевами России. Еще накануне перед заговорщиками стоял призрак дыбы и палача. Но 12 марта общее мнение было такое, что убийцам обеспечены не только безопасность, но и почет, и деньги, и аласть. Каждый уверял, будто участвовал в заговоре или по крайней мере знал о нем с первой минуты,— отрекаться стали лишь через несколько дней. О будущем делались разные предположения. Говорили, что Пален намерен ввести в России коиституциоиный образ правления и что Платон Зубов посылал в библиотеку кадетского корпуса за «Аиглийской Конституцией» Делольма. Говорили также, что полковник Измайловского полка Николай Бибиков предлагает перерезать всю царскую семью.

Через Рождественские ворота де Бальмен вошел в Михайловский замок и поднялся в бельэтаж по той самой виитовой лестнице, по которой шли убийцы. Задушенный император лежал на постели в спальне, одетый в гвардейский мундир. Лицо его, в черно-сииих полосах, было тщательно, но плохо загримировано и раскрашено художниками. На голову и левый глаз надвинули огромиую шляпу. Шею закрыли широким галстуком.

У тела толпились цареубийцы. Они были все еще пьяны,— после убийства начался разгром дворцовых погребов. Здесь рассказывали разные подробности и слухи, часто сильно преувеличенные. Говорили, что душой всего дела был Пален, который, впрочем, обеспечил себя на случай неудачи покушения: он тогда бы явился с отрядом солдат и арестовал Александра и заговорщиков. Убийцами Павла были Николай Зубов, князь Яшвиль, Татаринов и Скарятин,

[1] Вот так ремесло (франц.).
[2] Как глупо (франц.).
[3] Бедняга Жуковский, незаконный сын... Впрочем, славный человек (франц.).

а распорядителем — генерал Беннигсен. Говорили также, будто деньги на предприятие дал английский посол Уитворт, который действовал через свою любовницу Жеребцову, сестру Платона Зубова. По рассказам других, вездесущий Буонапарте за несколько дней до убийства узнал об английском заговоре против царя, и люди первого консула неслись будто бы из Парижа в Петербург — предупредить и уберечь Паала. Не сомневались в том, что теперь с Англией будет заключен мир. Говорили даже, будто какой-то видный француз, отдавая последний долг праху императора, словно нечаянно, а на самом деле нарочно, сдвинул с его шеи галстук,— и страшные следы Скарятинского шарфа открылись глазам дежурных гренадеров. С особенным удовольствием рассказывали о роли Александра в деле и еще преувеличивали эту роль, обеспечивающую всем безопасность. Описывали с разными подробностями ужин у Талызина, экспедицию двух отрядов и зловещее карканье вспуганных ворон на старых липах Летнего сада. Сообщали шепотом, что Платон Зубов сильно струсил, когда камер-гусар Кириллов у дверей царской спальни поднял крик, и что император непременно спасся бы, если б не хладнокровие Беннигсена, который распоряжался убийством, как сражением. Передавали подробности глумления над трупом: слова Палена на ужине заговорщиков «pour faire une omelette il faut casser les oeufs» [1] — были пьяными офицерами приведены в исполнение буквально.

Де Бальмену стало жутко. Он вышел из спальни и очутился в маленькой голландской кухне, которая в этом странном дворце была устроена рядом со спальней императора. Комната была пуста. Но в углу на табурете, опустив голову на плитку, сидела княгиня Анна Гагарина, любовница убитого императора, и глухо безутешно рыдала. Двадцатилетний де Бальмен вдруг почувствовал неизъяснимую жалость к этой женщине, которая одна во всем мире, если не считать далекого, таинственного Буонапарте, сожалела о смерти безумного царя. Он хотел сказать ей что-либо нежное, утешительное, но ничего не придумал и пошел дальше бродить по переполненным людьми покоям мрачного замка. В овальном зале, где обычно помещался караул от конной гвардии, было особенно шумно и весело. Окруженный почтительной толпою придворных, там стоял, с улыбочкой на крошечных пухлых губах, последний фаворит Екатерины, князь Платон Зубов, и отпускал разные шуточки, на которые неизменно отвечал громкий, почти всеобщий хохот. В нескольких шагах от этой группы пошатывался брат Платона, Николай, гусар огромного роста и необычайной силы, зять фельдмаршала Суворова. Он был совершенно пьян; на распухшем лице его виднелся большой синяк. Держа за пуговицу мундира сухого, флегматичного, длинноносого Беннигсена, который благодушно слушал его пьяную болтовню, пересыпанную народными восклицаниями, Николай Зубов доказывал, что у него силы побольше, чем у Алексея Орлова.

— Нет, ты сообрази, немецкая твоя образина,— говорил он...— Ты постой, сообрази: ведь Петра-то Алешке легко было задушить, да еще когда Федька Барятинский на руки навалился. А сынок покрепче был... Вишь какой синяк мне наставил... Нет, ты постой, ты сообрази сам, да ты слушай меня, жидовская морда!..

Кто-то в группе Платона Зубова процитировал двустишие, только что сочиненное Виельгорским на смерть Павла: «Que la bonté divine, arbitre de son sort, lui donne le repos que nous rendit sa mort» [2]. Улыбочка Платона Александровича выразила полное одобрение, и немедленно раздался хохот. Кто-то другой заговорил о новой императорской чете. Все сразу замолчали. Князь Зубов слегка прищурился, услышав имя Александра, и небрежно заметил, что императрица Лизанька — прехорош-шенькая девочка.

— Платоша! — восторженно воскликнул пьяный гусар, выпустив пуговицу Беннигсена.— Ах, ты, сукин сын!.. Лизанька!.. Какая она тебе Лизанька? Не со всякой же тебе царицей жить!.. Ты, брат, старух любишь... Эх, жалко Катю покойницу... Вот, брат, царица была, старая ведьма, а? Немка, а Россию как вознесла, а? Тестя-то моего открыла, а?.. Дай, я тебя обниму, хоть ты и сукин сын...

Почувствовав острое отвращение, де Бальмен вышел из овальной залы. В одной из смежных проходных комнат он увидел неизвестного ему маленького мальчика в трауре с запла-

[1] «Чтобы сделать яичницу, нужно разбить яйца» (франц.).

[2] «Спокойно мы вздохнем, пожалуй что, впервой:
Он отдых свой обрел,— а мы обрящем свой».
Перевод с французского Е. Витковского.

каным и испуганным лицом, и с ним почтенную нахмуренную даму, с таинственным видом державшую в руке карандаш и клочок белой бумаги. Мальчик был сын Павла [1], а дама — его гувернантка, госпожа Адлерберг. Кто-то сказал де Бальмену, что вдовствующая императрица Мария Федоровна, желая узнать имена убийц ее мужа, нарочно поставила здесь ребенка с гувернанткой и приказала госпоже Адлерберг записывать всех тех офицеров, которые побледнеют, проходя мимо маленького сына убитого. Эта мелодраматическая затея двух немок позабавила де Бальмена, особенно когда он увидел, как князь Платон Зубов, проходя по комнате, остановился возле ребенка, ласково потрепал его по щеке длинными пальцами своей маленькой красивой руки и сказал:

— Нет, как он на деда похож. Удив-в-вительно...

Александр Антонович уже собирался уходить, как вдруг кто-то сообщил, что в спальню Павла идет приехавшая из Зимнего дворца царская семья. Де Бальмен, вместе с другими офицерами, бросился туда. Впереди шла, истерически взвизгивая по временам и останавливаясь, в красных пятнах на здоровом, полном лице, императрица Мария Федоровна под руку со шталмейстером Мухановым; за ней, пугливо озираясь по сторонам, бледный как смерть, Александр. Нижняя челюсть его необыкновенно миловидного полудетского лица конвульсивно вздрагивала. Войдя в спальню — двери были раскрыты настежь,— Мария Федоровна выпустила руку Муханова, остановилась и, театрально прошептав: «Gott helfe mir ertragen!» [2], – двинулась дальше; но, не доходя постели, с хриплым криком откинулась назад. Лицо Александра из бледного сделалось серым. Внезапно императрица повернулась к сыну и громко, во всеуслышание, сказала ему по-русски:

— Посрафляю вам: ви — император.

Шталмейстер Муханов поспешно опустил глаза. Александр шагнул вперед, открыл рот, поднял руки, замахал ими в воздухе — и вдруг грохнулся на пол без чувств. Елизавета Алексеевна и придворные бросились поднимать царя.

IV

Эти мартовские дни, повисшие над всем царствованием императора Александра I, имели огромное значение для де Бальмена. Разумеется, ему немедленно были возвращены и чин, и дворянство, и титул. Но три дня, проведенные в солдатской казарме, навсегда отбили у него охоту к военной службе. Ему показалось противным мучить и унижать других людей так, как в течение трех дней мучили и унижали его самого. Кроме того, после мартовских сцен в Михайловском замке, де Бальмену захотелось уехать из Петербурга — подальше от окровавленных людей, которые из окровавленных дворцов полновластно распоряжались судьбами огромного государства. Не то, чтоб убеждения де Бальмена подсказывали ему такое желание,— у него не было никаких убеждений: их у него заменяла свойственная ему врожденная порядочность и рано приобретенное равнодушие. Он хотел сделать свою жизнь возможно более утонченной, удобной, разнообразной и изящной. Тянуло его также в Париж и Лондон познакомиться с двумя могущественными державами Запада, жертвою соперничества которых, как ему казалось, пал безумный русский император. Александр Антонович вышел из полка и поступил на дипломатическую службу. Положение его в ту пору было очень выгодное: с одной стороны он пострадал от павловского режима; с другой — в роковые дни был заперт в казарме и, следовательно, явно для всех не имел никакого отношения к цареубийству. Этих двух обстоятельств, в связи с умом де Бальмена, красивой наружностью и успехами у женщин, было достаточно для того, чтобы обеспечить ему самую блестящую карьеру в царствование Александра I. Карьера де Бальмена была, однако, только хорошей, а не блестящей — главным образом потому, что он сам не торопился ее делать. Он был не столько честолюбив, сколько любопытен: он хотел наблюдать вблизи, из первого ряда кресел, великое политическое представление, появляясь порою за кулисами и на сцене. Видеть — было потребностью де Бальмена, и он, действительно, видел очень много.

Внук искателя приключений, шотландец по крови, но русский по воспитанию и отчасти по натуре, полувоенный,

[1] Впоследствии император Николай I. Автор.

[2] Господь поможет мне вынести (нем.).

полустатский, блистательный дипломат и бывший конногвардеец, светский лев и любимец женщин, герой иесчетных легких романов, граф де Бальмен брал от жизни что мог — а мог он довольно много. Ничего не делая во время своих ответственных миссий в Неаполе, Вене, Лондоне, он, однако, в середине четвертого десятка порядком устал физически от занятой праздности бездомной дипломатической карьеры и морально от своего изящного, удобного скептицизма. Эта усталость, отразившаяся на лице графа и на всей чуть наклоненной вперед его фигуре, очень шла Александру Антоновичу. Он знал, что она нравится женщинам, и даже несколько подчеркивал свое крайнее утомление от жизни. В 1813 году он снова поступил на военную службу. Собственно, это надо было сделать несколько раньше, в пору Отечественной Войны, но де Бальмену как раз помешал очередной, довольно занимательный, роман с англичанкой. Ему, однако, захотелось повидать как следует настоящую войну, и, когда англичанка опротивела, он, пристроившись к штабу, проделал в чине подполковника несколько кампаний в армиях генерала Вальмодена, шведского принца, Чернышева; участвовал в битвах при Гросс-Берене, Деннсвице, Ватерлоо и получил несколько орденов. Затем война ему надоела, и он снова стал дипломатом. Но видеть в Европе больше было нечего. Венский конгресс был последним мировым представлением, очевидно для всех закончившим большой, длинный и необычайно шумный сезон. Одновременно с концом Наполеоновских войн произошло другое, гораздо более важное, событие в жизни графа де Бальмена: лысина на его голове внезапно обозначилась совершенно ясно, и в ту же пору он стал чувствовать настоятельную потребность сильно сократить годовое число своих романов. Это навело его на скорбные мысли. Однажды, вернувшись с бала, он долго, почти всю ночь, не мог заснуть; ему в постели в первый раз пришли в голову мысли о смерти и даже о загробной жизни, что наутро крайне его встревожило. Он стал серьезно подумывать, не вступить ли ему в масонский орден, так как масоны все этакое хорошо знают и на загробной жизни собаку съели.

Еще раньше, по другим побуждениям, граф де Бальмен интересовался масонами. Окружавшая их относительная тайна, глубокая древность ордена — его производили от Соломона,— странный, но поэтический ритуал, необыкновенные названия и титулы, о которых ходили легенды,— все это занимало воображение Александра Антоновича. Правда, опытные старые люди утверждали, что фармазонский орден не приведет к добру, и ссылались на примеры плохо кончивших фармазонов. Де Бальмен знал, однако, что в ложах всех стран Европы состояло очень много высокопоставленных людей, до королей включительно. Говорили, будто масоном был сам Наполеон. Таким образом, и в карьерном отношении вступление в орден было, пожалуй, выгодно, хотя с этой стороны оно меньше интересовало графа. Александр Антонович стал осторожно наводить справки у людей высшего света, которых молва называла фармазонами, и очень скоро выяснил, что в России существует несколько лож. В одной из них, так называемой Loge des Amis Réunis [1], состояло много людей его круга и даже повыше: степень Rose-Croix [2] в этой ложе имели герцог Александр Вюртембергский, граф Станислав Потоцкий, а в элюсской степени состояли Воронцов, Нарышкин, Лопухин и много других представителей самого высшего общества. Ничего недозволенного, или по крайней мере ничего строго запрещенного, в этой ложе очевидно быть не могло, хотя бы уже потому, что рыцарем Востока в ней был министр полиции Балашов. Существовала еще другая ложа — ложа Палестины,— но она была как-то менее интересна. Не совсем хорошо было то, что главную роль в ней играл француз Шаррьер, называвшийся великим избранным рыцарем Кадош, князем Ливанским и Иерусалимским. Француз этот служил гувернером у Балашовых, и де Бальмен не мог понять, почему князем Ливанским и Иерусалимским сделали гувернера. И уж совсем нехорошо было, что в этой ложе состоял известный петербургский ресторатор Тардиф, у которого де Бальмен нередко обедал, причем, заказывая обед, называл хозяина по имени, а тот стоя записывал в книжечку, любезно и почтительно кивая головой при назывании разных блюд и вин. Александр Антонович был более или менее свободен от аристократических предрассудков и ничего не имел бы против ресторатора. Но ему казалось — одно из двух: или не заказывать Тардифу обеда, или не величать его в ложе по масонскому ритуалу. Странно ему было также то, что к масонскому ордену одновременно принадлежали император Павел и некоторые из его убийц: ему опять-таки казалось — одно из двух.

В обществе многие относились к масонам иронически, однако к иронии почти у всех примешивались и уважение и легкий страх. Это чувствовал на себе сам де Бальмен. Обстоятельства помешали ему принять участие в работе масонов. Совершенно неожиданно, после битвы при Ватерлоо, ему было сделано предложение занять должность комиссара русского императора на острове св. Елены, куда был послан в ссылку Наполеон. Де Бальмен после недолгого раздумья принял это предложение, которое до известной степени оправдывало и поддерживало установившуюся за ним репутацию Казановы. На св. Елене он рассчитывал не только познакомиться, но и близко сойтись с Наполеоном: император должен же был в глухой, далекой ссылке оценить его блестящие способности рассказчика и causeur'a [1]. В коллекции графа де Бальмена, знавшего большинство знаменитых людей Европы, не хватало только одного — самого знаменитого из всех — нынешнего узника св. Елены. И Александр Антонович заранее предвкушал удовольствие как от интимных бесед с этим гениальным человеком, так и от тех рассказов, для которых близость к Наполеону могла ему впоследствии дать богатейшую тему. Он рассчитывал года через два или три вернуться в Европу в ореоле близкого друга развенчанного императора и хранителя всех интересных и забавных секретов европейской закулисной политики. Кроме того, комиссару на острове св. Елены было назначено прекрасное жалованье — тридцать тысяч франков — и должность эта по значению почти равнялась посольской.

Радужные надежды де Бальмена не оправдались. Никакой близости с Наполеоном из пребывания Александра Антоновича на острове не вышло. Бонапарт бойкотировал иностранных комиссаров. Для того, чтобы получить аудиенцию у бывшего императора, необходимо было обратиться к его гофмаршалу, генералу Бертрану, а это было строго запрещено инструкцией, полученной де Бальмеиом, так как подобное обращение было бы равносильно признанию за узником императорского достоинства. Александр Антонович долго не мог понять, почему человек такого огромного ума, как Наполеон, придает значение этикету, совершенно бессмысленному в его положении и с его прошлым,— особенно если эти формальности лишают его общения с самым умным после него на св. Елене человеком, каким де Бальмен не без основания считал себя. Впоследствии французы, близкие к императору, объяснили Александру Антоновичу, что глухая борьба, которую Бонапарт вел на острове за свой титул, имела династическое значение: Наполеон считал ее полезной в будущем для своего маленького сына. С другой стороны, губернатор острова, сэр Гудсон Лоу, очень не желавший встречи иностранных комиссаров с императором и всячески ей препятствовавший, с первых дней категорически потребовал от де Бальмена, на точном основании инструкции, чтобы он ни в каком случае не называл узника иначе, как генералом Бонапартом,— и уже это одно исключало возможность встречи, ибо Александр Антонович чувствовал, что у него язык не повернется сказать Наполеону «mon général!», как Ваське Давыдову. По этим причинам, как это ни было странно, глупо и досадно, де Бальмен несколько лет прожил в десятке верст от Наполеона, ни разу вблизи его не увидев. Он тщательно собирал всякие слухи и анекдоты, шедшие из Лонгвуда, излагал их на изысканном французском языке, уснащал разными «mots d'esprit» [2] и отправлял в виде донесений в Петербург. Но это было далеко не то, что рассказывать самому. Ему к тому же стало известно, из писем друзей и от капитана Головнина, посетившего св. Елену на фрегате «Камчатка», что император Александр, вместо его донесений, читает Библию с Крюденершей и с Татариновой. А для Нессельроде особенно стараться не стоило: этот если и оценит, то повышения все-таки не даст. Кроме того, на острове св. Елены не было интересного общества; дурной климат расстроил нервную систему де Бальмена: он плохо спал и стал чувствовать, что уж очень быстро переходит от одного настроения к другому. Вдобавок жизнь на острове оказалась дорогой, и граф в первый же год должен был хлопотать, посредством прозрачных намеков, о прибавке жалованья до пятидесяти тысяч. Ощущалось, наконец, еще большое неудобство. В предвиденьи его Александр Антонович захватил было с собой на св. Елену, вместе с ящика-

[1] Ложа Соединенных Друзей (франц.).
[2] Роза и Крест (франц.).

[1] Светского собеседника (франц.).
[2] Остротами (франц.).

ми шампанского и коньяку, хорошенькую, удобную и не слишком надоедливую Люси, с которой он провел приятную неделю перед отъездом; но ему было дано понять, что такая нежелательная спутница роняет его достоинство императорского комиссара, и Люси пришлось спешно отправить с острова. Все это чрезвычайно наскучило де Бальмену. Он уехал покататься в Рио-де-Жанейро, представлялся там бразильскому монарху, который оказался чрезвычайно глупым человеком, хотел было поохотиться на ягуаров, но как-то не вышло, да и ягуары так же мало могли заменить собой хорошеньких женщин, как бразильский монарх — императора Наполеона.

А после возвращения из Бразилии с Александром Антоновичем случилось совсем глупое происшествие: на знойном острове св. Елены знаменитый покоритель сердец внезапно влюбился в шестнадцатилетнюю девчонку, падчерицу губернатора, мисс Сузанну Джонсон. И как он ни говорил себе, что безумно жениться и навсегда связать себя — ему, с его характером и с его непостоянством,— как высоко он ни ценил привычную свободу холостой жизни, как ни ясно помнил, что самые интересные и красивые женщины делались ему противными много через два месяца, а чаще всего — особенно в последнее время — на следующее утро после проведенной с ними ночи, граф де Бальмен сделал предложение шестнадцатилетней англичанке, еще накануне твердо решив ни за что такого предложения не делать.

V

— Ваше сиятельство, почту принесли,— радостно сказал Тишка, быстро входя с сумкой в комнату и прерывая печальные размышления графа.

Почта была небольшая. Но сразу де Бальмену бросилось в глаза то, чего он долго ждал: он поспешно вскрыл огромный конверт с печатями. Лицо его просветлело. Нессельроде через графа Ливена извещал русского комиссара, что просьба его о переводе в Россию, наконец, удовлетворена и что Государю Императору благоугодно было всемилостивейше поздравить графа с вступлением в брак. Одновременно де Бальмену назначалось, кроме подъемных, экстренное денежное пособие. Ничего лучшего и ожидать было невозможно.

— Александр Антонович, скоро ли в Рассею поедем? — спросил Тишка.

Между графом и слугой давно установилась некоторая фамильярность; только друг с другом они могли разговаривать по-русски, и, в сущности, Тишка был ближе Александру Антоновичу, чем сэр Гудсон и леди Лоу, члены его будущей семьи.

— Скоро. Отпуск есть... Теперь скоро. Свадьбу сыграем и поедем.

— Ну, слава тебе, господи. А то не житье, право, не житье на проклятом острове. Просто слова сказать не с кем.

— Да ведь ты выучился по-аглицки.

— Ну, уж это какой разговор! Баб нет. На водку, бывает, пожалуете, так и водки достать негде! Виску пей да еще какие деньги за нее плати. За эти деньги у нас ведро можно купить.

— Вот тебе и на виску. Выпей за здоровье барышни. Да вели закладывать коляску.

— К их превосходительству изволите ехать? — сказал Тишка, подмигнув.— В Плантышин-Хаус?

— Да, да, в Plantation House. Живее.

— Мигом негры заложат. И я с вами, Александр Антонович, поеду, неохота здесь сидеть.

Тишка вышел. Граф стал разбирать почту. Был ящик с книгами, газеты и всего только два письма.

«От Люси опять ничего,— подумал Александр Антонович.— Экая подлая девчонка! Стоило тратить на нее десять тысяч»...

Но, вспомнив о том, какие славные вещи знала Люси и как они проводили время, де Бальмен усмехнулся и решил, что все-таки стоило.

Первое письмо было из Лондона от сослуживца Кривцова. Он только что побывал в России и сообщал свежие новости. Положение Аракчеева крепче крепкого, и государством по-прежнему правит Настасья Минкина. Министром внутренних дел назначен Кочубей, так что люди жалеют о Козодавлеве,— кто бы мог подумать! Луиза все ездит,— только вернулся из Финляндии, поскакал в Варшаву мирить, верно, Новосильцева с Чарторыйским; в дормезе — читает Библию. Что он Крюденерше денег передарил, счесть невозможно: тебе Люси много обошлась дешевле. (Под именем Луизы был известен у дипломатов император Александр.) Думают у нас, что пора бы Луизе абдикировать,— хорошего понемножку. Живет Луиза, говорят, опять с Нарышкиной, или, вернее, распускает такие слухи; лейб-медик же Вилье держится другого мнения и утверждает, будто Луиза, как всегда, воображает о себе гораздо больше, чем может. С кем обманывает теперь Луизу Нарышкина, в точности неизвестно,— он опять отсюда ускакал. В большой силе по-прежнему князь Александр Голицын, и все несет божественную ерунду — ничего не поймешь. Говорят, что ссылается в Суздальский монастырь Кондратий Селиванов, иначе скопческий бог Петр Федорович, родившийся, по его словам, от непорочного зачатия императрицы Елизаветы Петровны,— une drôle d'histoire... [1] Он, сказывают, недавно оскопил двух племянничков Милорадовича — умные, должно быть, мальчики! — а теперь рюминирует прожект — оскопить всю Россию. Не знаю, как ты, а я не согласен,— пусть этого дурака в самом деле сошлют куда-нибудь подальше. У Татариновой в Михайловском замке по-прежнему радения в белых одеждах, с кругом, пляской, батистовым платочком и транспирациями. Подполковник Дубовицкий, преображенец, носит вериги в тридцать фунтов и для спасения души ежедневно порет не только себя, это бы ничего, но и своих детей, которых жалко. Сперанский тоже, слышно, спятил в Сибири с ума: целыми часами смотрит себе в пуп и повторяет: «Господи, помилуй!» — по словам одних, с тем, чтобы увидеть какой-то Фаворский свет,— du diable si je sais ce que c'est! [2] — а по словам других для того, чтобы вновь подружиться с Луизой. У Гончаровых в Москве свой большой оркестр в 40 человек, причем каждый музыкант играет только одну ноту. Министр финансов Дмитрий Александрович Гурьев изобрел необыкновенную кашу, с фруктами и сладким соусом,— ее так теперь и называют Гурьевской кашей: финансы у нас плохие, но каша превкусная, и за нее можно простить курс нашего рубля; остряки даже утверждают, будто каша — единственное, что спасет имя Гурьева от забвения. Ходит по Петербургу — старый, впрочем — листок следующего содержания: «право — сожжено; доброта — сжита со света; искренность — спряталась; справедливость — в бегах; добродетель — просит милостыню; благотворительность — арестована; отзывчивость — в сумасшедшем доме; кредит — обанкротился; совесть — сошла с ума: вера — осталась в Иерусалиме; надежда — лежит на дне морском вместе с своим якорем; честность — вышла в отставку; кротость — заперта за ссору на съезжей; и терпение — скоро лопнет»...

Другое письмо было философское и политическое. Его посылал — тоже с оказией из Европы — Ржевский, старый товарищ де Бальмена по кадетскому корпусу, либерал, энтузиаст и масон. Трудно было найти менее схожих и лучше уживающихся людей, чем Ржевский и де Бальмен. Ржевский любил человечество вообще, а де Бальмена любил особенно,— искренно желал вывести его из светской тьмы и спасти его бессмертную душу. Де Бальмен прекрасно ладил с самыми разными людьми, легко входя и бессознательно подделываясь под тон каждого из них, а с Ржевским ладил особенно хорошо,— с ним, при его доброте, трудно было не поладить.

Ржевский писал по-русски — и стиль письма слегка резанул Александра Антоновича.

«Отчего они пишут не так, как говорят? К чему эта славянщина? Писал бы лучше по-французски»...

Но письмо Ржевского как раз свидетельствовало, что французский язык в Петербурге в этом кругу не в моде. Посылая графу книги и сообщая старые уже масонские новости, Ржевский между прочим извещал его, что известный Пестель перешел из ложи Соединенных Друзей в Ложу Трех Добродетелей, ибо в оной употребляется русский язык, а в первой — французский.

«En voilà une raison» [3],— подумал де Бальмен.

В Ложе Трех Добродетелей получил Павел Иванович титло третьей степени, однако работал мало, точно разочаровался в масонстве. Считая де Бальмена своим человеком, Ржевский не скрывал от него дел, связанных с масонством,— он вообще не любил секретов с хорошими людьми. «Друг,— писал он,— оценишь ли, сколь чувствительна для нас сия потеря? Черные души только не могут любить или, по крайней мере, уважать его».

---

[1] Исторической плутовки (франц.).
[2] Черт меня возьми, если я знаю, что это такое (франц.).
[3] «Вот так причина» (франц.).

Но де Бальмен этого не оценил, ибо недолюбливал надменного Пестеля и видел в нем человека, готового на вещи очень опасные. Не слишком много доверия внушали ему и другие два масона, о которых писал Ржевский: Чаадаев и Грибоедов, хотя их де Бальмен нисколько опасными не считал.

«А пожалуй, и правы старички аглицкого клуба. Доиграются эти господа до Сибири».

Ржевский писал о вероломстве сильных мира, о мракобесии людей, сделанных из грязи, пудры и галунов, о назначении Магницкого попечителем Казанского университета, о том, что из жалованья солдат вычитывают на розги, о том, что император говорит, не стесняясь, будто каждый русский — или плут, или дурак; сообщал также о генеральном роптании военных поселян, которые на крайности легко покуситься могут.

«Кто может, тот грабит, кто не смеет, тот крадет! Что остается для честных людей! — восклицал он.— У нас всякий день оскорбляется человечество, справедливость самая простая, просвещение. Проигрывают, дарят, тиранят подобных себе человеков! Откуда взят закон сей? Где благоденствие России? Где славное Вече наших предков?»

«Ну, моих предков в славном Вече не водилось,— подумал де Бальмен.— Мои по отцу шотландцы, а по бабушке, графине Девьер, вряд ли не жиды... И ничего не было хорошего в этих немытых новгородцах, которые для чего-то сталкивали друг друга с моста в реку...»

«В делах Европы явно господство венского двора над нашим. Сколь много обмануты народы! Они пожалели время прошлое и благословляют память завоевателя Наполеона, которого ты стережешь,— зачем, друг? Деспотия королей хуже самовластия Бонапарта, ибо где у них его гений? Нет, с царями делать договоров невозможно. Народы желают владычества законов, а в здравом смысле закон есть воля народная. И без рабства могут процветать царства. Мы, русские, кичимся, величая себя спасителями Европы. Иноземцы не так видят нас. Они видят, что силы наши есть резерв деспотизму Священного Союза. Не русских не любят, но их правительство, которое для пользы монархов утесняет народы. Что же? В Гишпании собираются инсургенты, в Италии — карбонары, в Греции — гетерия филикеров. Ужель мы хуже греков и гишпанцев?»

«Ишь, куда тянет!» — не без удовольствия, хотя и с некоторым беспокойством, подумал де Бальмен.

Далее Ржевский ссылался на статью «Духа журналов» о турецкой конституции, ограничивающей власть султана властью высшего магометанского духовенства, и сочувственно цитировал мнение этого органа печати: «Что значит сия мнимая конституция в сравнении с тою, при которой Великобритания благоденствует!» В заключение он туманно сообщал о некоем Союзе Благоденствия, который по значению не уступит славному немецкому Tugendbund'у [1] (Ржевский тут же нарисовал между строк печать союза: улей с пчелами), и о других тайных обществах. В общества эти вошли почти все общие друзья.

«Вертится вокруг них между прочим известный тебе полковник Юлий Штааль. Говорят о нем разно. Другой твой приятель (стыдись, брат!) Иванчук теперь, как верно тебе ведомо, миллионщик и большая персона. Говоря правду, оба хороши, и многое о них тебе расскажу при встрече: слышно, будто вскорости будешь к нам и жалуешься флигель-адъютантом. С оным тебя не поздравляю, однако в сием звании в обществе будешь преженланным человеком».

«Ну, я еще подумаю»,— сказал про себя с досадой Александр Антонович. Его раздражал тон Ржевского, который, очевидно, уже зачислил его мысленно в члены какого-то общества. «И пишет как,— еще надежная ли оказия!»

Письмо заканчивалось ходившими по России стишками молодого поэта об Александре I. Ржевский цитировал первые строфы этого стихотворения:

«Ура! В Россию скачет
Кочующий деспот,
Спаситель горько плачет,
А с ним и весь народ...
Узнай, народ российский,
Что зиает целый мир:
И прусский, и австрийский
Я сшил себе мундир...»

Автора стихов звали Пушкиным; де Бальмен с облегчением вспомнил, что имение это и был второй, после Илличевского, из молодых царскосельских поэтов. Стишки были бойкие, но Александр Антонович с сомнением качал головой. Двадцатилетнему мальчику простительно без толку фрондировать и делать оппозицию правительствам. Сам де Бальмен хотел отнестись к делу серьезнее.

Как большинство людей того времени, де Бальмен не любил и не уважал Александра I. Он охотно допускал, что в России создастся новый заговор, как в 1801 и 1762 годах, и что надоевшего всем царя задушат, как задушили его отца и деда. Такое предприятие даже не представлялось де Бальмену особенно трудным, ибо, судя по всему, популярность Александра Павловича теперь ненамного превышала популярность его отца. Сам граф не принял бы участия в подобном деле, не только из страха, но также из брезгливости: он с отвращением вспоминал сцены в Михайловском замке, которые ему пришлось увидеть в дни молодости. Однако воспользоваться успехом чужого заговора де Бальмен был бы не прочь. Но люди, которые, по-видимому, входили в этот Союз Благоденствия, и сам Союз, и даже его название графу большого доверия не внушали. Де Бальмен лично знал большинство этих людей и думал, что подобные мечтатели совершенно не годятся для задуманного ими дела. Палена между ними не было. Старик Пален безвыездно жил вот уже двадцать лет в своих курляндских имениях, как говорили, боялся темноты и ежегодно напивался пьян в ночь на 12 марта. Трудно думать, чтобы он мог стать главой нового заговора. А все эти Ржевские, Волконские, Чаадаевы, Муравьевы — прекрасные, честные люди... Они на месте в своих рабочих кабинетах с книгой или пером в руках либо за бутылкой шампанского друг с другом, в споре о благоденствии народов. Но у дверей спальни спящего императора, со Скарятинским шарфом или с табакеркой Николая Зубова, они — quelle plaisanterie! [1] Лишь в одном холодном и смелом Пестеле, с его негромкой речью, есть как будто что-то от графа Палена. Однако и Пестель явно ставит себе целью не дворцовый переворот, а совершенно другое.

«Союз Благоденствия? Они думают, что моему Тишке нужна турецкая или английская конституция! Водка ему нужна, это верно, баба тоже нужна — как мне, впрочем,— а дальше кто знает? Недаром Капнист утверждает, будто либеральные русские дворянчики на свою беду готовят либеральные чистенькие революции, ибо за всякой чистенькой революцией неизбежно последует народный бунт и новое смутное время. Может быть, Капнист и прав»...

Но менее всего Александр Антонович понимал отношение, существовавшее между заговором и масонством, к которому принадлежали Ржевский и его единомышленники. Де Бальмен достаточно насмотрелся в разных странах на политическую кухню и отлично знал, что всякая политика, реакционная и революционная, есть вещь земная, грубая, жестокая и грязная. Масонство же как будто относилось к другому разряду вещей,— к разряду бессмертия души и загробной жизни, а не заговоров, не переворотов и не революций. Между тем Ржевский и они все, очевидно, как-то связывали свою масонскую работу с Союзом Благоденствия. «Из этого, кроме Сибири, ничего не выйдет... А, впрочем, кто знает?»

Уверенности ни в чем быть не могло.

Тревожные мысли нахлынули на Александра Антоновича. Он чувствовал, что все это чрезвычайно важно и может иметь огромное значение для его будущей жизни. Но решить подобные вопросы здесь было очевидно невозможно. Он успокоил себя на том, что обдумает их на месте, в России, когда доподлинно все узнает и о Союзе Благоденствия, и о новом строе мысли масонов,— отчасти, конечно, в зависимости и от того, как по его возвращении на родину к нему отнесутся Нессельроде, Каподистрия и сам император Александр. Пока, нельзя не сказать, Луиза был с ним довольно мил: единовременное пособие приходилось как нельзя более кстати. Де Бальмен тут же решил, что проездом в Париже купит жене серьги, а себе коллекцию оружия, и в несколько более бодром настроении вышел на крыльцо, к которому уже подавали коляску.

VI

Прогулка молодых супругов была чрезвычайно удачна.

Граф и графиня де Бальмен выехали утром в экипаже губернатора. Близился день их отъезда в Россию. Покидая,

[1] «Союз Добродетели» (нем.).

[1] Какая ирония (франц.).

наконец, святую Елену, они пожелали в последний раз покататься по острову, на котором так странно свела их злая судьба императора Наполеона. Им захотелось посмотреть напоследок те углы, где никогда еще не бывали они ни вместе, ни порознь и где никогда больше им быть не придется. Это слово «никогда» звучало зловеще для де Бальмена, как для всякого немолодого человека.

Невиданных углов на святой Елене было довольно много. Вся жизнь иностранных комиссаров и семьи губернатора проходила в небольшой северо-западной части острова, между городком Джемстауном и резиденцией сэра Гудсона Лоу. Дальше на восток, в трех милях от Plantation House'a, находилась зона виллы Лонгвуд, где жил Наполеон. Туда, разумеется, нельзя было поехать. Но южная и юго-восточная часть святой Елены де Бальменам осталась неизвестной. Английские офицеры, хорошо знавшие остров, рекомендовали молодым супругам — с той слегка насмешливой и завистливой лаской, с какой все к ним относились — посмотреть Diana-Peak и Fischer's Valley, в восточной ее части, выходящей из пределов территории Наполеона,— и, если можно, полюбоваться видом океана с высоты King and Queen. Правда, дорога была трудная, гористая и даже опасная из-за обрывов. Но офицеры советовали оставить коляску и пройти часть пути пешком.

В этот весенний день все казалось прекрасным де Бальмену: и теплая, солнечная погода, и ветерок, вдувавший в грудь бодрящую соль океана, и песня правившего лошадьми Тишки, и беспорядочные, радостные мысли, и туманные надежды на будущее. Поглядывая на красивую девочку, которая сидела рядом с ним, ощущая нежно-холодное прикосновение ее крошечной руки, он искал и, к своему удивлению, не находил в себе знакомого чувства любовного похмелья Да, конечно, было уже не то, что прежде. Но и настоящее было недурно.

Его сомнения рассеялись. Жизнь не кончена. В тридцать девять лет он нежданно открыл новую, довольно занимательную главу в порядком надоевшей было книге. Впереди его ждали тоже все новые главы: русская деревня, гостеприимная помещичья жизнь, над которой он почему-то считал нужным смеяться, хлебосольное, бестолковое русское дворянство, которое он презирал по долгу европейца и которое любил кровной любовью, как всякий человек любит среду своего детства, сколь бы он от нее ни отрекался, сколь бы далеко от нее ни ушел.

«Теперь немного пожить в деревне животной жизнью (это очень приятно, la vie animale), а потом осесть в красивом, стильном и барском Петербурге (да, конечно, в Петербурге — он гораздо лучше Москвы), бросить бездомную жизнь дипломата, оставить свою репутацию Казановы (какой уж Казанова после женитьбы) и выходить поскорее в люди, в большие люди. А в первую очередь — забыть тяжелый бред бессонных ночей, с масонством, загробной жизнью и бессмертием души».

Де Бальмен осмотрелся кругом, улыбнулся Сузи, глубоко вдохнул поток морского воздуха и подумал, что сейчас его чрезвычайно мало интересуют бессмертие души и загробная жизнь.

«Очень может быть, что близкое будущее принадлежит все-таки заговорщикам из этого Союза. Осмотревшись, взвесив шансы, пожалуй, надо к ним примкнуть,— разумеется, не к их масонским бредням, а к подготовляемому ими серьезному политическому делу. Прежде всего следует через Ржевского близко сойтись с Пестелем, который, по-видимому, у них главный. Им нужны люди, особенно люди, как я, знающие вдоль и поперек Европу, ее политических деятелей, их явные и закулисные взаимоотношения. Кто в новой свободной России будет лучшим, чем я, министром иностранных дел?»

Александр Антонович представил себе, как он приедет к Нессельроде требовать, именем нового правительства, передачи ему всех дел. При этом неудовольствие и смущение Нессельроде, которого он недолюбливал, доставили де Бальмену истинное наслаждение.

— Darling, как по-русски summer?

— Как по-русски что? — машинально переспросил Александр Антонович.— Summer? Лето, darling.

— How do you spell it, darling? [1]

Граф ответил.

— Oh, this awful yat... [2]

Молодая графиня де Бальмен с необычайным рвением изучала теперь русский язык, геройски преодолевая свою, чисто английскую, лингвистическую бездарность. Она постоянно носила с собой розовую тетрадку, куда записывала русские слова, и повторяла их иногда в самые неожиданные для де Бальмена минуты. Сузи готовилась к жизни в России и уже была русской патриоткой: чуть не поссорилась с сэром Гудсоном, утверждая, что русские сделали для низвержения Наполеона почти столько же, сколько англичане; и любила императора Александра почти так же, как своего нового King George'a. В ее комнате висели портреты обоих монархов, к большому неудовольствию де Бальмена, который терпеть не мог самодовольную алкоголическую физиономию Георга IV. Портрет императора Александра висел даже на самом почетном месте, потому что теперь он был их монарх (в глубине души Сузи все-таки больше любила King George'a). Де Бальмен с усмешкой подумал, что, если он примкнет к заговору против царя, то будет довольно трудно объяснить Сузи, в чем дело; а когда она поймет, то это может очень ей не понравиться.

— Ваше сиятельство, туда дальше будет Лонгвуд,— сказал с козел Тишка, усмехаясь и показывая в сторону бичом.— Прикажите, свезу в гости к Наполеону?

— What does he say, darling? [1] — заинтересовалась Сузи.

Де Бальмен перевел.

— Oh, Teeshka!.. How do you spell Teeshka, darling? [2]

«А это несколько скучно, эти how do you spell»,— подумал Александр Антонович и хотел было объяснить, как пишется Тишка; однако Сузи уже заинтересовалась другим. Часовой окликнул их, но, узнав губернаторскую коляску, отдал честь и зашагал дальше. На острове святой Елены были повсюду сторожевые посты, часовые, наблюдательные пункты. Сузи потребовала от мужа, чтобы он объяснил ей всю систему охраны Бони. Де Бальмен, по долгу службы знавший это наизусть, охотно удовлетворил ее любопытство: время от времени надо было разговаривать с женой, и он цеплялся за благодарные легкие темы. Сузи с большим удовлетворением узнала, что, кроме ее отчима и мужа, Бони стерегут три полка пехоты, огромное множество батарей, отряды драгун, три фрегата, два корвета и шесть маленьких судов. Сложная система сигнализации давала возможность при первой тревоге поднять на ноги гарнизон и эскадру, находившиеся здесь исключительно для охраны знаменитого пленника.

— Все это для одного человека... Какой он страшный! — сказала Сузи, наморщив лоб. Она раз в жизни видела Наполеона, который, встретив ее в саду, послал ей конфет и розу.

Здесь де Бальмен счел уместным поцеловать жену в морщинку. Сузи сильно покраснела и показала глазами на Тишку. Оба супруга одновременно вспомнили, что офицеры рекомендовали им оставить коляску и часть дороги пройти пешком. Александр Антонович немедленно приказал Тишке остановиться и подождать их: лошади устали.

— Дальше можно бы проехать. До моря еще далеко, дороги не найдете,— сказал Тишка.

— Найдем. А не найдем, так у рыбаков спросим.

С моря и с речки, впадающей в него близ King and Queen, в самом деле часто проходили дорогой рыбаки.

Александр Антонович взял Сузи под руку и повел ее в рощу, стараясь идти возможно солиднее. Тишка посмотрел им вслед, усмехнулся и стал раскуривать трубку.

Через полчаса де Бальмен и Сузи сидели на траве, на берегу протекавшей через рощу извилистой узкой речки. Сузи, сконфуженная и счастливая, склонила голову на плечо мужа, который лениво держал ее за талию. Они решили не ходить на King and Queen: ничего ведь, в сущности, интересного не было в том, чтобы глазеть на море: им и так скоро придется два месяца беспрерывно любоваться с корабля. Сузи смотрела на мужа и думала, что лучшего человека на свете быть не могло: сам King George не мог быть лучше. Де Бальмен лениво старался вернуться к прежним приятным мыслям и вспоминал, что в них было самого приятного. Восстановив ход своих размышлений, он выяснил, что самым приятным был смущенный, растерянный вид крошечного Нессельроде при передаче должности; де Бальмен вдруг почувствовал, что ему чрезвычайно хочется быть министром иностранных дел Российской империи и принимать у себя на рауте дипломатический корпус.

---

[1] Как это пишется, милый? (англ.)
[2] О, это ужасное ять (англ.).

[1] Что он говорит, милый? (англ.)
[2] О, Тишка!.. Как пишется Тишка, милый? (англ.)

— Look here [1],— сказала Сузи, показав на воду.— Какие миленькие рыбки!

Вода в неглубокой речке была совершенно прозрачная, и в ней видно было быстрое движение мелкой рыбы.

— Пора идти, darling,— нежно сказал де Бальмен, скрывая зевок и поднимая жену за талию.

Сузи неохотно поднялась с травы, встряхнулась и нежно сняла с мужа лепестки, приставшие к его одежде. Они пошли под руку вдоль речки, которая в роще делала довольно крутой, закрытый деревьями поворот. Де Бальмен, лениво наклоняясь к Сузи, целовал ее то сзади в шею, то в щеку. У поворота он вдруг остановился.

— Здесь кто-то сидит...

За углом речки на берегу, облокотившись на широкий, низко и гладко срубленный пень, действительно сидел человек.

— Это рыбак,— сказала Сузи.— Ничего, darling.

Ей хотелось продолжать забавную игру.

Но человек за углом речки не был рыбаком. Он полулежал на траве, внимательно глядя в воду. Пень закрывал почти всю его фигуру, кроме левой руки, на кисть которой он опирался заслоненной головой. Человек этот был занят пустым делом. У его локтя на пне лежала ровно сложенная кучка темно-серых камешков. Не изменяя положения тела, он брал их по одному правой рукой и, внимательно прицелившись, бросал в воду. Рыбки, вспугиваемые падением булыжника, разбегались в разные стороны — и видно было по вздрагивающему локтю и плечам наблюдателя, что все тело его колебалось от смеха.

— Oh, what a silly man! [2] — сказала Сузи.

Александр Антонович, чуть вздрогнув, уставился в сторону пня на маленькую руку, кидавшую в воду камешки. Вдруг забавлявшийся человек, вынимая из кучки новый булыжник, опустил локоть — и крик замер на устах графа де Бальмена.

Он узнал Наполеона.

— Bonсy ? — взволнованно прошептала Сузи, с ужасом откинувшись назад и вцепившись в руку мужа, готовая пожертвовать собой для того, чтобы спасти его от гибели.

Александр Антонович постоял с минуту в оцепенении, затем на цыпочках бросился назад. Он почти бежал, не говоря ни одного слова.

«Какой вздор!.. Какой жалкий вздор были эти мечты: карьера, заговор, Пестель, Нессельроде!.. Этот человек, кидающий камешки в воду, был владыкой мира... Все пусто, все ложь, все обман... Сузи? Мне принадлежали самые прекрасные из женщин... Кончена жизнь!.. Старость... И связан, навсегда связан с этой глупенькой девочкой, которая зачем-то висит у меня на руке!..»

— Darling, what is the matter? Quelle est la matière ? [3] Он нам ничего не может сделать... Он нас не видел... Тут три полка пехоты,— растерянно говорила Сузи, едва поспевая за мужем.

Де Бальмен не отвечал.

Тишка выехал к ним навстречу.

Садясь в коляску, Сузи с жалостью, чуть не со слезами, смотрела на перекосившееся лицо своего мужа. Граф де Бальмен, не глядя на жену, нервно рвал перчатку и, дергаясь щекой, отрывисто произносил вслух непонятные, очевидно, русские слова. Из них графиня разобрала только одно, слово мать — mother, хорошо ей известное. Остальных русских слов в ее розовой тетрадке не было, и Сузи их никогда прежде не слыхала. Зато, по-видимому, слыхал и любил эти русские слова грум Тишка. Он обернулся к барину с козел и весело захохотал во все горло.

VII

Дни Наполеона приближались к концу.

Шел пятый год его пребывания на острове святой Елены. События этого периода жизни развенчанного императора были немногочисленны и с внешней стороны ничтожны.

Первое время Наполеон допускал мысль о своем возвращении на престол. Холодный расчет показывал ему совершенную несбыточность этой мечты. Но вся жизнь императора была сказкой, и в ней остров святой Елены, подобно острову Эльбы, мог быть лишь короткой, не последней главой. Так же внимательно, как прежде, Наполеон следил за политическими событиями в Европе. Без него все шло плохо и скучно — это очень его утешало. Однако и новые книги, и газеты, приходившие на остров, и рассказы приезжавших людей, которых расспрашивал его приближенные,— все свидетельствовало о том, что в мире тихо: люди устали от войн и революций, а с усталыми людьми Наполеону нечего было делать. И самое бегство, если б оно оказалось возможным, не вернуло бы ему власти в бесконечно утомленном, им утомленном, мире.

Кроме того, в ссылке устал он сам. Мир утомился от его дел, а он утомился от того, что больше не было дела. Огромный запас энергии, принесенный им в ссылку, запас, не растраченный в шестидесяти сражениях, в завоевании всемирной власти и в ее потере, быстро иссякал от скуки. Хотя по-прежиему он мог работать двадцать часов в сутки, прочитывая по нескольку книг подряд одну за другой или диктуя без отдыха день и ночь четверть века истории, хотя по-прежнему верно служила ему его феиоменальная память, хотя неизмеримо больше прежнего был, после пережитых им несчастий, его политический и человеческий опыт,— усталая безиадежность все сильнее овладевала душой императора Наполеона.

К этому потом присоединилась болезнь — медлеииая, упорная и мучительная. Когда в первый раз он почувствовал жгучий укол в правом боку, точно туда, скользя, вошла на два дюйма узенькая, тонкая, разогретая бритва, он сразу понял, что это смерть, что его сказочной жизни пришел конец — конец не сказочный, а обычный, такой, как у всех, совсем такой конец, как у его отца, который умер тридцати пяти лет от роду тоже от бритвы в правом боку. Он никому ничего не сказал.

В этот деиь кто-то из приближенных с радостным видом сообщил, что, по газетным сведениям, революции во Фраиции можно ожидать каждый деиь, ибо чаша народного терпения переполнена Бурбонами: надо поэтому выработать хороший, настоящий план бегства с острова святой Елены. «Ваше Величество, наверное, могли бы бежать, поместившись в корзину с бельем, которую затем слуги снесли бы на корабль».

Император, не говоря ни слова, холодиым и чужим взглядом смотрел мимо головы советчика. Отвечать не стоило: умный человек сам должен был бы почувствовать, что Наполеон не может бежать в корзине с бельем. А главное, теперь бежать было больше некуда.

Затем император, казалось, оправился. Но одиажды, проходя с гофмаршалом Бертраном по Долине Герани, он остановился иа краю оврага у трех ив, мимо которых протекал ручеек с прозрачной, холодной водой. Отсюда в просвете между скал видиелось на горизонте море. Опершись на свою прямую крепкую трость без рукоятки, Наполеон долго молча смотрел на деревья, иа ручеек, на море и особенно на небольшую площадку земли у подножья трех низко склонившихся ив. Затем, подняв голову, он коротко сказал гофмаршалу, показав тростью на это место:

— Бертран, когда я умру, мое тело должно быть погребено здесь.

Гофмаршал вздрогнул от неожиданности.

— Ваше Величество переживете меня,— сказал он, желая перейти в тон почтительной шутки.— Состояние здоровья Вашего Вели...

Но, взглянув на лицо Наполеона, он не докончил фразы, закрыл глаза и поклоном показал, что священная воля Его Величества будет исполнена в точности.

VIII

Свита, окружавшая плениого императора, чрезвычайно ему надоела. Наполеону всегда был свойствен жадный интерес к людям, странно сочетавшийся в нем с совершенным к ним презрением. Он знал на своем веку несчетное количество самых разнообразиых людей, и профессиональная необходимость в несколько минут разгадать и расценить каждое новое лицо выработала в императоре особую манеру выспрашиванья: он ударял человека молотком, чтобы узнать по отзвуку, из чего этот человек сделан. Ошибался Наполеон редко: так велико было его природное знание людей, развитое огромным житейским опытом, и так все

[1] Смотри (англ.).
[2] О, какой глупый человек! (англ.)
[3] Милый, в чем дело? (англ., франц.)

трепетали перед установившейся за ним репутацией безошибочного сердцеведа, что решались вводить его в обман — да и то редко — лишь самые большие мастера, вроде Талейрана или Фуше.

В ссылке на острове Святой Елены император изо дня в день видел одних и тех же людей. Ему бесконечно опротивели анекдоты Лас-Каза о старом дворе, богатая фантазия Монтолоиа, военные похождения Гурго и молчаливая скука, которой веяло от Бертрана. В безделье и тоске острова приближенные Наполеона постоянно между собой ссорились; они видели друг в друге конкурентов, так как все жили на счет загробной славы императора.

Наполеон не заблуждался отиосительио чувств, которые он внушал своим спутникам. Люди эти были, конечно, ему преданы, но почти у каждого были личные мотивы, побудившие его оставить Францию и отправиться на остров Святой Елены. Самый вид этих товарищей в несчастье ясно свидетельствовал о том, какую жертву они принесли Его Величеству. Одни выставляли свою преданность тоньше и умнее, как граф Лас-Каз, неудавшийся писатель, всю жизнь мечтавший о литературной славе и поехавший на остров Святой Елены главным образом для того, чтобы создать бессмертиую киигу из бесед с императором Наполеоном. Другие тонкостью не отличались. Особенно надоедал своей ревнивой верностью генерал Гурго, который чрезвычайно настойчиво уверял, будто спас жизнь Его Величеству в сражении при Бриенне, застрелив наскочившего казака в тот самый момент, когда казак уже втыкал пику в неприкрытую грудь императора. Рассказ об этом эпизоде Гурго велел даже выгравировать на клиике своей шпаги. Наполеон отлично зиал, что иикакой казак не наскакивал на него с пикой в день битвы под Бриеином. Он, однакэ, ие возражал и обыкновеино ласково кивал головой, слушая в сотый раз историю своего чудесного спасения. Только однажды, в дурной день, когда больная печень Наполеона еще усилила в нем обычное отвращение от людей, иа том месте рассказа, где дикий скиф падал к ногам могучего властелина, на которого ои осмелился занесть дерзновенную руку, император хмуро заметил, что совершенно себе не представляет, как все это могло случиться: он ни разу ие видел в тот день ии казака с пикой, ни Гурго с пистолетом.

— Les bras m'en tombent![1] — воскликнул Гурго и чуть не заплакал от горя. Он сам давио уже поверил в свою историю и был крайне расстроен неблагодарностью Его Величества.

Эти люди были выброшены судьбой за борт и пристали к потерпевшему крушение императору, смутно веря в чудо, в его звезду, в то, что он потонуть не может. Шли месяцы, годы, иовое чудо не приходило — и число спутников умеиьшалось. Уехал Лас-Каз. Уехал Гурго. Наполеон думал, в худшие свои минуты, что почти все оставшиеся люди с нетерпением ждут его смерти, которая дала бы им возможность вериуться в Европу в ореоле верности до гроба. Оии должны были возлагать большие надежды и на духовное завещание императора. В то время упорно ходили слухи об огромных богатствах, скрытых Наполеоном в Европе. Сведения эти были крайне преувеличеиы: в последние годы царствования император истратил на войну несколько сот миллионов своего собственного состояиия,— т. е. тех денег фраицузской казны, которые прежде, по им же отданному приказу, были отнесены на его личиый счет. Наполеон умышлеино поддерживал слухи о своих запрятаиных богатствах и порою давал приближеииым смутные таинственные обещания, от которых, как ему казалось, у них радостно замирало сердце и оии стаиовились еще вернее и ждали его конца еще с большей угодливостью и с большим нетерпеиием.

Император, впрочем, почти никогда ни в чем ие упрекал своих приближенных, ни вслух, ни даже про себя: он во всех людях давно уже видел только существующие факты — в огромном большинстве факты очень скверные. И серьезно упрекать человека за то, что он себялюбив, зол, жаден или глуп, было так же несвойственно узнику острова Святой Елеиы, как упрекать зверей в зверских инстинктах. Люди, последовавшие за ним в ссылку, при всей своей ничтожности, были нужны Наполеону; без них ему жилось бы еще хуже и тяжелее. По долголетней привычке правителя ои не мешал им ни сплетничать, ни интриговать; благосклонно и даже с интересом выслушивал то дурное, что каждый мог рассказать о других,— император почти всегда верил всему дурному о людях,— и каждому наедине ясно давал понять, что ценит его гораздо больше, нежели всех остальных. А потом мирил их — иначе они разбежались бы.

Чтобы развлечь себя и приближенных, он стал диктовать им историю своих походов. Но скоро понял, что другие се напишут лучше и выгоднее для него: сам он слишком ясно видел роль случая во всех предпринятых им делах, в несбывшихся надеждах и в нежданных удачах. Ои отлично понимал, что в каждом из его действий будет найден историками глубокий смысл, и роль случая в его судьбе окажется сведенной до минимума. Не по словам и объяснениям станет судить его потомство.

Вначале он рассчитывал, воссоздавая в мыслях прошлое, найти ответ на вопрос — где, в чем и когда была им допущена погубившая его роковая ошибка. Но понемногу ему стало ясно, что ответа на этот вопрос искать не стоило. В глубине души он пришел к выводу, что погубила его не какая-либо отдельная политическая неудача или военная ошибка, и даже не тысячи ошибок и неудач: его погубило то, что он, один человек, хотел править миром; а это было невозможно даже с его счастьем и с его гениальностью.

IX

Жил он очень уединенно, редко принимая путешественников и не знакомясь почти ни с кем из аристократов острова. На Святой Елене ходил даже анекдот, будто местная колония только из европейских газет и узнает новости о генерале Бонапарте.

Впрочем, в первые годы своего пребывания в ссылке император завел себе друга. Его другом оказалась четырнадцатилетняя Бетси Балькомб, дочь местного купца, в имении которого жил Наполеон, пока отстраивалась вилла Лонгвуд. Знакомство с ним этой веселой, шаловливой девочки началось сейчас же после его приезда. Нежданно днем к даче Балькомбов Briars подъехала группа всадников — и мгновенно распространилось известие, что один небольшой павильон дома реквизируется временно для генерала Бонапарта. Бетси опрометью бросилась в сад. В сопровождении английского адмирала, лорда Кокберна, и нескольких человек свиты к крыльцу на прекрасной верховой лошади медленно подъезжал человек в зеленом французском мундире с большой звездой иа груди. Бетси сразу почувствовала, что из всей группы всадников надо смотреть только на этого человека. Необыкновеннос лицо его поразило девочку бледностью, красотой и тем, что выражение глаз менялось почти беспрестанно. Он соскочил с коня и быстро пошел в комнаты. Бетси не могла поверить, что этот человек, который будет жить рядом с их домом,— злой Бони. Вскоре затем адмирал и свита уехали: все спешили предоставить великого человека его скорбным мыслям. В доме ходили на цыпочках. Но еще через несколько минут генерал в зеленом мундире, насвистывая песенку, быстро вышел из павильона в сад и уселся на скамейке около площадки белых роз. Бетси из-за куста смотрела во все глаза на страшного генерала. Он слегка похлопывал себя хлыстиком по ботфорту и напевал: «Fra Martino, suona le campana...»[1]. Вдруг ветка под ногой Бетси хрустнула. Человек в зеленом мундире оглянулся и, увидев прятавшуюся за кустом и с ужасом на него глядевшую красивую девочку, быстро встал и направился к ней.

— Как называется столица Франции? — спросил он в упор гробовым голосом.

— Париж,— прошептала Бетси, затрясшись от страха.

— А Италии?

— Рим...

— России?

— Теперь Петербург, прежде была Москва...

— А куда делась Москва? — еще грознее спросил император, пуча на девочку свои и без того страшные глаза.

— Ее сожгли,— не помня себя от ужаса, ответила Бетси.

— Кто сжег Москву? а?

— Бо... Я ие знаю... Русские...

— Я сжег Москву! — зарычал император и, взъерошив волосы рукой, растопырив пальцы обеих рук, двинулся прямо на Бетси. Девочка, вскрикнув, бросилась бежать. Ей вдогонку послышался веселый, звонкий смех Наполеона.

Через день они были друзьями. Смелость Бетси дошла до того, что она предложила своему новому другу поиграть

[1] У меня опускаются руки (франц.).

[1] Фра Мартин, звонит колокол... (итал.).

с ней в карты. Император согласился, но строго заметил, что не станет играть иначе, как на деньги.

— Сколько у тебя денег, Бетси? — деловито спросил он.

Денег у Бетси было немного, всего одна пагода.

Наполеон согласился играть на пагоду. Они сели за стол. И с первой же сдачи Бетси с возмущением заметила, что император мошенничает в игре.

— Shame![1] — воскликнула она.

— Ты лжешь! — хладнокровно ответил Наполеон.— Ты сама мошенничаешь. Я играю очень честно.

И он потребовал пагоду. Граф Лас-Каз сказал с улыбкой царедворца, что этот выигрыш, быть может, утешит Его Величество в потере трехсот миллионов золотом, которые он оставил в погребах парижского дворца. Однако Бетси наотрез отказалась платить, клянясь, что игра ее партнера не была честна. Тогда Наполеон сгреб с постели разложенное на ней лучшее платье девочки,— в нем она должна была ехать на свой первый бал к адмиралу Кокберну,— и безжалостно унес с собой, несмотря на все мольбы Бетси. Философ Лас-Каз подумал, что поистине безграничен должен быть запас душевной бодрости у этого необыкновенного человека.

Так, дразня четырнадцатилетнюю девочку, колотя ее и утешая дорогими подарками, бывший император проводил с ней целые часы. С первых же дней он знал все родство Бетси, знал, за кого вышла замуж каждая из ее теток, и чем торгует каждый ее дядя, и сколько приданого у каждой ее кузины, и много других столь же нужных ему вещей, которые он тщательным образом выспрашивал и затем никогда больше не забывал,— в его памяти все запечатлевалось навеки. (Много лет спустя Елизавета Эбель, бывшая Бетси Балькомб, с недоумением рассказывала Наполеону III о своих долгих беседах с узником острова Святой Елены.) Император сообщал ей о себе всякие небылицы; она в ужасе широко раскрывала глаза, а он хохотал, как малое дитя. Бетси больше всего мучил вопрос о его религии.

— Pourquoi avez — vous tourné turc?[2] — спросила она однажды своего друга.

Этой фразы, буквально переведенной с английского языка, Наполеон не понял. Когда же оказалось, что Бетси желает знать, зачем он принял в Египте турецкую веру, император подтвердил слух о своем обращении в мусульманство и добавил, что всегда принимает религию тех стран, где он находится.

— Какой позор! — воскликнула Бетси, покраснев от негодования. Но она начинала плохо верить тому, что Бони рассказывал о себе.

Из-за своей дружбы с Наполеоном Бетси Балькомб стала мировой знаменитостью. О ней писали газеты всех стран Европы, а жители острова, встречая иногда занятую оживленной беседой эту странную пару, смотрели на девочку как на чудо, чем она очень гордилась.

Однажды, на прогулке, Наполеон, Лас-Каз и Бетси встретили приятеля девочки, старого садовника, малайца Тоби. Бетси представила его императору.

Лас-Каз, улыбнувшись Его Величеству, на изысканном английском языке сказал малайцу:

— Вряд ли, милый Тоби, вы могли когда-либо думать, что будете разговаривать с великим человеком, слава которого облетела вселенную?

Но, к большому смущению Лас-Каза, его изысканная речь пропала даром: старый малаец никогда в жизни не слыхал имени Наполеона.

Бетси тоже была сконфужена.

— Тоби,— сказал укоризненно Лас-Каз,— как вы могли не слыхать о человеке, который завоевал весь мир... завоевал силой оружия и покорил своим гением, завезя порядок, возвеличив власть и дав торжество религии.

На этот раз Тоби понял, о ком идет речь, и радостно закивал старой головой. Без сомнения, добрые джентльмены имеют в виду великого, грозного раджу Сири-Три-Бувана, джангди царства Менанкабау, который покорил радшанов, лампонов, батаков, даяков, сунданезов, манкасаров, бугисов и альфуров, умиротворил малайские земли и ввел культ крокодила. Но этот знаменитый человек давно умер.

Лас-Каз грациозно засмеялся, так, как смеялись придворные 18-го века в версальской зале Oeil de Boeuf, и сказал, что у Его Величества был, оказывается, в свое время опасный конкурент. Однако Наполеон довольно хмуро выслушал его шутку, велел дать — потом — малайцу двадцать золотых и круто повернул назад.

В самом конце прогулки, подходя к дому, император внезапно перебил Лас-Каза, рассказывавшего анекдот из жизни старого двора, и коротко спросил:

— А много их, вы не знаете?

— Кого, Ваше Величество? — не понял Лас-Каз.

— Да этих, малайцев,— сердито поясиил Наполеон.

Лас-Каз сообщил, что, насколько он помнит, малайское племя исчисляется миллионами.

Император что-то проворчал и хмуро вошел в свой павильон.

В обществе взрослых людей — Бетси в 1818 году уехала со своей семьей в Европу — император бывал сух и молчалив. Он предпочитал одиночество и часто проводил целые дни, не выходя из комнаты и не разговаривая почти ни с кем. Иногда для развлечения катался по узкой, опасной дороге Devil's Punchbowl над крутыми обрывами пропастей и, приказывая шальному кучеру Аршамбо во всю прыть гнать тройку лошадей, доставлял себе иллюзию прежией игры жизнью и смертью; иногда зачем-то из окна своей комнаты стрелял в домашних коз и баранов, приводя в отчаяние людей, заведовавших хозяйством Лонгвуда. Но большую часть дней и долгих бессонных ночей он проводил в чтении, на заваленном книгами диване своей комнаты или в горячей ванне, в которой Наполеон просиживал долгие часы,— иногда завтракал в ней и обедал. В ванне бритва чувствовалась слабее и мысли были не так ужасны.

У одного из его приближенных — у того, кто при всех своих недостатках был особенно предан императору, кто оставался с ним до конца его дней и кого он сам называл своим сыном,— была красивая жена. На нее в последние годы жизни Наполеон обратил усталое внимание. У женщины этой родилась на Святой Елене дочь, чрезвычайно похожая лицом на императора. И от мысли, что жертвой его последней холодной прихоти сделался вряд ли не единственный в мире человек, как-никак сохранивший ему верность до гроба, от мысли этой чуть шевелилось то страшное и дьявольское, что всю жизнь клокотало в Наполеоне.

X

К перрону лонгвудского дома подъехала коляска, из которой вышел небольшой толстенький человек. Графы Бертран и Монтолон, сидевшие рядом иа деревянной скамейке сада, с любопытством уставились на гостя. Графам было скучно: они в этот день уже успели сказать друг другу все неприятное, что могли придумать, и коротали вдвоем долгие предобеденные часы, изредка обмениваясь соображениями относительно погоды.

Гость еще издали снял шляпу и, подойдя, почтительно спросил на плохом французском языке, нельзя ли увидеть гофмаршала.

— Это я, сударь,— ответил Бертран.

Толстяк еще раз поклонился, подал свою карточку и одновременно сам назвал себя. Он был итальянский маркиз, возвращавшийся на родину из Бразилии, и слезно молил представить его императору Наполеону. Несколько мгновений разговора с величайшим человеком в мире сделают его счастливейшим из людей: он знает, что не имеет никаких прав на столь высокую милость, но неужели Его Величество ему откажет?

Бертран нерешительно смотрел на поданную карточку. Ему очень хотелось удовлетворить желание посетителя: просьба была сделана в самых почтительных выражениях, по правилам, установленным в Лонгвуде,— через гофмаршала и с упоминанием императорского титула. Маркиз, носивший звучное имя, по-видимому, имел связи, иначе его сюда не пропустили бы. Сэру Гудсону Лоу подобное посещение будет, наверное, крайне неприятно. Все это говорило в пользу удовлетворения просьбы. Но, с другой стороны, как потревожить императора, настроенного очень плохо?

— Его Величество чувствует себя нехорошо,— начал было Бертран и остановился перед выражением последней степени отчаяния, тотчас появившимся на добродушном лице маркиза.

— Какое несчастье! — воскликнул толстяк, схватившись за голову.

[1] Стыдно! (англ.).
[2] Зачем вы превратились в турка (франц.).

— Это вполне естественно,— подтвердил Монтолон.— Как не быть больным императору в этом климате, в этой обстановке?

— Они задались целью уморить его,— с горькой улыбкой добавил Бертран.

— Barbarissimi [1]! — еще раз воскликнул маркиз.— Уморить освободителя Италии! Проклятый Франческо! Проклятые австрийцы!

Негодование толстяка понравилось гофмаршалу, но последнее восклицание его несколько озадачило. Он поясиил гостю, что хотя грехи императора Франца перед его царственным зятем и очень велики, однако главным виновником несчастий Его Величества следует считать вероломное правительство Англии.

— Вы совершенно правы! — порывисто сказал маркиз, горячо пожимая руку гофмаршала.— О, проклятые австрийцы!..

И он в сбивчивой речи пояснил, что уже недалек тот час, когда весь итальянский народ восстанет против своих угнетателей и сбросит иго кровожадного Фраически.

Бертраи был еще более озадачен.

— Я попытаюсь доложить Его Величеству,— сказал он, значительно взглянув на маркиза, точно приглашая его оцеиить по достоиистну ту огромиую милость, которая, возможно, ему будет сейчас оказана. Нерешительное обещание немедленно вызвало выражение благодарности и счастья на лице итальянца. Это выражение совсем смягчило Бертрана, и он решил, что иужно сделать что-либо для гостя.

— Я не знаю, примет ли вас Его Величество,— сказал он.— Но вам, вероятно, будет интересно увидеть виллу Лонгвуд. Я покажу вам спальню императора.

Ои повел тихо вскрикнувшего от умиления итальянца боковым ходом. Спальня Наполеоиа, иакуренная пастилками Houbigant, была комната в два окна, представлявшая собою, как вся вилла Лоигвуд, смесь богатства и дешевки. То, что наудачу схватили слуги перед отъездом императора из Фраиции, отличалось роскошью. Все остальное — и сам дом — было просто бедным. Рядом со стулом, грубо сколоченным местиыми столярами, стоял умывальник из массивного серебра. На дешевом столе был разложен бесценный несессер. Маркиз, чуть слышно вскрикивая, переходил от предмета к предмету. У него в кармане лежала заранее приготовленная записиая книжка, но ему неловко было пользоваться ею здесь; он не знал, что можио и чего нельзя, изо всех сил старался запомнить все, чтобы тотчас записать, когда его коляска отъедет от Лонгвуда. Единственной целью толстяка было запастись в этом знаменитом месте, куда его занесла судьба, темами для рассказов на весь остаток жизни. Бертран шепотом иазывал главные достопримечательиости комнаты.

— Римский король, работы Тибо,— показал ои на портрет ребеика верхом на баране, и глаза гофмаршала затуманились слезами при мысли о маленьком сыне Наполеона.

— Il re di Roma! — простонал маркиз.

— Ее Величество Императрица Мария-Луиза, работы Изабэ,— продолжал Бертран, на этот раз с неодобрением, но запрещая строгим взглядом посетителю даже в мыслях касаться интимной драмы, связанной с портретом.— Часы Его Величества. Цепочка сплетена из волос императрицы... Будильник, принадлежавший королю Фридриху Великому. Император взял его на память во время оккупации потсдамского дворца французскими войсками...

— La sveglia del grande Federico! — пискиул итальяиец и потянулся рукой к записиой киижке, но спохватился.

—Шпаги Фридриха Великого император не взял, но у иего были поднесенные ему испанцами, персами и турками мечи Франциска I, Чингис-хана, Тамерлаиа. У него был также,— добавил Бертран, горько улыбаясь,— самый знаменитый из всех — его собственный меч... А вот это походная постель Его Величества,— показал он иа узкую кровать с занавесью бледно-зеленого шелка.— На ней император провел ночь накаиуие Маренго и Аустерлица. Запасиая постель находится там в кабинете,— еще тише проговорил гофмаршал, свидетельствуя своим взглядом, что в кабинете сейчас находится Наполеон.

— Зачем запасная постель? — робко осведомился маркиз.

Бертран строго посмотрел на гостя.

— Император спит на двух кроватях. Он ночью переходит с одной на другую.

И, найдя, что посетитель видел достаточно, гофмаршал повел его назад. Через открытую дверь маркиз заметил в небольшой смежной каморке деревянный ящик, изнутри выложенный цинком.

— Ванна императора,— пояснил со вздохом Бертран в ответ на молчаливый вопрос итальянца.— В Тюльерийском дворце,— добавил он,— у Его Величества была не такая ванна...

Они вошли в приемную.

— Благоволите подождать здесь. Я сейчас доложу Его Величеству.

Граф Бертран вышел, оставив гостя в крайнем волнении.

— Пускай идет к черту! — угрюмо ответил Наполеон, когда гофмаршал доложил ему о просьбе итальянского маркиза.

Император сидел в кресле, прикрывшись пледом, несмотря на теплую погоду. На коленях у него лежала книга, но он ее не читал. Глаза его были неподвижно устремлены вдаль.

Бертран вздохнул, наклонил голову и направился к выходу. Он, вероятно, именно в этих выражениях и передал бы итальянскому гостю ответ Его Величества.

— Кто он такой? — мрачно спросил Наполеон, когда гофмаршал уже открывал дверь.

Граф Бертран доложил свои впечатления от маркиза в самых выгодных тонах: «Чрезвычайно благонамеренный и почтительный человек, со связями. Может быть очень полезен для осведомления европейского общественного мнения... Наверное, передаст с точностью журналистам в Европе все, что Вашему Величеству благоугодно будет ему сказать».

Наполеон долго молча смотрел на Бертрана. Было очевидно, что, как ни противен всякий новый человек, следует принять маркиза и послать через него еще несколько колких слов европейским монархам и их министрам. В мозгу Наполеона сам собою открылся тот ящик, где у него лежали разные обидные и язвительные замечания, которые он мог при случае преподнести властителям Европы.

— Я приму этого человека. Введите его сюда через две минуты.

— Oui, Sire [1],— сказал радостно Бертран и вышел с тем поклоном, которому выучил его в свое время актер Тальма, преподававший манеры и пластику придворным.

«Итальянский маркиз. Флорентиец. Едет из Бразилии».

Память императора автоматически подала разнообразные сведеиия и замечания об итальянской аристократии, о Флореиции, о Бразилии, все, чем можно было — и зачем-то нужно — поразить, после миллиона других, еще миллион первого представителя бесконечно опротивевшей и надоевшей человеческой породы.

Медленно, привычным усилием воли Наполеон стер со своего лица выражение скуки, усталости и физической боли. Он оправил прядь шелковистых волос на огромном лбу, откинул плед и скрестил руки. Лицо его застыло, сделалось каменным, но серые глаза заблестели. Это была та самая страшная маска, которую знал всякий ребенок в мире.

Дверь распахнулась. Швейцар, докладывавший по лонгвудскому этикету о посетителях, прокричал фамилию гостя. Итальянский маркиз вошел неловко и торопливо, замер на мгновение, столкнувшись глазами с человеком, сидевшим в кресле, и согнулся в почтительном поклоне. Он рассчитывал увидеть больного узника; перед ним сидел император Наполеон.

XI

В Лонгвуде было почти весело.

Император оживился. Его привел в возбужденное состояние разговор с итальянским путешественником. Как ни очевидно глуп был гость, не могло быть сомнений в том, что он запишет каждое сказанное ему слово и немедленно все распространит по приезде в Европу. А сказано было, по адресу врагов ссыльного императора, много неприятных вещей. После небольшой вступительной беседы Наполеон перешел на политические темы и вскользь заговорил об Александре I. Рассказал — к слову,— как в 1807 году царь просил его

[1] Жесточайшие (итал.).

[1] Да, государь (франц.).

пожаловать высокую награду генералу Беннигсену, а он отказался наградить русского главнокомандующего, ибо ему было противно, что сын просит награды для убийцы своего отца. Описал, как Александр изменился в лице, поняв из прозрачного намека причину отказа. Сказал, что необычайно забавен в роли блюстителя мировой нравственности человек, подославший к своему отцу убийц, подкупленных на английские деньги. Сказал, что хорош монарх, который предоставил изверга Аракчеева сорокамиллионный народ, предал Сперанского, единственного государственного человека страны, за недостаточно высокое мнение о его, Александра, умственных способностях, а сам со старыми немками читает псалмы. Сказал, что Россия рано или поздно потеряет Польшу, что она вряд ли удержит Финляндию и никогда не получит Константинополя. Сказал, что все другие завоевания царей не стоят медного гроша и что даже сама Россия рано или поздно пойдет к черту по вине какого-нибудь сумасшедшего деспота. Сказал, что многомиллионная масса невежественных русских народов может представить собой грозную опасность для всего мира и что Европа будет либо республиканской, либо казацкой. Покончив с Россией и с императором Александром — он знал, что напоминание о Павле, Беннигсене и Сперанском особенно расстроит царя,— Наполеон коснулся Англии и выразил удивление, почему эта страна, торгующая всем на свете, еще не научилась торговать свободой и не вывозит ее на континент, столько в свободе нуждающийся. Сделал краткую характеристику обоих Георгов и лорда Кэстльри,— характеристику, за которую должна была ухватиться вся британская оппозиционная пресса. Потом перешел к Талейрану и заметил, что для этого короля предателей состояние измены является совершенно нормальным состоянием: «Il est toujours en etat de trahison» [1]. Подробно разъяснил роль Талейрана в убийстве герцога Энгиенского, еще умышленно ее преувеличив, чтобы усилить и без того жгучую ненависть роялистов к знаменитому дипломату. Затем, остановившись на карьере Фуше, бывшего террориста и цареубийцы, потом верного слуги Бурбонов, назвал его самым совершенным и законченным типом негодяя, когда-либо существовавшим на земле, и добавил — в пику Людовику XVIII,— что только он, Наполеон, мог не бояться услуг такого злодея, ибо знал, как себя с ним вести, и однажды, при удобном случае, прямо ему объявил: «Monsieur Fouché, il pourrait être funeste pour vous que vous me prissiez pour un sot» [2]. Посмеялся над Венским Конгрессом и над Священным Союзом, участники которого, три маленьких человека, хотят самовластно править всеми народами мира по указке попов и проходимцев, тогда как править миром не мог долго сам он, Наполеон. Сказал, что непризнание за ним императорского титула просто глупо, ибо титул есть пустой звук, трон — кусок дерева, обитый шелком, а у него, к счастью, имеется для представления потомству кое-что получше титула и трона. Сказал, что монархи, желая оскорбить его, плюнули в лицо друг другу: ибо если он, Наполеон, чудовище, то что же сказать о них, которые наперебой ловили его улыбки и на выбор предлагали ему в жены своих знатнейших принцесс. Напомнил, что в его приемной толпились, ожидая очереди, десятки европейских монархов и что в день его свадьбы с дочерью Цезарей четыре королевы несли шлейф его невесты. Сказал, что конфискация его богатств — обыкновенное уголовное мошенничество, которым, впрочем, он нимало не огорчен,— ему ничего не нужно; если же ему придется голодать, то он обратится не к монархам, а пойдет в стоянку 53-го полка, несущего службу около Лонгвуда, и, конечно, простые люди английского народа поделятся куском хлеба с самым старым солдатом Европы.

При этих словах итальянец прослезился. Цель была достигнута. Втолковав все сказанное гостю, император дал ему понять, что считает его совершенно исключительным по уму и характеру человеком, и милостиво отпустил маркиза. Итальянец еще с полчаса в коляске повторял: «Какой человек! Что за человек!»

Наполеон был очень доволен разговором. Он не питал особенно враждебных чувств ни к Александру, ни к Кэстльри, ни к Талейрану, ни к Фуше. Мысль о соперничестве с ними, хотя они одержали над ним верх, не приходила ему в голову: император никого из людей не считал равным себе по умственным и духовным силам. Симпатий и антипатий у него уже давно на свете не было — по крайней мере в спокойные минуты: с каждым из своих бесчисленных врагов он мог установить в любую минуту самые лучшие отношения, если этого требовал его интерес. Теперь интерес больше ничего не требовал: за плечами стоял враг пострашнее Англии и России. Только по долголетней привычке наносить удары врагам, да еще иногда в порыве раздражения от больной печени. Наполеон срывал свою злобу против человечества и судьбы на ком попадалось. И, уж конечно, приличнее было сорвать ее на Александре или на Талейране, чем на сэре Гудсоне Лоу. Ссыльный император чувствовал, что борьба с губернатором острова Святой Елены придает мелочный характер последним годам его жизни. От подобного неприличия легче всего было уберечься ореолом мученичества, и Наполеон всячески поддерживал этот свой ореол, хотя прекрасно понимал, что англичане в общем ведут себя довольно корректно, а если б они были и некорректны, то вряд ли он мог бы на это пенять, ибо у него на совести значились не такие дела.

Все оживилось в Лонгвуде: император объявил, что выйдет обедать в столовую. Метрдотель в зеленой, расшитой золотом ливрее ставил тяжелые серебряные блюда на шатающийся дощатый стол и, выгнав из-под буфета крысу, вынимал service des guartiers généraux [1] — драгоценный севрский сервиз, рисунки которого изображали победы Наполеона. Мамелюк Али стал за креслом Его Величества. Этого Али звали в действительности Луи-Этьен Сен-Дени, и родился он в Вереале, но был в свое время фантазией Наполеона сделан почему-то мамелюком. Шесть ливрейных лакеев, французов и англичан, разносили кушанья и напитки. Обед из семи блюд продолжался менее получаса. Император был положительно весел: он перестал чувствовать боль в боку, и ему показалось, как это иногда еще с ним бывало, что бритва исчезла и что до смерти, быть может, далеко. Наполеон прикоснулся к двум-трем блюдам — обыкновенно почти ничего не ел — и велел подать шампанского.

После обеда перешли в гостиную, куда был подан кофе. Монтолон расставил шахматы на большом коричневом столике с крошечным полем посредине. Наполеон передвинул пешку — он очень плохо играл и никогда не думал о ходах,— но не продолжал партии: ему хотелось говорить. Он чувствовал себя в ударе. Бертран попросил Его Величество прочесть вслух трагедию Корнеля: гофмаршал любил это послеобеденное времяпровождение, при котором он мог незаметно подремать с полчаса, порою просыпаясь и выражая восхищение перед гением поэта и чтеца. Наполеон заговорил было о сравнительных достоинствах трагедий Корнеля, Расина и Вольтера, но посмотрел на своих собеседников и замолчал. Ему стало досадно, что ссылку делят с ним необразованные генералы, ничего не смыслящие ни во французской трагедии, ни в Данте, ни в Оссиане, и вообще ни в чем ничего не смыслящие, кроме военного дела, в котором они, впрочем, тоже недалеко ушли.

Разговор вернулся к политике. Граф Монтолон спросил, думает ли Его Величество, что французскую революцию можно было предупредить.

— Трудно было, очень трудно,— ответил после некоторого молчания Наполеон.— Следовало убить вожаков и дать народу часть того, что они ему обещали... Надо было также позолотить цепи: народ никогда не бывает свободен — и слава Богу! Но позолоченных цепей он не замечает... Революция — грязный навоз, на котором вырастает пышное растение. Я овладел революцией, потому что я ее понял. Я взял от нее все, что было в ней ценного, и задушил остальное. Заметьте, я сделал это, не прибегая к террору. Править при помощи несчетных казней, как Робеспьер, может не очень долго каждый дурак. Но вряд ли кто, кроме меня, мог успокоить Францию без гильотины. Вспомните то время... Тысячелетняя монархия пала в прах... Все было сокрушено, уничтожено, испачкано. Я поднял свою корону из лужи.

Он задумался.

— Да, революция — страшная вещь,— заговорил он снова.— Но она большая сила, так как велика ненависть бедняка к богачу... Революция всегда ведь делается ради бедных, а бедные-то от нее страдают больше всех других. Я и после Ватерлоо мог бы спасти свой престол, если бы натравил бедняков на богачей. Но я не пожелал стать королем

[1] «Он всегда находится в состоянии измены» (франц.).

[2] «Господин Фуше, не считайте меня глупцом, это могло бы очень плохо для вас кончиться» (франц.).

[1] Парадный сервиз (франц.).

жакерии. Я наблюдал революцию вблизи и потому ее ненавижу, хотя она меня родила. Порядок — величайшее благо общества. Кто не жил у нас в 1794 году, кто не видел резни, террора и голода, тот не может понять, что я сделал для Франции. Все мои победы не стоят усмирения революции... Так далеко вперед, как я в ту пору, никто никогда не заглядывал. А понимаете ли вы, что такое значит в политике заглядывать вперед? О прошлом говорят дураки, умные люди разговаривают о настоящем, о будущем толкуют сумасшедшие... Смелый человек обыкновенно пренебрегает будущим. Впоследствии я редко заглядывал вперед больше, чем на три или на четыре месяца. Я узнал на опыте, насколько величайшие в мире события зависят от Его Величества — случая...

Граф Монтолон почтительно заметил, что идеологи никогда не поймут великой исторической роли императора.

— Идеологи! — сказал Наполеон с презрением.— Идеологи... Адвокаты... Вот терпеть не могу эту породу... Всякий раз, когда я вижу адвоката, я жалею, что людям больше не режут языков. Пока идеологи говорили умные речи, я ловил счастье в больших делах. Успех — величайший оратор в мире... И к чему только господа адвокаты стали заниматься революцией? Много они в ней смыслят! Править в революционное время можно только в ботфортах со шпорами... Правда, кроме ботфорт, требуется еще голова: одни ботфорты имел и генерал Лафайет.

— Герой Старого и Нового Континента,— с усмешкой произнес Монтолон прозвище знаменитого деятеля Американской и Фраицузской Революций.

— Дурак Старого и Нового Континента,— сердито сказал император.

— Он верен своей прежней, устарелой системе,— заметил Бертран.

Наполеон покосился на гофмаршала.

— Дело в голове, а не в системе. Что касается систем, то нужно всегда оставлять за собой право смеяться завтра над тем, что утверждаешь сегодня.

И, сделав резкое движение, точно обозлившись на самого себя за рассуждение о политике с людьми, которые в ней явно ничего не понимали, император внезапно заговорил о войне и спросил генералов, который из его походов, по их мнению, наиболее замечателен.

— Итальянская кампания,— сказал решительно Бертран. Лицо Наполеона просветлело, но он покачал головой.

— Я был тогда еще недостаточно опытен.

— 1814-й год, la campagne de France[1],— высказал свое мнение Монтолон.— Гениальнее этой проигранной кампании военная история не знает ничего.

Император опять покачал головой и заметил, что сам он лучшим своим военным подвигом считает мало кому известный Экмюльский маневр. Он стал подробно объяснять генералам сущность этого маневра, приводя на память названия полков, расположение батарей, число пушек, имена командиров. Графиня Бертран с удивлением заметила, что поистине трудно понять, каким образом Его Величество может все это помнить по прошествии стольких лет.

— Madame, le souvenir d'un amant pour ses anciennes maitresses[2],— быстро повернувшись к графине, с живостью сказал император.

XII

Монтолон, салонный генерал, воспользовался этой фразой и перевел разговор на игривые темы. Наполеон заметил, что любовь — глупость, которую делают вдвоем; единственная победа в любви — бегство. Сам он никогда никого не любил — разве Жозефину, да и ту не очень.

Граф Монтолон, смягчая почтительной улыбкой вольный характер сюжета, стал перечислять известных красавиц, которые мимолетно принадлежали Его Величеству: госпожа Фурес, госпожа Грассини, госпожа Левер, госпожа Дюшенуа, госпожа Жорж, госпожа де Воде, госпожа Лакост, госпожа Гаццани, госпожа Гилльбо, госпожа Денюэль, госпожа Бургуэн...

— Тереза Бургуэн? Разве? Вы, кажется, смешиваете меня с Шапталем,— перебил слушавший с интересом Наполеон.

Монтолон, еще более почтительно улыбаясь, заметил, что весь Париж утверждал, будто император был соперником Шапталя.

— Да ведь все парижские артистки распускали слухи о своей близости со мной,— возразил Наполеон.— Им за это антрепренеры прибавляли жалованья.

Но улыбка Монтолона ясно свидетельствовала о том, что он верит анекдоту.

— Вы бы еще процитировали памфлет «Любовные похождения Бонапарта»... Какого Геркулеса они из меня сделали! — сказал со смехом император.

Госпожа Бертран, находившая разговор слишком вольным, спросила, правда ли, что Его Величество в раиней молодости делал предложение мадемуазель Коломбье.

— Не делал, но собирался делать. Мне было семнадцать лет, и она предпочла мне некоего господиина Брессье, которого я потом наградил баронским титулом — от радости, что не женился на его супруге.

— То же самое рассказывали о нынешней шведской королеве,— заметил, смеясь, Монтолон.— Говорят, Ваше Величество предоставили Бернадотту престол Густава Вазы из-за старых нежных чувств к мадемуазель Клери.

Лицо Наполеона потемнело. Эта жеищина, которая нежно любила его юношей, на которой он хотел было жениться, но раздумал, которую, став императором, вознес так высоко, впоследствии вела против него политическую интригу с Талейраном и Фуше... Знакомое чувство тоскливого отвращения от всех людей и, в особенности, от женщин с новой силой поднялось в душе императора.

— Любовь — удел праздных обществ,— сказал он мрачно.— Я никогда не придавал ей значения... Только магометане усвоили правильный взгляд на женщин, которых мы, европейцы, принимаем почему-то всерьез...

— Недаром англичане утверждают, будто Ваше Величество обратились в ислам,— заметил Монтолон.

— Мусульманская вера, кажется, лучшая из всех,— подтвердил император.— Наша религия влияет на людей преимущественно угрозами загробной кары. Магомет больше обещает награды. Что вернее?.. Не берусь сказать с уверенностью. И страх, и подкуп — великие силы... Надо, конечно, владеть обеими умело... Впрочем, ислам завоевал полмира в десять лет, тогда как христианству для этого понадобились века. Очевидно, мусульманская вера выше.

Гофмаршал Бертран сказал с тонкой улыбкой, что, по его наблюдениям, религиозные воззрения императора изменчивы и далеко не так просты, как кажутся. На словах Его Величество часто высказывается в духе католической веры, но...

Наполеон с усмешкой смотрел на гофмаршала Бертрана.

— Но... я не всегда говорю то, что думаю? Вы совершенно правы, любезный Бертран.

Он помолчал.

— Разумеется, в государственном отношении атеизм вещь опасная,— сказал Наполеон как бы нехотя.— По-моему, он в наше время много опаснее для государства, чем религиозный фанатизм. Но умные люди, к несчастью, далеко не во всем считаются с государственными интересами. Ну, Боссюэ, скажем, искренно верил в Бога. Правда, это было его ремесло... И ведь когда же это было: давно... Из всех замечательных людей, которых я знал, почти никто не верил в Бога. Ученые? Монж, Лаплас, Араго, Бертолле, все были безбожники. Философы? Поэты? Я знал в Германии одного очень выдающегося писателя. Его звали Гет... Да, Вольфганг Гет. Он написал большую поэму о каком-то средневековом чернокнижнике...

Монтолон немедленно вынул записную книжку и занес в нее несколько слов, чтобы сохранить для потомства имя немца Гет, написавшего поэму о средневековом чернокнижнике.

— Он служил директором театра у этого дурака Карла Веймарского,— продолжал Наполеон.— Очень замечательный человек. Он походил внешностью, да и душой тоже, на греческого бога. Я, к сожалению, ничего не читал из его книг, кроме романа «Вертер»; думаю, что и книги его замечательны. Так вот этот Гет был такой же безбожник, как наши энциклопедисты,— правда, на свой лад, быть может, даже умнее... Он называл себя пантеистом. Точно не все равно сказать: природа — Бог, или: нет вовсе Бога... Да и так ли вообще все это важно? Очень плохой знак, когда человек начинает думать о Боге: верно, ему на земле больше делать нечего.

Он постучал пальцами по своей стальной табакерке в виде

[1] Французская кампания (франц.).

[2] Мадам, это воспоминание любовника о своих давних подругах (франц.).

гроба, на которой читалась надпись: «Pense á ta fin, elle est près de toi»[1], и налил себе еще чашку крепкого кофе.

— Да, он был очень замечательный человек, этот немецкий поэт. Будь он француз, я сделал бы его герцогом. Его и Корнеля.

Бертран заметил, что бывают однако вполне верующие люди между знаменитыми писателями, и привел в доказательство Шатобриана. Наполеон опять покосился на гофмаршала. По этому взгляду и по радостному лицу Монтолона Бертран сообразил, что сделал бестактность.

— Мне нет надобности говорить Вашему Величеству,— поспешил поправиться он,— как я отношусь к политической деятельности виконта Шатобриана. Но можно ли отрицать его большой талант?

Монтолон, не глядя на Бертрана и сдерживая улыбку радости, рассказал ходивший в Париже анекдот: Шатобриан написал будто бы в свое время книгу антихристианского содержания и снес ее какому-то издателю. Издатель возвратил рукопись, заметив, что атеизм начинает выходить из моды. Шатобриан подумал и через несколько месяцев вернулся с другой книгой — в защиту католической веры. Так создался «Гений Христианства», который принес автору славу, а издателю состояние.

Наполеон засмеялся радостным негромким смехом,— он любил подобные рассказы.

— Если и не правда, то очень похоже на правду,— сказал он.— Я достаточно хорошо знаю виконта Шатобриана. Он и госпожа Сталь оба хороши, каждый в своем роде. Не было ничего легче, чем купить их расположение: я должен был сделать Шатобриана министром, а госпожу Сталь своей любовницей. Но он был бы очень плохой министр, а она, как женщина, всегда казалась мне противной... Ce pauvre Benjamin Constant...[2]. Да, да, оба они хороши,— добавил, снова засмеявшись, Наполеон,— он и она... Госпожа Сталь после моего возвращения с острова Эльбы написала мне восторженное письмо и за два миллиона предлагала свое перо. Я нашел, что два миллиона дорого. Тысяч сто я, пожалуй, дал бы, ибо она недурно пишет. Перо — важная вещь. Писатели не то что адвокаты. Феодальный строй убила пушка, современный строй убьет перо... Да, очень хороши оба: и свободолюбивая госпожа Сталь, и набожный господин Шатобриан. Впрочем, мой опыт говорит мне, что нельзя судить о человеке по его поступкам: каких только низостей не делают так называемые честные люди... Бывает и обратное.

Он отпил кофе. Госпожа Бертран незаметно отодвинула кофейник. Ей казалось, что возбуждающий напиток расстраивает здоровье императора.

— Так Ваше Величество вовсе не верит в Бога и в высшую справедливость? — спросил робким голосом гофмаршал.

— Я? — сказал Наполеон.— Если б я верил в Бога, разве я мог бы сделать то, что я сделал?.. Бог, высшая справедливость?.. Почти все мошенники счастливы в жизни. Увидите, Талейран умрет спокойно на своей постели...

Он нахмурился и замолчал.

Госпожа Бертран с укором заметила, что есть другой, лучший и справедливый, мир.

— Я в этом не уверен. Бывало, я на охоте приказывал при себе вскрывать оленей; они устроены совершенно так же, как мы... Почему не верить в бессмертие души оленей?.. Впрочем, и жизнь, и смерть только сон. La mort est un sommeil sans rêves, et la vie un songe léger qui se dissipe[3]... Если б я хотел иметь веру, я обоготворил бы солнце...

Госпожа Бертран не согласилась с взглядом Его Величества и твердо сказала, что католическая религия — лучшая вера на земле.

Наполеон одобрительно кивнул головой.

— Вы правы, сударыня. В католической вере особенно хорошо то, что молитвы на латинском языке: народ ничего не понимает— и слава Богу. Католицизм в течение пятнадцати веков мирил людей с государством, с общественным порядком, чего же еще требовать? К тому же он дает людям и так называемый внутренний душевный мир... Человек — существо беспокойное, все он ведь чего-то ищет. Так пусть лучше ищет у священника, чем у Кальостро, у Канта или у госпожи Ленорман. Поверьте, они все стоят друг друга: и Кант, и Кальостро, и госпожа Ленорман... Я пробовал когда-то дать другой выход религиозным потребностям человека— я хотел опереться на масонство. Нет, не удалось: слишком они беспокойные люди и уж очень уважают разум. Мне с ними было не по пути... Католическая вера надежнее. К тому же нельзя выбирать религию, это дело неподходящее. Каждый человек должен жить в религии своих предков. А женщина вдобавок должна твердо верить. Терпеть не могу свободомыслящих и ученых женщин. Ученые мужчины — другое дело. Признаться, я не понимаю, как до сих пор существуют верующие образованные христиане. Например, папа Пий VII. Он верил в Христа,— с удивлением сказал Наполеон, обращаясь к мужчинам.— Il croyait, mais là, réellement, en Jésus Christ![1].

Бертран и Монтолон не совсем поняли, почему, собственно, так удивительно, что папа Пий VII верил в Христа.

— Да ведь евангельский Христос, конечно, никогда не существовал,— раздраженно пояснил император: он любил, чтобы его понимали с полуслова.— Верно, был какой-нибудь еврейский фанатик, вообразивший себя Мессией. Подобных фанатиков повсюду расстреливают каждый год. Мне и самому случалось таких расстреливать.

— Боже! — воскликнула в ужасе госпожа Бертран.

— Жестоко? — переспросил Наполеон.— Я по природе своей не жесток. Но сердце государственного человека — в его голове. Он должен быть холоден как лед.

— Ваше Величество очень дурного мнения о людях.

— Да, можно сказать. Il faudrait que les hommes fussent bien scélérats pour l'être autant que je le suppose[2].

— Но ведь есть и честные люди.

— Есть, конечно. Il y a aussi des fripons assez fripons pour se conduire en honnêtes gens[3]... Тот, кто хочет править людьми, должен обращаться не к их добродетелям, а к их порокам.

Наступило молчание. Даже светский Монтолон не находил темы для продолжения разговора.

— Что, однако, трудно было бы объяснить и верующим людям, и атеистам,— вдруг сказал Наполеон изменившимся голосом,— это мою жизнь. Я на днях ночью припомнил: в одной из моих школьных тетрадей, кажется, 1788 года, есть такая заметка: «Sainte-Hélène, petite île». Я тогда готовился к экзамену из географии по курсу аббата Лакруа... Как сейчас вижу перед собой и тетрадь, и эту страницу... И дальше, после названия проклятого острова, больше ничего нет в тетради... Что остановило мою руку?.. Да, что остановило мою руку? — почти шепотом повторил он с внезапным ужасом в голосе.

Страшные глаза его расширились... Он долго молча сидел, тяжело опустив голову на грудь.

— Но если Господь Бог специально занимался моей жизнью,— вдруг произнес император, негромко и странно засмеявшись,— то что же Ему угодно было ею сказать? Непонятно... Двадцать лет бороться с целым миром — и кончить борьбой с сэром Гудсоном Лоу!.. Я знал в начале своей карьеры одного странного старика... У него было несколько имен, и никто точно не знал, кто он собственно такой. Даже моя полиция не знала. Шутники называли его Вечным Жидом. Позже я потерял его из виду, так и не знаю, куда он делся. Он мне предсказывал мою карьеру. Я теперь вспоминаю его мысли... Умный был человек и проницательный, а делать ничего не мог. Может быть, не хотел. А может быть, и не умел... Мне он все предсказывал, что меня погубит вера в славу... А вот слава меня одна и не обманула. Все обмануло, а слава нет. Уж историк-то меня кругом обелит и оправдает...

Он опять замолчал.

— Oui, quel rêve, quel rêve que ma vie[4],— повторил он.

— Пути Божии неисповедимы,— заметил граф Бертран после продолжительного молчания.

Наполеон поднял голову и долго неподвижным взором смотрел на гофмаршала.

— Я больше не задерживаю вас, господа,— произнес он наконец.

---

[1] «Думай о смерти, она близка» (франц.).

[2] Бедный Бенжамен Констан! (франц.).

[3] Смерть — это сон без сновидений, а жизнь — легкое видение, которое исчезнет (франц.).

[1] Он верил, подумать только, на самом деле в Иисуса Христа (франц.).

[2] Но люди оказываются бо́льшими негодяями, чем я их себе представляю (франц.).

[3] Но есть и такие мошенники, которые, плутуя, умеют представить себя честными людьми (франц.).

[4] Да, какой сон, какой сон — моя жизнь (франц.).

XIII

У крыльца — не из удали, а по долголетней привычке — бил ногой землю знавший порядок Визирь, небольшой старый арабский конь, подарок турецкого султана. Его держали под уздцы кучер Аршамбо и форейтор Новерраз.

Император, в мундире гвардейского егеря, тяжело ступая и звеня шпорами, медленно сошел с крыльца. Поверх мундира на нем была какая-то серая накидка, похожая на дождевой плащ.

— La redingote grise! [1] — сказал тихо Аршамбо.

За Наполеоном, приноравливаясь к его шагам, следовал преданный генерал.

Визирь для порядка заржал и чуть привстал на дыбы, ударив коротким хвостом по тавру, изображавшему корону и букву N.

— Ваше Величество поедете далеко? — почтительно спросил генерал.

— В Dead-Wood, потом еще куда-нибудь,— небрежно ответил Наполеон.

Ему внезапно стало смешно: преданный генерал всегда так почтительно провожал императора — даже тогда, когда император отправлялся к его жене.

Ласково, с легкой усмешкой, пожелав доброго вечера преданному генералу, Наполеон привычным движением взял левой рукой поводья и вдел ногу в широкое, во всю ступню, стремя бархатного расшитого золотом седла.

И вдруг ужасная боль в правом боку едва не заставила его вскрикнуть. Лицо императора сделалось еще бледнее обыкновенного. Он зашатался и выпустил поводья.

Бритва вонзилась снова. Смерть была здесь.

Он трижды, напрягая волю, повторил свою попытку и трижды тело отказывалось служить.

Старые слуги Аршамбо и Новерраз, отвели глаза в сторону.

Император Наполеон не мог сесть на лошадь.

Генерал, удерживая охватившее его волнение, почтительно попросил Его Величество отказаться от прогулки: Его Величеству явно нездоровится.

— Вы правы... Я лучше пройдусь пешком,— глухим голосом сказал Наполеон.

Аршамбо тихо тронул коня. Визирь повернул свою точеную голову, тряхнул седой гривой, повел глазом и удивленно заржал. Его увели в конюшню.

Наполеон медленно взошел на площадку, откуда видно было море. Заходящее солнце кровавым потоком золота заливало волны, и на смену ему, как бывает в этих широтах, сразу зажигались луна и звезды. Император смотрел на небо и искал свою звезду... На земле больше искать было нечего.

Вдали по морю медленно проходил какой-то корабль.

XIV

На корабле этом уезжали с острова молодые супруги де Бальмен. В пустой кают-компании сидел немного осунувшийся лицом граф Александр Антонович и угрюмо разбирал при свече русские книги, присланные ему Ржевским. Это были в большинстве старые Новиковские издания.

«О заблуждениях и истине, или воззвание человеческого рода ко всеобщему началу знания. Сочинение, в котором открывается Примечателям сомнительность изысканий их и непрестанные их погрешности и вместе указывается путь, по которому должно бы им шествовать к приобретению физической очевидности о происхождении Добра и Зла, о человеке, о Натуре вещественной, о Натуре невещественной и Натуре священной, об основании политических правлений, о власти государей, о правосудии гражданском и уголовном, о науках, языках и художествах»...

«Не слишком ли много?» — подумал де Бальмен.

...«Философа неизвестного. Переведено с французского. Иждивением типографической компании. В Москве. В вольной типографии И. Лопухина, с указного дозволения, 1785 года».

«Это перевод. Лучше прочту в подлиннике».

Он отложил толстый том Сен-Мартена и стал просматривать другие книги.

«Химическая псалтирь, или философические правила о камне мудрых»...

«Хризомандер, аллегорическая и сатирическая повесть различного и весьма важного содержания»...

«С этого сочинения начну читать. Оно, кажется, легче других».

«Братские увещания»...

«Крата Репоа, или описание посвящения в тайное общество египетских жрецов»...

Де Бальмен вздохнул и раскрыл одну из книг наудачу:

«Древние мудрецы, писавшие о философском камне, говорят о соли, сере и меркурии. Химисты, не разумея их загадочных и иносказательных речений и не ведая философской соли, серы и меркурия, работают без размышления наудачу, и вместо куч золота и всеобщего врачества, вырабатывают себе дрожание членов и нищенскую суму»...

«Неужели Ржевский в самом деле читает это?» — спросил себя граф, подавляя зевок, и перевернул несколько страниц.

«Читай, брат мой, читай священное творение, читай его постепенные следствия, читай его ясным внутренним оком мудрых, имущих око свое во главе, как говорит премудрый Соломон. Читай не спешно, как читает большая часть чтецов, спешащих только до другого листа скорее дочесться. Читая неправильно на сем листе, не можешь ты надеяться пользы на другом листе, разве обратишься назад; итак, читай правильно и сначала. Если желаешь читать историю сотворения, то придержись первого стиха: Bereschith bara Elohim eth haschmajim weeth haaretz [1]. и читай его несколько лет, а потом уже читай далее».

«Mais il se moque de moi, le bonhomme» [2], — подумал раздраженно Александр Антонович и, отшвырнув книгу, зашагал по маленькой кают-компании.

«Начитаешься таких сочинений, вправду спятишь с ума и будешь смотреть себе в пуп, как Сперанский, ожидая Фиванского света. Ржевский всегда был дураком и не поумнел со времени корпуса... Я тоже очень хорош... Как только приеду в Париж, сейчас же разыщу Кривцова. Верно, из Палерояля не выходит... Пусть он скажет: я ли на острове помешался, или они в Петербурге посходили с ума?.. И Люси тоже разыщу. И черт с ними со всеми!..»

Граф де Бальмен сложил в ящик книги, с некоторой опаской к ним прикасаясь, и вышел на палубу подышать свежим воздухом моря.

В каюте, отведенной русскому комиссару, лежала на койке Сузи и, уткнувшись головой в подушку, горько плакала.

XV

Доктор Антоммарки, врач, состоявший при особе Наполеона, молодой, малообразованный и очень глупый человек, был уверен в том, что болезнь императора имеет политический характер. Тонкая и развязная улыбка, с которой Антоммарки говорил об этой болезни, выводила из себя Наполеона. Император, никогда не веривший в медицину, упорно отказывался от помощи итальянского врача.

— Я выбрасывал за окно лекарства, которые назначали мне мои доктора Корвизар и Ларрей, лучшие врачи в мире,— отвечал он на упрашивания приближенных.— Как же вы хотите, чтобы я принимал снадобья этого мальчишки ветеринара?

Но весной 1821 года даже Антоммарки стало ясно по виду императора, что болезнь его приняла очень опасный оборот. Доктор испугался ответственности, пожелал устроить совещание с английскими врачами и стал убеждать Наполеона лечиться серьезно.

— Кажется, я не обязан вам отчетом, милостивый государь,— резко отвечал Наполеон.— Думаете ли вы о том, что жизнь может быть мне и в тягость? Я не стану приближать к себе смерть, но и ничего не сделаю для ее отдаления.

Он отдал только одно медицинское распоряжение: непременно после смерти вскрыть его желудок для того, чтобы исследование их наследственной болезни могло пригодиться его сыну.

Император почти совсем перестал выходить из своей комнаты. Он проводил большую часть дня в ванне или на диване в полутьме, тщетно стараясь согреть горячими компрессами холодеющие ноги. Черты его лица становились все искаженнее и тоньше, а прекрасные маленькие руки совершенно исхудали. Все понимали, что Наполеон умирает.

---

[1] Серый сюртук (франц.).

[1] «В начале сотворил Бог небо и землю» (др. евр.; Бытие, I, 1).

[2] «Да он смеется надо мной, добрый человек» (франц.).

Однажды вечером Бертран, желая развлечь императора, предложил ему выйти в сад: англичане говорят, будто на небе появилась комета. Теперь при ясной погоде ее можно хорошо рассмотреть.

— Как комета? — вскрикнул Наполеон. Он быстро вышел в сад.

— Перед смертью Юлия Цезаря тоже была комета,— тихо сказал он по возвращении гофмаршалу, снова опускаясь на диван.

Бертран невольно развел руками.

— Неужели Его Величество и небесные явления относят к своей особе? — спросил он себя в недоумении.

Наполеон стал спешно составлять свое духовное завещание. Занятие это его увлекло и даже привело в хорошее настроение духа. Он работал целые дни. Изредка для отдыха приказывал читать себе вслух Гомера.

Скоро завещание было готово.

— Теперь жалко было бы не умереть, когда я так славно привел в порядок свои дела,— сказал он по окончании работы своему любимцу, молодому камердинеру Маршану, и тут же подумал, что и эта внезапно пришедшая ему в голову фраза перейдет в историю, так как Маршан, конечно, тотчас ее запишет.

— Вот что, голубчик,— прибавил он.— Я завещал тебе пятьсот тысяч франков, но мои деньги далеко, во Франции. Бог знает, когда ты их получишь. Возьми пока...

Он вынул из ящика бриллиантовое ожерелье.

— Оно стоит тысяч двести. Я тебе его дарю. Спрячь. Ступай.

И прекратив брезгливым жестом выражения благодарности камердинера, пожелавшего поцеловать ему руку, Наполеон велел позвать того генерала, с женой которого он был близок.

— Вам я оставил по завещанию...— с усмешкой назвал он огромную цифру.— Но, быть может, вы хотите больше?

Генерал, почтительно склонив голову, ответил, что ему дороги не деньги, а знак милости императора, который, как он надеется, будет жить долго.

— Таким образом ваши бескорыстные и преданные услуги навсегда отмечены мною перед потомством,— медленно с той же усмешкой сказал Наполеон.

На лице его снова появилось выражение брезгливости. Он погрузился в дремоту.

В середине апреля император призвал к себе духовника, аббата Виньяли, и долго говорил с ним о религиозном церемониале своих похорон. Выразил желание, чтобы над его гробом были выполнены в точности, как у самых набожных людей, все обряды, предписанные католической церковью. Обрадованный аббат предложил Его Величеству исповедаться. Но Наполеон, чуть улыбнувшись, отклонил пока это предложение.

Аббат Виньяли в мыслях взволнованно возблагодарил Господа за то, что Он обратил наконец на путь истинной, вечной и единственной веры эту непокорную человеческую душу. Уходя, аббат, словно нечаянно, оставил на столе императора Священное Писание.

Вечером Монтолон и Бертран, войдя в комнату Наполеона, застали его на диване за чтением толстой книги. Плечи императора слегка тряслись. Монтолон почтительно заглянул издали в книгу. Это было Пятикнижие.

— Моисей!.. — говорил Наполеон, с оживлением глядя на вошедших и сдерживая разбиравший его смех.— Какой ловкий человек, а? Правда, ловкий человек был Моисей?..

Генералам невольно показалось, что император, столь благочестиво говоривший с аббатом Виньяли, не верит ни в Бога, ни в черта.

Граф Бертран стал читать императору только что полученные английские газеты. В одной из них была резкая статья против лиц, виновных в расстреле герцога Энгиенского. Внезапно, во время чтения, Монтолон толкнул Бертрана в бок. Гофмаршал поднял глаза от газеты и с ужасом заметил, что у императора страшное лицо; такое выражение он видел у Его Величества за двадцать лет всего раза два или три,— в последний раз после битвы при Ватерлоо, когда

Наполеон сказал окружающим с легким эпилептическим смехом:

— Все кончено... Все погибло...

Бертрану представилось, что у Его Величества и сейчас начнется эпилептический припадок.

— Завещание... Дайте сюда мое завещание! — прохрипел Наполеон.

Монтолон бросился за завещанием. Император дрожащими пальцами вскрыл пакет и, ничего не говоря, приписал несколько строк к последнему параграфу первого отдела:

«Я велел арестовать и судить герцога Энгиенского потому, что этого требовали безопасность, благополучие и честь французского народа; в то время граф д'Артуа, по собственному его признанию, содержал в Париже шестьдесят наемных убийц. В подобных обстоятельствах я и теперь поступил бы точно так же».

В тяжелом настроении генералы вышли из кабинета. Было поздно. Маршан приготовил обе постели императора и помог ему раздеться. При этом камердинеру показалось, что у Его Величества сильный жар.

Ванна была готова. Император погрузился в горячую воду, морщась от прикосновения холодного цинка к плечам. Ноги его немного согрелись.

Ему стало совестно, что за несколько дней до смерти он мог еще приходить в бешенство от пустяков, от газетной статьи. Императора особенно раздражало то, что из тысяч преступлений, которые были им совершены, глупые люди неизменно попрекали его убийством несчастного герцога Энгиенского. Два миллиона людей погибло по его воле, а английские дураки думают, будто он может и должен сожалеть об одном каком-то человеке, ибо этот казненный по его приказу человек был принц королевской крови. Другой причины нет... Рабы!

Он со злостью запер на ключ этот нечаянно раскрывшийся ящик мозга и открыл другой, где были мысли о смерти. Но здесь в последние месяцы все было изучено, передумано и перерыто до основания. Наполеон знал, что умрет через несколько дней, умрет совсем, и никакой другой жизни у него больше не будет, а если и будет, то та, другая, жизнь ему не нужна и совершенно неинтересна. Никто из философов ничего нового об этом ему сказать не мог, так как он знал жизнь лучше всяких философов. И даже усталый Израильский царь, который скончался три тысячи лет назад и оставил после себя умным людям несколько умных, настоящих мыслей о жизни и смерти, не имел такого опыта, как он. Ибо царь этот родился на престоле, не покорял мира, не глядел в лицо смерти в шестидесяти сражениях и не знал, вероятно, лучшей человеческой радости — войны и победы...

Наполеон внезапно вспомнил Тулон, где он впервые постиг эту высшую радость жизни... Батареи Санкюлотов и Конвента, на которых он проводил долгие бессонные ночи, обдумывая план штурма, свежий ветер, шедший с моря на батареи, запах смолы у старой часовни...

В памяти императора встала серая твердыня Эгильет,— в ней он тогда разгадал ключ к неприступной крепости... И заседание военного совета, когда он, неизвестный молодой артиллерист, указав эту позицию на карте, сказал уверенно и твердо: «Тулон — здесь!..» И неспособный генерал Карто, который не понял его слов и посмеялся над невежеством молодого офицера, смешивающего Эгильет с Тулоном... И умная старая женщина, жена Карто, неизменно говорившая мужу: «Laisse faire ce jeune homme, il en sait plus que toi...» [1]. И самодовольная фигура Барраса... И штурм, и первая рана,— вот ее след на старом теле,— и пожар города, и расстрелы...

Мысли его стали смешиваться. Ему представился день коронования,— собор Notre Dame de Paris. Он хорошо знал этот страшный средневековый собор. Помнил его запущенным, опустошенным, грязным, каким он был в революционные годы: внутри веселилась чернь, темные вековые стены осыпались, статуи наверху были повреждены, разбиты. На крыше у подножья правой башни виднелась одна такая фигура,— дьявол с горбатым носом, с хилыми руками, с высунутым над звериной губой языком... Зачем там был дьявол? Или он был не там?.. Потом и в церкви, как во всей стране, восстановился порядок... В тот день, в день коронования, орган гремел в горевшем огнями соборе, стены домов города тряслись от крика: «Да здравствует император!..»

Из-за ванны по полу с шумом пронеслась огромная крыса.

Наполеон вздрогнул, вышел из воды и, тяжело ступая, перешел в кабинет. Он поднял выше подушку, с трудом лег на постель и скоро задремал, несмотря на мучительную боль в боку. Но сон императора не был спокоен. Жар усиливался, кровь приливала к голове.

XVI

Ему снился страшный сон. Ему снилось, будто огромная неприятельская армия через Бельгию, по незащищенным равнинам у Шарлеруа, лавиной вторгается во французскую землю. И ужасы вражеского нашествия, те дела, которые он сам столько раз проделывал в чужих странах, ясно ему представились. Надо призвать к оружию национальную гвардию. Надо поднять на защиту родины весь народ. Надо спасти Париж, к которому неудержимо рвется неприятель. Сложные стратегические комбинации стали рождаться в умирающем мозгу Наполеона. На знакомых берегах Марны есть выгодные позиции. Твердыни Вердена должны помешать обходному движению врага. Но кому, кому поручить защиту страны? Кто из французских генералов поймет, что нужно делать?..

Император вдруг поднял голову с подушки. На мгновение к нему вернулась память. Нет больше в живых никого... На полях Маренго пал Дезе. Под Люценом убит Бессьер. У берегов Дуная ядро оторвало ноги Ланну. Под Макерсдорфом разорван на куски Дюрок. Заколот в Египте Клебер. Выбросился из окна Бертье. Расстрелян в Неаполе Мюрат. Расстрелян в Париже Ней. В его, Наполеоновской, тюрьме удавился — лучше не вспоминать об этом — изменник Пишегрю, тот из генералов Революции, в котором молодой, стремящийся к престолу Бонапарт видел когда-то опаснейшего из своих военных соперников...

А ему самому осталось жить только несколько дней! Нельзя терять ни одной минуты.

Пот выступил на похолодевшем лбу императора. Дрожащими руками он зажег свечу, хотел было позвонить, но не нашел своего медного колокольчика. Опираясь рукой то на стену, то на стол, он надел халат, туфли и прошел в спальню Монтолона.

Всю свою долгую жизнь граф Монтолон помнил ту минуту, когда, проснувшись от сильных толчков в плечо, он потянулся, открыл глаза, мигнул несколько раз на шатающийся огонек — и оцепенел. Перед ним, держа в руке свечу, с которой капал воск, стоял умирающий император. Лицо его было искажено. Глаза горели безумным светом.

— Вставайте, оденьтесь, идите за мной! — отрывисто приказывал Наполеон.

Они прошли в кабинет.

— Пишите!

В комнате, освещенной одной свечой, было темно и холодно. Смертельный безотчетный страх охватил графа Монтолона.

— Ваше Величество,— проговорил он, стуча зубами,— позвольте, я разбужу доктора Антоммарки.

— Пишите! — хрипло, со страданием в голосе, вскрикнул Наполеон.

Монтолон взял лист бумаги и стал писать. Перо плохо ему повиновалось. В бреду, держась рукой за правый бок и сверкая глазами, император диктовал план защиты Франции от воображаемого нашествия.

XVII

В день пятого мая разразилась страшная буря. Волны с ревом кинулись на берега острова. Тонкие стены Лонгвудского дома вздрагивали. Потемнели зловещие медно-коричневые горы. Чахлые деревья, тоскливо прикрывавшие наготу вулканических скал, сорванные грозой, тяжело скатывались в глубокую пропасть, цепляясь ветвями за камни.

Как ни бодро расхаживал по комнатам виллы Лонгвуд развязный доктор Антоммарки, с видом человека, который все предвидел и потому ничего бояться не может, было совершенно ясно, что для его пациента настали последние минуты. Казалось, душа Наполеона, естественно, должна отойти в другой мир именно в такую погоду,— среди тяжких

[1] «Не мешай этому молодому человеку, он знает больше, чем ты» (франц.).

раскатов грома, под завывания свирепого ветра, при свете тропических молний.

Но тот, кто был императором, уже ни в чем не отдавал себе отчета. Нелегко расставалось с духом хрипящее тело Наполеона. Отзвуками канонады представлялись застывающему мозгу громовые удары, а уста неясно шептали последние слова:

«Армия... Авангард...»

У постели, в кресле, не сводя красных глаз с умирающего, сидел генерал Бертран. Граф Монтолон записывал в книжку все, хоть немного походившее на слово, что срывалось с уст императора. Около десятка французов толпилось в кабинете и у дверей, ожидая последнего вздоха. В соседней комнате аббат Виньяли готовил свечи.

В пять часов сорок девять минут дня Антоммарки, взглянув в сторону постели, быстро подошел к ней, приложил ухо к сердцу Наполеона — и печально развел руками, показывая, что теперь даже он ничего больше сделать не может. Послышались рыдания. Граф Бертран тяжело поднялся с кресла и сказал глухим шепотом:

— Император скончался...

И вдруг, заглянув в лицо умершему, он отшатнулся, пораженный воспоминанием:

— Первый консул! — воскликнул гофмаршал.

На подушке, сверкая мертвой красотой, лежала помолодевшая от смерти на двадцать лет голова генерала Бонапарта.

Английский офицер, прикомандированный к вилле Лонгвуд, с переменившимся от волнения лицом вышел на крыльцо. Буря утихала. Удары грома слышались реже. Офицер вздрогнул, завернулся в плащ и прошел к сигнальной мачте.

Шли часы. К крыльцу дома со всех концов острова подъезжали экипажи и верховые; перешептываясь, сходилось население. Дом наполнился военными людьми, смотревшими на все с любопытством и с испугом.

Камердинер Маршан раскрыл настежь двери кабинета. Высоко держа на руках какое-то синее одеяние с серебряным шитьем на красном воротнике, гофмаршал генерал Бертран вошел в комнату.

— Шинель императора при Маренго! — дрогнувшим голосом провозгласил он, накрывая мертвое тело Наполеона.

Этого не мог выдержать ни один военный. Французы, с самим стариком гофмаршалом, заплакали, как маленькие дети. Английские офицеры вынули носовые платки и одновременно приложили их к глазам. Им было жутко оттого, что умер такой великий человек,— правда, враг дорогой старой страны, но все-таки the greatest man in the world [1], по сравнению с которым ничего не стоила жизнь их, обыкновенных людей. Жутко было и потому, что там, в Англии, еще никто этого не знает; каждому офицеру захотелось скорее написать письмо на далекую милую родину. Один из англичан приблизился к кровати и поцеловал край шинели императора; другие последовали его примеру.

Французский комиссар де Монтшеню вошел в комнату вместе с крайне расстроенным губернатором. Маркиз, тридцать лет ненавидевший Наполеона, никогда в жизни его не видел. Он подошел к постели и долго молча смотрел на мертвое лицо с закрытыми глазами.

— У кого завещание? — отойдя, тихо спросил он гофмаршала.

Аббат Виньяли не хотел расставаться с телом до самого момента похорон. Он был спокойнее других: для него смерть означала не то, что для светских людей. Аббат незаметно подошел в столовой к буфету, съел крылышко холодного фазана, выпил полстакана вина и вернулся в кабинет, где лежало тело императора. Все посторонние уже вышли из комнаты. Аббат взял со стола свою Библию, нарочно им забытую там несколько дней тому назад,— книга лежала раскрытой.— и стал читать.

«Всему и всем — одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы; как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы».

«Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их; а после того они отходят к умершим».

«Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, чем мертвому льву».

«Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению».

«И любовь их и ненависть и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем».

«И обратился я и увидел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым — победа, не мудрым — хлеб, и не у разумных — богатство, и не искусным — благорасположение, но время и случай для всех их»...

Аббат Виньяли глубоко вздохнул, уселся удобнее в кресле и перевернул страницу.

...«Доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них!

доколе не померкли солнце и свет и луна и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем;

в тот день, когда задрожат стерегущие дом и согнутся мужи силы; и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось; и помрачатся смотрящие в окно;

и запираться будут двери на улицу; когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха и замолкнут дщери пения;

и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы; и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его на улице плакальщицы;

доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем»...

Аббат вздохнул опять и посмотрел искоса на мертвое тело императора. На погонах синей шинели играл бледный свет восковых свечей.

XVIII

Старый малаец Тоби очень испугался, когда услышал звуки залпов. Он подошел, тяжело передвигая ноги, к знакомому повару, доброму человеку, который никогда его не обижал, и спросил, что такое случилось: почему стреляют? Куда это поехал сам раджа острова и пошел весь народ?

Повар посмотрел на него с удивлением.

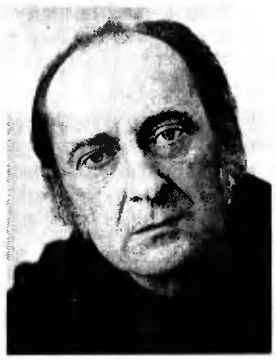
— Как что случилось? Как почему стреляют? — переспросил он.— Наполеона хоронят. Сейчас его тело подвозят к Долине Герани. Я оттуда иду,— обед надо готовить, иначе не ушел бы. Народу там тьма, весь остров, войска... Беги скорее смотреть! Наши батареи салютуют.

Но у престарелого малайца память стало отшибать. Он забыл имя зеленого генерала, который когда-то подарил ему двадцать золотых монет, и робко спросил, кто был умерший раджа.

— Эх, видно, выжил ты, брат, из ума,— ответил со смехом повар.— Не знаешь, кто такой был Наполеон Бонапарт? Да он весь мир завоевал, людей сколько переколотил,— как его не знать? Все народы на свете победил, кроме нас, англичан... Ну, прощай. Некогда с тобой болтать.

Малаец вдвинул голову в плечи, пожевал беззубым ртом и сделал вид, будто понял. Но про себя он усмехнулся невежеству повара, который явно что-то путал: ибо великий, грозный раджа Сири-Три-Бувана, знаменитый джангди царства Менанкабау, победитель радшанов, лампонов, батаков, даяков, сунданезов, манкассаров, бугисов и альфуров, скончался очень давно, много лет тому назад, задолго до рождения отца Тоби и отца его отца, которых да накормят лепешками, ради крокодила, сотрясатель земли Тати и небесный бог Ру.

[1] Величайший человек в мире (англ.).



Алексей РЕШЕТОВ

☆☆☆

Собрать бы последине снлы,
Склониться иад белым лнстом
И так написать о России,
Как пишут о самом святом.
Оиа тебе зла ие попомнит.
Попросишь прощеиья — простит.
Настаиет твой час — нохороиит.
Приидет пора — воскресит.

☆☆☆

Когда отца в тридцать седьмом
Оклеветали и забрали,
Все иаши киигн под окиом
Свалили, место подобрали.

И рыжнй дворинк подпитой,
При всех арестах понятой,
Соиеты Данте и Петрарки
Рвал иа вонючие цигарки.

Осколок солица догорал.
Из труб печных летела сажа.
И сиова Пушкин умирал.
И Натали шептала: — Саша...

Женщина у Светлова

Л. К.

Не опрометчивому слову,
А сокровеиному верна,
Явилась женщина к Светлову
На Новодевнчье. Одиа.
Друзьям звоинть — пустое дело:
Один спешит в коицертный зал,
Другого рукопнсь заела,
А третий вовсе «завязал».
Тогда оиа сказала: — Ну их!
В кармаиах мелочь иаскребла
И своему поэту в муфте
Бутылку водки прииесла.
И вот сидят оии за белой.
Ои рассказал про Страшиый суд.
Оиа ему «Грениду» спела,
Как колыбельиую поют.
Но, раздвигая обелиски,
Пришел н рявкнул старшниа:
— Здесь нету временной прописки!
Здесь постоянная нужиа!
Оиа ушла, поиикли плечи.
Но от Спортивиой до Филей
Никто за этот зимиий вечер
Не встретил жеицины милей.

☆☆☆

Уж если думать откровенио —
У иас минут наперечет,
Хоть кровь лиловая по веиам
Легко и весело течет.

Еще мы мечемся по свету,
Еще не чувствуем коица,
А уж она впадает в Лету,
Кружа опавшие сердца.

☆☆☆

Все равио в каком аду —
Этом или том.
Все равно под чью дуду
Быть шуту шутом.
Лишь бы ты меия ждала
С вечиою тоской.
И бубеичики рвала
Белою рукой.

☆☆☆

Белая лебедь над иашнм предместьем
Вдруг высоко поднялась.
И превращается в трауриый крестик,
Все недоступней для глаз.
О, до чего иашн очи нечетко
Видят далекнй предмет.
Вечио мы белое путаем с черным,
Будто н разницы нет.

☆☆☆

Я люблю тебя, а ты
Помнишь ли меня?
Или сделалнсь мосты
Жертвою огия?
Напиши в последний раз —
Есть ли кто другой,
Чтоб меня от жизни спас
Дальний голос твой.

☆☆☆

Мы с тобою живем по соседству
И почти двойники по судьбе.
Но тюремная азбука сердца
Моего — иепоиятиа тебе.
Обериись белокрылою птицей,
Промелькии за окном, покажись,
Чтобы хоть на минуту забыться
И ие сравнивать с каторгой жизиь.

☆☆☆

Ты опять ко мне пришла,
Позвонила, постучалась,
Постояла, пождала,
Только дверь ие отворялась.

Я тебя перехитрил,
Не предстал перед тобою:
Пред твоим сияиьем крыл
Я мизнчника не стою.

☆☆☆

Пропади она пропадом, жизнь
Вот такая, какая досталась.
Лучше сразу в могилу ложись,
Чтоб твоя колыбель не качалась.

О. ие верьте мие, людн, я лгу.
Я устал от земиого вращенья,
Но и самому злому врагу
Я желаю любви и прощенья.

г. Пермь

Анастасия
ЦВЕТАЕВА

ЗИМНИЙ СТАРЧЕСКИЙ КОКТЕБЕЛЬ

(дневниковые записи 10—15 ноября 1988 года)

Анастасии Ивановне Цветаевой в этом месяце исполняется 95 лет. Мы восхищаемся стойкостью, с которой она перенесла тяжелые годы своей жизни, сохранив свет и молодость души.

Фото Леонида Шимановича

— В Коктебель? В вашем возрасте? В эту осеннюю пору? С телевидением? — сказал мне мой 76-летний сын.— Вы им скажите: «Меня сын не пускает». Только если они вам достанут двухместное купе и с вами согласится поехать наш друг — врач, чтобы вы могли дорогою отдыхать, а не в четырехместном купе, вот так!

Фильм о Марине Цветаевой — сестре моей — после командировки съемочной группы в Париж, по ее следам, в Чехословакию шел к концу. Нам дали купе, и мы поехали — с телевидением, в осеннюю пору (я на 95-м). У нас оказалось столько еды, у Спутника и у меня,— снабдили нас на дорогу,— что не знали, за что приняться. Удивляло еще то, что, выехав с севера — осенью, мы, близясь к югу, въезжали в густой снег! Ехали, ехали. И — стали где-то возле Мелитополя.

...Авария! Поезда с севера доезжают, останавливаются. Поезда с юга — совсем не идут. Спутник мой шутит:

— Вот и пригодятся наши припасы! Ведь ресторан перестал действовать, электричества нет.

Еда. Беседа. Неизвестность. А ночью так ласково — сверху наклоняется надо мной — добрая голова. Добрые руки стараются помочь, дружески и врачебно облегчить непонятный недуг, постоянную головную боль.

И вдруг тихо приходит поезд в движение. Едем! Лишь бы авария — без человеческих жертв! И Бог милостив: медленно проезжаем мы причину беды — товарняк сошел с рельсов. Цистерны, с чем неизвестно,— опрокинуты по насыпи, одна — в искусственном Каховском море. Дым, вывороченная земля, рабочие... О жертвах аварии — не слыхать!

И вот уже пирамидальные тополя, с детства любимы, и Сиваш, где в молодости моей столько пролито русскими русской крови после революции, в междоусобной войне. И уж близится Феодосия, любимый город моей и Мариниой юности. Как радостно мне к ней подъезжать не одной!

Но и Феодосия становится — сном. Автобусом приближаемся к Коктебелю. Поворот дороги — и сразу, точно так, как ждала и как уже писала — о 1911-м, тогда впервые,— так сегодня, быть может, в последний раз — три горы на закатном небе, три горы, ожиданные и обещанные. Правая, продолжением холмов, из них готическими остриями восставшая,— странно имя ее — Сюрю-кая; перешеек и — серединная, горбом, полукругом поднявшаяся, зеленая Святая гора, в себе татарского праведника сокрывшая. Перешеек и всех сложнее, лесом и скалами восстав, и в море рушащаяся, профилем Максовым, абрисом рта, бороды — в море легшая, Карадаг-гора, гора Карадаг. Кротко закат принял их скупым золотым, и тогда я голосом Макса, медленно:

И низко над холмом дрожащий серп Венеры,
Как пламя воздухом колеблемой свечи...

И пошли они, горы, поворотом автобуса распадаться, расступаясь оптическими законами, временем, преходящим пространством.

Вот уже нет гор, одно море, и нет ему ни конца, ни начала, синеве, и закату, и рокоту. Мы уже сошли, Спутник, он — такой большой, и я — маленькая (в мои 94 уютно ложатся дважды его 47). Вправо от нас жерло двери, где скрылись сопровождающие оформлять наш приезд. А мы — мы, мы — по земле Коктебеля — в легкий сумрак потемневшей дороги сада, в ритм шагов,— чей голос первым начал, чей подхватил?

...Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины...

Я, голосом Мандельштама,— так навеки запомнилось,— и Спутник впадает в мой

Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.

В унисон, как когда-то с Мариной, увлеченно,— его 47, мои 94:

Как журавлиный клин в чужие рубежи,—
На головах царей божественная пена,—
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?

И уже дружно, впев друг в друга, как сам Осип Мандельштам — убежденно:

И море, и Гомер — все движется любовью.

С крутым выгибом его голоса, волшебно воплотившегося тут сейчас, где я в 1915-м его слышала:

Акварель М. Волошина. Коктебель.

Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

А вокруг нас уже — ночь.

Мы уснули в двух, почти смежных комнатах Дома творчества.

Как прежде, в юности, все передавалось — в Память, так теперь все передается — в Забвение.

Стирается с доски грифельной дня — утро, и стираются меловые узоры вечера, но вот выжило: идем вдоль моря, по чужому Крыму — снегу, идем прогулкой по берегу — выбирая ногой, где ступить,— а над нами, там, откуда сошли к водному рокоту, сверху — лает собака. Но у нас для нее, нежданной, неведомой, есть от завтрака куски бутерброда, зовем ее ласковыми голосами, и она умолкает, сбегает вниз — черная, поджарая, стоячие уши ее вздрагивают согласно, алый язык длинно ловит ломоть сыра, а серое море вторит беседе и удивлению пластам пышного снега на туе и кипарисах, отсутствию горизонта, туману и морской мгле. Неприюту и Неизвестности справа и слева, пропавшему профилю Макса. И все заменившему, жадному и веселому, собачьему языку, черной голове остроухой, ничего не знающей о Максе и Марине, но больше, чем мы — море, чем нас — море, собаки, сейчас нас, обоих, любящей за сыр. Не зная любимых собак прежних лет — Макса, Марины, моих...

В Коктебеле — зима! Вместо гравия и земли — белый бархат, хрупко тающий в непонятность! Шубка синеглазой Оксаны, поспешившей к нам, услыхав про приезд телевидения,— инсценировка к «Снегурочке». И белая маленькая собака, с ней пришедшая, кажется от белизны снега — желтоватой...

Радость встречи! Я три года не приезжала! А Спутник тут — впервые. И то, что они оба — врачи, делает встречу по-особенному ценной и нужной — ведь больных везде хоть отбавляй...

Прыжки Оксаниной собаки — тоже радость встречи — она сытая и печенье ест из воспитанности, чтобы нас не обидеть! А та, что вторая, вчера вилась вокруг нас,— ест подряд все с собакиной благодарностью, она еще меньше Оксаниной и еще белей — почти один цвет со снегом!

А на море сегодня — волны! Одна серее другой — куда делись зеленые волны!— это пенный свинец, он грохочет — и как его не боится самая маленькая; когда Спутник сбрасывает ей с тарелки еду, она царственно не замечает морской грохот, подхватывая на лету — куски...

Почему-то опять — вечер... И тот, вчерашний, поэт — голубые глаза и бакенбарды под старину (а почему у него — лунные волосы, он — седой?) — написал стихи, в них строки про мой разговор с Максом Волошиным: «Скажи, скажи, Анастасия, Ну, как — еще стоит Россия?..»

Он обещал дать знать Ире Махониной и Мусе Изергиной, что я — здесь...

Когда-то я с Максом ходила в бурю на феодосийский мол, возле Генуэзских башен... И волны хлестали нас по ногам, и мы смеялись. Это было больше, чем полвека назад,— полвека и еще четверть века!.. Мои старческие простуды — я со Спутником встретилась в больнице, заболев пневмонией, скоро 12 лет назад,— эти простуды меня давно отбрасывают от смеха, если промочу ноги, и остаемся в комнате Дома творчества с милой и давно мне дорогой Оксаной, а Спутник идет на коктебельский мол, который зовется пирс,— другие времена и имена иные! Задевая снежный покров пирса, море бушует, бросает волны, сизые, пенные, и мне кажется, он смеется их обоюдной отваге! Всего окатило, но я, ему дважды мать, буду беспокоиться о его здоровье, хотя он и врач — и какой! (Такой дома, в медицине, как эти волны — в море)...

...Зовут в мастерскую Макса, а я — в минувших днях лета 1911 года в Коктебеле... Получая письма Бориса о скором свидании и ему отвечая, с замершим сердцем ждала его приезд. Счастье Марины и Сережи меня к небесам поднимало, мне шел 17-й год. Борис, весь в фантазиях, как-то обмолвился о возрасте своем — 27... Но и это, как оказалось потом — преувеличенное, число ничего в нем не открывало — так он дивен, неведом был, ни на кого не похож. Менее всего — на Сережу. Теплая мечтательность Сережи, его вдали потерянный взгляд, их полная слиянность с Мариной, от меня ее отнявшая, нацело, была — я это чувствовала всем существом — совсем иным краем, чем тот, в который я входила с Борисом, ничего мне о себе не рассказывавшим, но по-иному уводившим меня от Марины. Тем жарче я стремилась навстречу Борису. То, что он едет ко мне, было уже нечто,— а ведь мог не приехать — это бы не удивило меня... но его приезд теперь был мечтою об окончании моего одиночества рядом с ними двумя.

С телеграммой в руке я ехала в Феодосию, потерявшись в синеве Борисовых глаз, в ореоле пышных волос, золотых,

как у Листа, обрезанных над плечами,— сходство было, впрочем, и с волосами Пра *, тоже круто обрезанными у основания шеи,— но их темно-серебряный цвет разнился старостью от неведомого Борисова возраста. Что ему не 27, а куда меньше, было ясно в минуты его раскаленного, неудержимого смеха.

Феодосия. Вокзал, четверть часа до прихода поезда. Их не переживешь вторично, со всем опытом моих 94-х лет — я не берусь описать их.

Но в тот миг, когда из вагона легко соскочил и пошел мне навстречу тот, кто должен был оказаться Борисом, неузнаваемый Борис, в темных очках, с коротко остриженными волосами,— что сделалось со мной? Негодование, обида, смятение — и уже шло хладное объяснение: жара! И все-таки это был он, он шел рядом; голос был *его*. Мы идем вместе, в падающем южной мглистой крутизной вечере, и вот линейка везет нас в Коктебель...

Какая темная ночь! Когда она сделалась? Только что был закат — когда подходил поезд... Это — стрекот цикад? (Цикады — это кузнечики?)

А сияние над той пустотой, где должно обозначиться море,— откуда оно, ведь луны нет? На темном небе еще более темные абрисы трех коктебельских гор — радостно, что их дарю ему я,— рассказываю о них Борису — он столичный житель, не видел ни моря, ни гор,— а летом — свою степь только — в именье... Ему, наверно, волшебно звучат имена: Сюрю-кая, Святая и Карадаг. Господи! Какое счастье дарить ему это... Уже подъезжаем. И сейчас рука в руке — к морю, *я подарю ему море!* Он не видел его никогда...

Линейка остановилась перед домом Макса Волошина. Пальцы путаются в деньгах, в ритуале расплаты. В то время как почти неслышный звук прыжка, легкого, нарушает стрекот цикад...

Я стояла одна на дороге, возле скамейки, на которую водружал возница — Борисов еле зримый чемодан.

Почти как удар грома — мое одиночество, и горький мой путь вслед исчезнувшему Борису — к морю, уже им оладевшему, неподаренному ему. Возвышаясь силуэтом над рокотом моря, стоял мой Борис, скрестив на груди руки, и — голосом мрака, гордости, торжества — отрешенно и все-таки упоенно шли над морем слова Полежаева:

Я видел море, я измерил
Очами жадными его
И пред лицом его поверил
Я мощи духа своего...

Отстранив *меня* — нацело...

Мой *первый* любовный опыт!

...Но день идет, и мы позваны к Максу, в мастерскую, в его круглооконную башню, и я в парадном темно-зеленом костюме сижу в кресле, как моему возрасту подобает, и, смеясь, внутренне, этому, отвечаю телевидчику Диме — он режиссер фильма — на вопросы о почти легендарной уже старине тут, в этой вот мастерской... Плохо, по-моему, говорю, не в ударе, не можется что-то, но это мой долг Марине — и стараюсь, вспоминаю и повторяю, говорю стихи.

Годы со счета долой! Тут это было, перед этими окнами, у лесенки антресоли, вдоль книжных полок, но только не я, а мы, вдвоем, в унисон, в два неотличимых голоса — Господи! из каких невозвратных далей эти почти веселые, юные голоса?

Мы быстры и наготове,
Мы остры,
В каждом взгляде, жесте, слове,
Две сестры.
Своенравна наша ласка
И тонка,
Мы из старого Дамаска
Два клинка.
Прочь, гумно и бремя хлеба
И волы —
Мы взятнутые в небо
Две стрелы!
Мы одни на рынке мира
Без греха,
Мы из Вильяма Шекспира
Два стиха...

Марина — выше, плотней, Ася — меньше, у обеих кудри до плеч, русые. Никогда не в одинаковых платьях, всегда в разных, и хоть похожи, но разны, и никаких нежностей телячьих, как в ходу у сестер,— спартанство. Взгляд, неуловимый кивок, улыбка, каждая утверждаясь в другой...

Да, но в мастерской этой читали стихи не мы одни — читал Осип,— и, выгнув голос лебединым движением Мандельштама,— его, тогда говорили, 14 лет стихи:

Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать,
— Господи! сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать...

Божье имя, как большая птица —
Вылетело из моей груди,—
Впереди густой туман клубится
И пустая клетка позади!

А от окон — подсказ:

...Бессонница. Гомер. Тугие паруса...

Нет, я этого говорить не буду — *Маринино!* (Я ведь для того — такою старухой здесь...)

И льются в воздух мастерской строки 1914 года, столько раз прозвучавшие двойным голосом; итог стольких бессонных ночей — юности...

После бессонной ночи слабеет тело,
Милым становится и не своим,— ничьим.
В медленных жилах еще занывают стрелы —
И улыбаешься людям, как серафим.

После бессонной ночи слабеют руки,
И глубоко́ равнодушен и враг и друг.
Целая опера — в каждом случайном звуке *,
И на морозе Флоренцией пахнет вдруг.

Нежно светлеют веки, и тень золоче
Возле занавших глаз. Это ночь зажгла
Этот светлейший лик,— и от темной ночи
Только одно темнеет у нас — глаза.

Когда-то в моей книге «Дым, дым и дым» я писала: «Маринина смерть будет самым сильным, глубоким, жгучим — слова нет — горем моей жизни...» и «Мой голос... жутко покажется мне — половиной расколотого инструмента»,— как я могла предвидеть?..

И для чего я говорю эти стихи Марины сегодня? Этим случайным людям... Но ведь они любят Марину... Да, стихи я могу, но счастье тут Марины с Сережей — оно только во мне.

И тут — Спутник мой (большой, как некогда Макс!), это я ему говорю муку Марины, мою, на него вею ветерком юности... И уже просьба мне — встать и пройти вдоль мастерской, будет снимок, нужный для фильма, и я иду, и лащусь о Максовы стены, и говорю, что мне радостно видеть, как все тут осталось, как было, кроме — голос мой холодеет,— кроме вынесенного стола, им самим сделанного, он должен стоять здесь... Его вынесли для удобства экскурсантов. Это — грех, пусть потеснятся.

...Опять вечер! Как скоро! Веселая трагическая Оксана, астматик, могущая жить только здесь (а мать ее — в Минске), ведет нас к меня навестившей днем Ире Маховиной — поэтессе, художнице,— и Спутник ведь тоже художник, передавший дочери дар — сдала в Художественное училище! — ему будет радость, все стены ее увешены этюдами и портретами. Но не только собаки льнут к Спутнику моему, а и кошки, а кошек у Иры — две, мать и сын, и уже из-под пальто (у Иры свежо), у груди его ластится пестрая кошка, рыжебело-черная, не поймешь, в сумасшедших разводах, всеми росчерками своей шерсти, своей красоты сразу признавшая гостя, пока я глажу ее рыжего сына, темно- и светлорыжего, дар рисунка от матери своей повторившего тигровоолеопардовыми разводами.

А гость бессовестно изменяет кошке, он поглощен творчеством Иры, загляделся девушкой-эльфом, над водою летящей, в сочетании с тяжестью гор, создающих достоверность образа,— и все это в легчайшей пастели...

Но время не ждет, и мы уже вновь в зимней морской ночи, полуутопая обувью в таянии снега, подходим к жилищу Оксаны... Уют, женственность. И гитара в руках, и мелодический голос ее ведет за собой струны гитары, она положила на музыку стихи Макса, Марины; заслушался гость.

(Опять по ночным записям! Неужели — не может быть! Чтобы в том же блокнотике, в полутьме — на кусках — не прочтется? Мелко, теряю зрение... То, что так зажглось

---

* Пра — Елена Оттобальдовна Волошина, мать поэта (от «Праматерь»). *(Примечание редакции.)*

* Цитирую первый вариант, потом она кое-что меняла.

под пером, рвалось к бумаге, но еще был законный час сна, я себя уговаривала, записав, лечь,— и опять, как тот раз, зря? Не прочту? Нет! В путь по записям, осенив себя крестным знамением,— ведь не в грех иду, а может быть, сумею рассказать, как идти, Искусство, по берегу греха, не окунуться!..)

...Но надо сказать об Ире, о ней самой. По-моему, она ростом со Спутника? (Другого измерения, чем я. Ее голова — так высоко!) Крупная, большеглазая, сама на кошку похожая. Увлеклась в юности, как я. А последнего мужа, обратив в веру, отпустила в монастырь — разве не удивительно? Что-то очень родное — мне в Ире!

А Спутник не только художник, он — писатель. Мы (лет 5—7 назад?), поэтесса и переводчица Женя Кунина, сестричка моя, и я: «Такой врач, да еще художник,— пишет?» Мы ждали его — с трепетом: *как* объяснить (он *так* умен?), что пишет он — ну... *ниже* себя врача, что ли? Был вечер. Мы слушали, занемев... *Этот человек пишет — прекрасно!* Мы еще потому не верили, что сказал, что прочтет *нам* — о *сельской* жизни! Городской житель. Но он просто сказал: «Я по распределению был послан — в деревню. Я 3 года там жил».

Как мы его поздравляли! Но — работа — дежурства ночные, *такая* профессия — вырывать у смерти больных! — встречи редкие, и прошло — 4? 5? лет, пока я услышала — его отроческие дни. Как тонул. Как за отвагу боролся, понимая, что в *ней* — жизнь...

Превосходно написано! И затем, еще раз — фантастика? Касание к необычному!

И эта любовь животных к нему...

Раз он *так* понимает мое, и так *свое* пишет — мы что, парой впряжены в колесницу? И тут, в Коктебеле, набираем с ним — «материал»? А в этой поездке я под его рукой, как под шатром. (Как трудно понять все: я ему — мать, а он мне — врач, отец, что ли? Это как-то ни на что не похоже...)

...И эта, уже 14 месяцев, моя (невралгия на почве остеохондроза шейных позвонков) постоянная головная боль, которой и он тоже не может помочь? Как же это иначе понять, чем Богом посланная болезнь, и ей только одно лечение — терпение?..

Но как *нежно* карает Бог, милостиво испытывает: боль, но при ней я могу писать, от нее отвлекаюсь — дружбой, встречей с друзьями, радостью о собаке... Правда, я отмечаю в себе некую приглушенность чувств — ведь *волнения* от встречи с бухтою Коктебеля, с морем, где была и счастлива, и несчастлива на протяжении долгих лет,— волнения во мне — нет? Или только человек может меня взволновать, а природа — уже нет? Или эта немота — не от болезни, а только от возраста? А тот поэт с бакенбардами — неужели *забыл* сказать обо мне Мусе Изергиной? Не идет ведь... А мне — к ней с постоянной заботой о смене обуви по такой дороге... И вдруг не застану, а может быть, она — в доме, а Джим — пес ее, когда-то щенком у меня на коленях — не узнает у калитки меня, бросится? Вот и вспомнишь тут телефоны московские, которые там *выключаешь!* Как бы включить от Муси ко мне — теперь... Но пока еще есть время — ее ждать!

И как *всё — нельзя*, чего ни захочешь — телевидение, «фильм»,— а ведь никто из начальства к нам не пришел. В доме-музее Макса про безобразие со столом Макса сказать некому и придется действительно в крымский центр, в газету писать! И кому, как не мне,— нас, друзей Макса, почти уже не осталось! И на вышку нельзя, откуда в 1914 году на затмение солнца смотрели за десяток дней, помнится, до начала войны,— «запечатана» вышка; и в летний кабинет Максин — нельзя, где он прятал в войну гражданскую «и белого офицера и красного командира», как сказано в его Доме Поэта,— Макс любил повторять строки поэта французского: «Je suis cet harpiste qui passe au milieu des armées» («Я тот арфист, который проходит между армиями»). А как точно пишется слово «арфист», я забыла, не помню... Рука, наверное, *сама* помнит — любопытно проверить... (Годы уже не читаю ни по-французски, ни по-английски, ни по-немецки, а как я любила — какой, не решить, больше,— эти три языка.) Летний кабинет, наш, где я при Марии Степановне отважилась переспать в 6°,— а у Таиах* спал Алеша Шадрин, «мое последнее земное очарование», в 78 лет... Он спешил мне — букет роз в день рождения, шел долго пешком, автобуса не было, он был на 16 лет моложе меня... седой красавец! (Умер от заболевания крови. Мне написал из обеих последних больниц.)

«Мое последнее земное очарование» — так Марина написала Евгению Ланну, а было ей 28 лет... Полвека позже повторено мной — об Алеше.

Запечатан кабинет летний! Куда, загромоздив, унесли стол Максов. Всё запечатано! Всё — нельзя! А при Максе всё было можно, в молодости...

И опять ночь, 3-я, и море бушует — как тогда бушевало. Юность. И как я была счастлива в тот вечер, когда вошел Алеша в столовую Марии Степановны Волошиной с донесенным мне букетом темно-алых роз! (Неужели еще счастливее — Марина с Сережей — тогда?)

А Муся все не идет... Как хорошо я помню ее 10 и 12 лет назад, в годы расцвета ее пения, которое мы слушали с Алешей Шадриным. Но надо рассказать, кто был тот, кого я звала «Алеша». Переводчик. И два слова о его биографии: молодость, красота, успех у женщин. И доносом одной из них — срок, лагерь. Много лет. Выйдя, жил с матерью; не женился. Поступил сразу на два факультета — романский, германский; получив четыре языка, к ним добавив им родственные, переводил со всех европейских языков, первоклассный переводчик. Когда я впервые его увидела, ему было за 60 лет,— красавец, седой, ультравоспитанный, по стереотипу церемонной вежливости; собеседник тончайший. Нас познакомил его учитель — профессор Мануйлов, в Коктебеле. Настолько он был не похож на всех окружающих — не очароваться было нельзя. Так ныне все в нашей стране очарованы Д. С. Лихачевым.

В переводах встречавшиеся стихи Шадрин переводил безупречно; как *поэт* — так переводя, нельзя не писать стихов,— на эти мои слова он только улыбался. Проводил меня на сельское кладбище, в волошинскую ограду, где и мать его, и мать матери, и друзья, умершие в Коктебеле, и Алик Курдюмов, 2 ½-летний, умерший от той же дизентерии, как мой сын Алеша, за 3 дня до него. Его отец, художник Курдюмов, после смерти сына был отвезен женой в психиатрическую больницу, где и умер: в Третьяковке — его картина исторического сюжета. Смерть наших мальчиков была в 1917 году. Уже без нас Макс и его вторая жена Мария Степановна посадили между их могил тамариск, он разросся над ними крышей.

В 1963 году, впервые после лагеря и ссылки приехав, я, с помощью Муси Изергиной, заказала Алику и Алеше крестик, под тамариском. В 1966 году мы разделили могилки, поставили два креста. Туда, к ним, меня проводил Алексей Матвеевич, что закрепило дружбу. Одноименность с Алешей еще более сблизила; я стала звать его — Алешей.

Еще сблизила нас, как и моя, его любовь к пению Муси. Все, что еще цвело романтического в нас,— под ее пение вспыхивало, как в молодости.

И всего больше сблизил нас Дом Поэта, где мы в те годы останавливались у вдовы Макса, Марии Степановны. И могилка Макса, наверху одного из холмов левого края бухты (так Макс обнял свой Коктебель краями, берегами бухты — справа своим, в горе, профилем, слева — могилой). У ее левого угла, переднего, рос кустик маслины — символ мира. Ныне разросшийся в большое шумное дерево, в ветре клонящееся над могилой. Большое единственное дерево на всех пустых холмах, указующее издалека путь к нему. Мы не раз с Шадриным ходили на его могилу. В последний раз, если память не изменяет, лет 9—10 назад, в мои 84—85 лет, его 68—69. Туда от Коктебеля мы шли 1 ½ часа (крутой подъем на последний холм), а назад вниз, полубегом — 1 час. Так мы тогда были еще «молоды»!

В Москве Алеша не раз еще посетил меня в моей новой, однокомнатной квартире на Спасской, где я живу с 1979 года — 9 лет.

(Все это я вспомнила под стук колес вагона Джанкой — Москва.)

Была ночь. Видимо, запоздав на транспорт, Алеша принужден был лечь у меня на раскладушке, позади секретера. Среди ночи я проснулась и увидела свет в левом углу, очень *низко*, должно быть, не спалось Алеше и он, неразрывный с книгами, стал читать. Но тут же эти мысли прервал — испуг: ведь квартира моя — на охране, как многие близ 3-х вокзалов Комсомольской площади, а начальник охраны, когда провели провода, сказал мне, чтобы никаких проводов *понизу* квартиры не проводили (освещение — все наверху, иначе спутают и нарушат охрану). А свет от Алеши шел *снизу*. Что он зажег? Как? Подойти? Я прокралась. Книга

* Царевна Таиах — жена фараона Аменхотепа III. Слепок с ее головы из Берлинского королевского музея находится в мастерской Волошина в Коктебеле. *(Примечание редакции.)*

выпала из его рук, он — мирно спал. Было сильное искушение — посмотреть, какую он читал книгу. Но я боялась его разбудить. И вдруг все затуманилось, свет погас — и в комнате, и во мне — погасло — как это могло быть? Ведь охрана поставлена всего 3 года, а Алеши нет уже лет — много...

(Я проснулась от стука поезда.)

Так это был сон! Явь же была та, что в Москве у меня он не оставался на ночь — ни разу... А *один* раз — когда в Голицыне он меня навещал в Доме творчества, заговорились и он опоздал на последний ночной поезд, он вернулся, и я его уложила на 2-х креслах и одеялах, и он, вытянув длинное тело, полулежа, так же мирно проспал, как он мне сейчас приснился,— так тесно слиты сон — с явью...

И не у меня ли, лет 50 назад, в стихах сказано:

О горькой жизни рок. Между землей и небом
Разомкнуты начала и концы,—
Как часто Сон и Явь, в часы затменья Феба,
Меняют ощупью свои венцы...

Все это я помнила и в ту холодную ночь в летнем Максином кабинете этажом выше, чем ложе под Таиах. А в ночь после вечера моего дня рождения, вечера роз и пения Муси, когда что-то вспоминал под романсы ее — Алеша, я, хлебнув мои очарования им, попросила у Бога Помощи, и помог Бог, внял молитве — настала ничем не омраченная дружба до самой его смерти...

Дом Поэта! Неописуемый, незабвенный Макс, поколения приездов к нему неисчислимого множества друзей со всей великой России, в его гостеприимный, поэтический, бедный дом. Дом Поэта, и его кроткая смерть, ранняя, в 56 лет, от болезни сердца и воспаления легких; и, как и он, неописуемая вдова, Маруся Волошина, Мария Степановна, хранительница заветов Дома Макса, на полвека его пережившая, Дома, где эти 3 дня было *все* запечатано — нам с телевидением и Спутником моим открыта одна мастерская.

Все возвращаюсь к тому дню моего рождения, когда Шадрин ушел за розами.

Я ждала его. *Знала*, что он ушел за цветами. (Галантность?.. Я не скрывала никогда — возраст. *Он* знал, сколько мне исполнится лет!) В этот вечер обещала петь Муся. Она знала, что ее пение — есть радость моих приездов сюда. Она помнила, как, среди ее старинных романсов, услыхав анненскую «Звезду», я вспомнила ту, другую, и, напевая по памяти, ввергая ее, певицу, во власть Иннокентия Анненского, легкими искусными перстами подбирая аккомпанемент,— запела. С тех пор эта «Звезда» звалась — моею. Прослушав то искрометное, то — словно смычком по виолончели — мастерское Мусино пение, я говорила, став за ее спиной или взглядом с ней обменявшись:

— Ну, а теперь — мою...

Вот «Звезда» — Анненского:

Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя...
Не потому, чтоб я Ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной молю ответа,
Не потому, что от Нее светло,
А потому, что с Ней не надо света.

Теперь, в 94, желая проникнуть в суть волшебства этих строк, которые я — да еще в волшебстве пения — прежде глотала целиком, так глотают устриц (я их никогда не глотала),— спрашиваю себя (Анненского): каков смысл последних двух строк?..

Последняя мне — туманно, но лирично звучит как утверждение, что Она *сама* свет. Да, но — этому противоречит строка предыдущая. И может быть, надо просто вспомнить «Алису из Страны Чудес» Льюиса Кэрролла, в некоем затрудненье изрекшую:

«— Я бы дала 5 центов (может быть, 25?) тому, кто бы мне объяснил».

А! Там тоже шла речь о стихах, кем-то немыслимым сочиненных, в которых *явно* смысла — не было, нарочито...

Но я бы хотела по-старчески сесть в кресло и хоть раз еще услыхать — в пении Муси Изергиной — эту самую «Звезду» Анненского...

В тот вечер просила Мусю еще немного подождать Алешу — он *так* ценит ее пение — как начать без него?

В уголку сидя, я глядела на прелестную, вечно юную Мусю, слушая блеск *ее с кем-то беседы*, и думала об одном: *как* войдет с розами — он пошел за своими любимыми, первосортными, далеко — может быть, искал? — как он войдет в комнату, где столько людей, *как* подойдет ко мне? С розами — мимо стольких дам, к — старухе? И когда он вошел — со стремительностью молодого и лавируя меж гостей — *прямо* ко мне,— где взять слова? У *меня* их — нет! И где взять слова о пении Муси в тот вечер? Когда, сидя рядом, мы вдвоем слушали песни — чью-то любовь — в такой передаче в грации голоса, ни с чем не сравнимого, память о ней — чью? *Мое* расставание с последней любовью? Память о ком-то — Алешину? О, в таком пении ревности — нет! Вечер мой, розы — мои, темно-алые — и *как* он их подал *мне!* (И сила — *без* музыки *воспоминания* об этом — сейчас! в 94 года...)

...Мой *последний* любовный опыт!

Какая это была ночь! Еще звучали в душе обе «Звезды» — та, «избитая» (душой прошлого века), и поздняя, строгая, изысканная, как портрет моего «последнего земного очарования», носящего имя моего маленького умершего сына — такое совпадение, не Богом ли посланное? Как это число «16», дважды повторенное: разница лет между им, седым красавцем, и мной, сохранившей только *напоминание* обо мне в зрелости; и второе «16» лет — промежуток между моей небесной любовью к нему и случайной поездкой теперь в Коктебель, радостно принятой моим сопровождающим, вдвое меня младшим, под его дружеской и врачебной рукой. Его же радость была в том, чтобы впервые в таких неожиданных обстоятельствах увидеть прославленный Коктебель! Он давно знал стихи Макса — и теперь увидит его Дом! Его море!

В эту ночь холод в летнем кабинете Макса был отменный, я водрузила на себя все возможное и невозможное, согревала же меня, добавочно, память о Мусином пении. В тот вечер, как всегда, когда я присзжала, Муся пришла петь — для *меня*, особенно вторую «Звезду», за три с половиной десятилетия мною в тюрьме слышанную, Иннокентия Анненского, в которой — полыхала душа стареющего Алеши, *так* слушавшего в тот вечер пение Муси, так, должно быть, свою жизнь вспоминавшего.

Не в тот ли вечер, не под эту ли «Звезду» я так, в последний раз, погрузилась в мое увлечение Алешей, что из него *вынырнуло* — в Искусство, в собственной душе — *освобождение!* Что уже совсем чистым сердцем бросилась сушить его очень большие ботинки, которые он промочил (меньшими и не могли быть по его стройному, высокому росту...), и теперь, их удобно и безопасно устроив на нужном расстоянии от Максимого калорифера, перекрестив Алешу, уже лежащего, благодарного, на одном из диванов под Таиах,— ушла к Максу наверх, в ледник только чуть-чуть холоднее, чем под Таиах, *убедив* Алешу грудой одеял и пальто уносимых, из которых он взял себе только одно,— а печурка уже погасла, не нагрев мастерскую...

И вот — эта ночь! В Максином кабинете пламенность моей молитвы о Помощи!

Все человеческие чувства (и старость, которою любовь выражается, на нее непохожая) имеют *дно*, будучи — *сами* — бездонны. И все повисает в воздухе, безвоздушном!

Помню, английский поэт Fitzgerald перевел стихи Омара Хайяма, перекликающиеся с Мариной, с моей зрелостью, годы назад упоенной Омаром Хайямом... Кто теперь мие на потребу процитирует позабытые, любимые его строки?

Наша жизнь *от* земли отлетает, *на* землю падает!.. Неутомимость любви — здесь... Выше, выше! Выше неутолеиность — неутомимость!.. Ибо выше всего — Образ и Подобие Божие, данное нам.

Неутоленная любовь — выше утоленной?

Отчего же так мил человек, так драгоценен, что в мгновенном *затмении* кажется драгоценней всего...

Господи! Ты, который *все* можешь, Чье Сердце, Его Ритм, Его Пульс (это я где-то прочла) бьется Чудесами (побеждая законы Природы), Ты, Который из грешника можешь сделать Праведника, Биением Твоего Сердца — неизбежными, неисчислимыми *чудесами*, самую суть всего составляющими... Сделай со *мной* маленькое, простое чудо — чтобы не искушалась я искушением, ничего *не* хотела бы *для себя*, чтобы я *легко* делала то, что я *трудно* делаю. *Чтобы я борола себя!* Я ведь знаю — не это ли мне в юности моей толковал Волошин,— что мы *получаем*, только когда *отдаем*, знаю и то, что надо жертвовать, не рассуждая и не ожидая — в ответ!

Научи меня *побеждать* себя...

Разве ие ясио, что все человеческие страсти и любовь, все человеческие возможности дадут *один* итог — пресыщение... Почему же мы так слабы, что хочется себе — хоть иемиожко... Ох, какая долгая иочь... Как холодно...

(Ничего не разберу в записях!) Но еще не предала в забвенье — как в день отъезда, когда я хотела просить телевидчиков довезти меня к Мусе — потому что она ие шла, а поэт тот, может быть, и не сообщил ей, что я тут,— вдруг весть: мы не в Феодосии грузимся в поезд с аппаратурой, а должны *сейчас,* чтобы не опоздать к поезду, лететь на машинах — в Джанкой, *такие* билеты достали... Прощайте, моя Мусенька! Летим в Джанкой.

О радость! По пути на поезд машина остановилась у домика комендаита кладбища Полины Леонидовны Грицкевич, недавно мне приславшей цветную фотографию Алешиной младенческой могилки — в цветах, она смотрит за нею, показывает ее спрашивающим, где тут сын Цветаевой, и говорит, что Марины Цветаевой тут нет — она далеко, в Елабуге. Старушка, которой я шлю нужиую ей гомеопатию, вышла ко мне — и мы обнялись. И машина помчалась...

По приезде в Феодосию 3 дня назад меня повели наискось от вокзала, к родиой «Астории», где в 1920-м, в первые дни здесь красных, давали даровые обеды — пулярды! — за работу в библиотеке Наробраза (пулярды скоро сменили — макаронами...) Мы со Спутииком успели только перейти путь, как подошел на Москву поезд. И вот мы едем, и нестерпимая жара вагона, просто нечем дышать!.. А скамеечки, на которых мы, нижних, лежим, так узки, как ни в одном поезде до сих пор! Юра стелет матрацы, и они с полок *спускаются.* Ночью я во сне просыпаюсь, повернувшись, лечу с моего места — и от чистого страха вот *сейчас* сломать шейку бедра, стать инвалидом — полупадая, повертываюсь в воздухе и кидаюсь к стенке,— спасена! И тогда я сбрасываю от жары одеяло, свертываю по ширине, толсто — и кладу на пол — чтобы, если еще раз полечу, не об пол, а об одеяло! И рикошетом — страх: что будет, когда утром, с чаем, войдет проводница, видя одеяло на полу?.. Но сон морит — я сплю...

Продолжаются мои ночные записи — Бог в помощь! Что добавить к этим страницам? О Москве, что продолжится?

Мои одинокие московские утра с ожиданием, что кто-то зайдет и дам мешочек измельченного хлеба — сойти во двор покормить голубей, знающих ритуал, как знают шаги хозяев своих — собаки: моя песенка им в окно с ритмическим стуком, и появление внизу человска с мешочком — и тогда с шумом вниз, с моего балкона, не ошибутся ни в чем никогда.

И мои одинокие вечера, когда я, проводив друзей,— одна, наконец, кончаю день, улыбаюсь рассказу друга моего Доброславы о ей подаренной кошечке с моим именем «Ася» — оттого и взяла,— как она с каждым днем все больше делается человском и неизвестно, что из этого получится...

И надо же, чтобы за год до того за ией увязалась Ася (собаку ей удалось переустроить в хороший дом — а Ася, кошка, прочно у них поселилась) и часики ручные Доброславины стала уносить — в мордочке, а не об пол, *поняв,* что они — живые, и осторожно каждый вечер их уносит во рту себе на потребу в уголок передней. (*Мне* урок: «Себе на потребу»! Но она — кошка, а я — человек, мне — нельзя.)

А поезд все мчится и мчится по бессоиным полям.

Спутник, после бессонных ночей, годы работая в реанимации,— сон побсдил жару,— слава Богу, уснул...

«Бедный, бедный Алеша!» — думаю я, листая тетрадку стихов, посмертную, присланных мне наследником Шадрина. Листаю и мысленно отмечаю то, что может пойти в печать.

Жизнь, должно быть, онять обманет,
Как бывало уж много раз,
Голько — как ты ей благодарен
За сегодняшний светлый час!

Читаю и узнаю его скрытую силу:

Когда ириходят под вечер метанья,
И одиночество, и дрожь —
Скажи себе: н это исиытанье,
И через это ты иройдешь!

Где та, о которой он пишет? Жива ли? Знаст ли, что его уже нст?

Мне б тебя лелеять н радовать,
Мне беречь бы в тебе мечту,
Но любовь моя — с иереиадами
И — с провалами в пустоту.

То — уиорные, иеуемные
К свету рвутся ее ростки,
То — ложатся иолосы темные
Отчуждеииости и тоски...

Читаю и думаю, с нежностью, о бедной его подруге... Дальше — следы эпохи прожитой:

Был неба свод и сер и слеп,
А на земле нам хлеб был небом.
Мы разговаривали с хлебом.
Был год: мы целовали хлеб.

Да, и голод был ему ведом, и тюрьма, и лагерь. Вспоминаю мельком сказанные слова, что женщиной был написан донос...

Бесиомощностью собственной унижен,
К себе войдешь н изумишься ты.
Ты виднш: кошка нюхает цветы
И в них травинку тоненькую нщет.

Что, если б так вот сам ты был мудрей,
Что, еслн б так на мнг себе повернл,
Иль иросто ноучился у зверей,
Откинувших свое высокомерье?

И еще, еще...

Что страхи, что — томленье, что — потери,
Разрозненности хаос н надрыв:
Бессоиница? — ириоткрывает дверн
Она теиерь в незримые миры.

И, может быть, былых раздумий троны
Прн ней лишь воедино сведены?..
Бессоннница моя! Мой позднпй оиыт
Полета. Постиженья. Глубины.

Об этом ли думал он, слушая пенье Муси Изергиной, взволнованно:

Пусть вел он к буре и к беде
Обоих нас от глади торной,
Я все отдам за этот день,
За взлет шагов н воздух горный,

За узнанную синеву
Средь низких туч нагроможденья,
За — это солнце сквозь листву:
Несбыточности иробужденье.

И вот — о тюрьме:

Везде вас хочу узнавать я,
Везде вы мерещитесь мне —
Чугунные прутья кроватей,
Чугунные прутья в окне!

Как нить, эта нямять иродлится,
Останутся всюду со мной
Небритые виалые лнца
С недавней на них сединой.

И взгляд их иотухший н кроткий,
Оглянешься ио сторонам —
Все те же шаги у решетки,
Все те же мешки но стенам.

. . . . . .

Чужие тяжелые доли,
Пожатья тяжелые рук,
И мысли о людях, о воле,
О жизнн, замкиувшейся в круг...

Даже после лет заключенья — вновь — бунт:

Я н так уйду успокоенный
Накануне Большой Беды.
Не хочу я жизни устроенной,
Тнхой прнстанн у воды.

А потом — тревоги задымленной,
И над гробом — толков кривых,
Я уйтн бы хотел без имени,
Без могилы и без молвы.

«Бедный, бедный Алеша! — думаю я.— Мой Спутник проснется — прочту ему то, что отметила. Он так все понимает!»

Перевернула страницу своего блокнотика — и ни слова понять! А столько в перо вошло! Ушло! И полет бурным утром строк — вверх, вниз — видно, как полыхало сердце... изнемог ум... полыхало! И в памяти вдруг — значение древнееврейского языка: «гур» это «лев», а *окончание* фамилии Спутника — «финкель» — немецкое «funkeln» — иначе не сумела бы перевести, как «полыхание»...

А дальше — 2 строчки блокнотика так любовно слились, что никто не прочтет никому...

Зачем я так спешила? Не упустить мысль, образ, вдохновение — каракуль, нечитаемо *навсегда*, все ушло, часть ночи ушла, откололась и отскочила — в забвение...

Ведь с юности поняла: все здесь — безнадежно, подвержено заживо — тлению, потому что мы, бессмертные, умираем каждый день, каждый час. И с юности не пойму, отчего же так *мил* человек, тленный, неверный, подверженный всем влияниям, как огонь на ветру? Что же светит в нем, как маяк в ночи, как лучина — в темной избушке? Образ и Подобие Божие? Мариной Цветаевой:

...Тем ты и люб, что — небесен...

Снова, как в молодости, *мы с ней в унисон*...

И опять эта коварная стихотворная лирика, в которой мы сожгли нашу молодость, вот она в старости, здесь...

Рукн люблю
Целовать, и люблю
Имена раздавать,
И еще — раскрывать
Двери!
— Настежь — в темную ночь!

Голову сжав,
Слушать, как тяжкий шаг
Где-то легчает,
Как ветер качает
Сонный, бессонный
Лес.

Ах, ночь!
Где-то бегут ключи,
Ко сну — клонит.
Сплю почти.
Где-то в ночи
Человек тонет.

Фантастика прошлого, 1911 года: Марина уже вжилась в Коктебель, меня ждали позже. Неузнаваемость впервые веселой, счастливой Марины — в шароварах, чувяках, загорелой, как мальчишка,— невероятный Макс и мать его, все больше похожая на карточного короля (безбородого!), Игорь Северянин, манерно нюхающий розы на кусте, испанка Кончитта, в Макса влюбленная («Как не понимает она, что Макс — общий, ничей?» — думала я), ее веер и смех, катящийся золотыми шарами, поэтесса Мария Папер, читающая ужасные стихи, несмотря на явность того, что ее не слушают. Один день до ночи, среди этого бреда, наутро превратившийся в явь: Северянин и испанка — брат с сестрой, Сережа и Лиля, Папер — еще сестра, Вера, однодневный спектакль, на мою изумленность. И мой в 15 лет ответный спектакль — не изумиться, как бы заспать «вчера» и *принять* «сегодня» — мои первые два дня в Коктебеле...

И фантасмагория настоящего: седобакенбардовый бард меня, в 94, зазвавший в «Травную чайную», где, как будто в зеркальных стенах, за каждым столиком — самовар электрический, и им управляет дама почтенных лет. Ни в одном чайнике — чаю, в каждом — эликсир трав, от которых мне — тошно... Но, нацело отвратясь от современного бреда, я тщусь поднять с колен — красавицу юную, должно быть, что-то мое прочетшую, что ей по душе, и в ответ на ее поцелуй на моей старой руке — я, целующая ее ручку. Она, как и я, «отсутствует», а работает она на заводе, на каком-то кране... фантастика! И Спутник, все в себя, писателя, вбирающий, меня от всего защищающий. И настоящая темная ночь, звезды над снегом. И память о Марине с Сережей, их — вечном, надо всем — *счастье*...

...Темная ночь, и по ней несется наш поезд. Спутник покрыт простыней, и голова к окну — не простудится? (Отчего, пока мы тут, а не в вечности, все время о чем-то страдаешь? *Без* перерыва...)

Пациентка старается дотянуть простыню выше — к шее врача, и врач просыпается.

Рассказ о темно-красном одеяле, на полу. И тогда пассажир, Спутник, врач, с врачебным спокойствием подымает свое сброшенное одеяло, темно-красное, и, не складывая, целой горой, бросает *свое* — на мое. На полу, рвущемся на рессорах, по рельсам, целая Сюрью-кая! И ничего не боится Спутник, даже самой проводницы. Да я под его рукой — как в шатре!

Мы проехали Харьков... Это уже не Крым, Россия.. Надо уснуть — и заспать все: молодость, старость... И вдруг — опять Алеша Шадрин! Господи, помоги! Лет 8 спустя, когда ему уже было 70, он, приехав из Петербурга в Москву, быв у меня, рассказал, в смущении, что им увлеклась девушка 16-ти лет (роковое число 16!). Он не знает, что делать... Оттолкнуть, как бы мягко это ни сделал... Он, может быть, не договаривал, что сам *он*, в 70... что *ему* в сердце вошла девушка эта... *Как* я просила его — устоять! Не искушаться, ибо тут нет будущего, а ради одного настоящего... Я уговорила его — *пожалеть* ее! В будущем? Он слушал, смятенно...

Я боролась за его достоинство, *за его душу*... Мне радостно вспомнить, что он «внял голосу разума»... что он — устоял... Быть может, и Юре, *в его будущем*, предстоит такое... Господи, помоги ему в тот день!

...*Уже* вспоминаю. В завтрак, обед, ужин 3 дня Спутник кротко ест невкусную еду, не снисходя говорить о ней.

И вот — печатями на последней странице моего дневничка путевого «Зимний старческий Коктебель»...

Первой печатью — письмо в Москву Муси Изергиной, 75-летний голос которой до сих пор в душе моей звучит — над роялем Маруси Волошиной, где (по легенде ли, в яви ли?) играли и Скрябин и Рихтер,— и с которой я дружу более 20 лет (ей 80),— почти отчаяние о *невстрече*... *Не* знала, что я в Коктебеле, потому что никто не сказал!.. *Так* хотела со мной свидеться, ведь так давно не видались — трудно поверить, что такое — случилось, что я *была* в Коктебеле целых 3 дня...

И еще печать: весть — после нас снег стаял, настало тепло, поэт снова купался!..

(Значит, для *нас* он лег и лежал — как иначе?)

Третья — голос в телефон телевидчика, режиссера фильма о Марине, сестре моей: «Здравствуйте, я просмотрел материал — очень складно получится...»

А в Москве — еще не зима, и зимний Коктебель кажется — сном, и с этим ничего не поделаешь...

Вспоминаю: как хотелось мне, чтобы и Спутник *был* со мной на могилке моего сына Алеши,— но я умолчала об этом, и он, поручив меня Оксане, хотел остаться, не умножать простуды. Поэт пытался меня удержать от похода на кладбище по такому снеготаянию: «Там очень грязно...» Я ответила: «Кладбище — на горé, с него все стечет...» Обращаюсь с молитвой о помощи мне *идти* — и тотчас к дверям подъезжает телевизионная машина, вернувшаяся из Феодосии. И мы едем, и Спутник — со мной.

...Москва! Коктебель — приснился? Но ко мне пришел Спутник — и я ему прочту все, что тут мной написалось. Он — писатель, на его суд. Сказала — я? Не сказала (лучше поздно, чем никогда), что я уже 12 лет называю его сенбернаром, и хоть много собачьей — выставочной — красоты сошло с него в ночи реанимации — но это тот же заслуженный Сен-Бернар, в Сен-Готардских горах, спасающий заблудившихся путников — силой лап, роющих снег альпийский,— и в руки принимающего, разбуженного сующий бочоночек с ромом...

Сегодня он мне принес фантастической красоты ветвь винограда — «Крымского»!

И мой самый любимый, детским пряником пахнущий бородинский хлеб!

И я прочту ему, выслушаю его суждение — и вот я дописываю то, что не удалось сразу,— мое горе невстречи с Мусей, долг подчиниться спешке машин, чтобы не опоздать к поезду,— не в родную Феодосию — тогда бы я к Мусе *успела!* — а в Джанкой (мы за три минуты домчались до прихода московского, и два сердца — Мусино и мое — бились негодованием и горечью)...

Сердца Алешиного *здесь — уже нет!*

Но память о прожитом, пережитом, перестраданием — вечна, и да будет *ей пухом* — земля...

И — которой печатью? — на этих страницах — слова по нашему возвращению в Москву моего сына: «Я следил за погодой Крыма — снег! Вы осенью с севера на юг — ехали. Обошлось? Но *без* Гурфинкеля было бы *безумием* ехать!»

«Да, ты был прав, Юра — прекрасный Спутник!»

«ПОЭТЫ УМИРАЮТ В НЕБЕСАХ...»

Почему так тяжело писать это предисловие? Эта маленькая трагическая поэма написана была двадцатилетним киевским поэтом, которого нет в живых уже... два десятилетия... Жил в Киеве юноша — цельный и светлый. Навеки таким остался в памяти — щедро одарила его природа-мать талантом, мудростью, чистотой, врожденной деликатностью и сдержанностью, столько много всего уделила ему, что сама и позавидовала, удивилась своей щедрости — и укоротила ему жизнь лейкемией. С достоинством молодого мужчины-рыцаря встретил поэт ее величество Костомаху, сумела она отобрать у него только жизнь. Осталась поэзия — цельная и светлая.

Леонид Киселев всегда поражал чистотой своего мышления, бескомпромиссностью характера, удивлял умением говорить о главном, существенном, оставляя молчанию ту бесплодную тарабарщину, над освоением которой трудятся бесчисленные легионы, пригвожденные к перу.

Деликатная сдержанность порывов, тихая юношеская мудрость — и вдруг такой гром, исхлестанный огнем безжалостной иронии. Юноша созревал вместе со своим временем, вместе с незабываемыми шестидесятыми и пытался все узнать, все получить из первых рук, не сверяясь ни с кем, всему дать свои обозначения и координаты, дойти до своего собственного разумения и понимания, а не обходиться общеизвестным отношением к вещам, к идеям, к миру.

Именно эта тенденция к первоосвоению материала, к раздеванию популярных легенд и утверждению своей первоправды родила из мальчика поэта, к голосу которого мы прислушиваемся и сейчас.

А правда о трагической судьбе Осипа Мандельштама, как и правдивейшие легенды о Лесе Курбасе, Тициане Табидзе, Егише Чаренце, Павле Васильеве — все они наполняли атмосферу шестидесятых годов морозной жестокостью истины, все они подвигали к бескомпромиссности и чистоте. Добрая, отзывчивая душа молодого Леонида Киселева обожглась этой правдой и оставила это первооткрытие в стихах. Они просто необходимы современному читателю.

Иван ДРАЧ

Леонид КИСЕЛЕВ

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

Злобная поэма

Он иначе сочетал слова,
Может, в этом все его несчастье
И секрет недобрый этой власти —
Колдовства, безумства, мастерства.

☆☆☆

Все рифмуют с Лермонтовым лето,
Все рифмуют с Пушкиным гусей.
Мандельштам неистовой кометой
Врезался в земную карусель.

Скучные рожденья и кончины,
Ткань времен в лишаннах канвы.
Безнадежно мертвенны мужчины.
Безнадежно женщины мертвы.

Рвется в эту скаредность и хворость
Сквозь пространство скудосердых лет
Обреченный, выморочный голос,
Вырванный из времени поэт.

Вырвавшийся смерчем. Обелиском
Вставший на скрещенье двух путей:
Пушкинской, державинской, российской —
И своей поэзии.
Своей.

☆☆☆

Этих строчек хриплое дыханье
И метафор рвущаяся прядь.
Невозможно жить его стихами,
И легко, и просто умирать.

Русская поэзия

Дайте Тютчеву стрекозу,
Догадайтесь, почему.
Венивитинову розу...
Остальных на Колыму.

Дайте пулю Гумилеву,
Сам предвидел, сам просил.

Пусть сердит живое слово
От наркомовских чернил.

Убивайте, чтоб уснули,
Чтоб не встали, сдохли чтоб.
Бейте пулей, верной пулей,
Ртутной пулей в бледный лоб.

Убивайте, ваше право,
Ваша служба, ваша власть.
Ты швыряешь нас, держава,
В окровавленную пасть.

Бережет тебя начальство
От невзгоды от любой.
Но подумай: в смертный час твой
Кто останется с тобой?

Читая «Воронежские тетради»

Мимо, мимо! Затаи дыханье.
Мимо, мимо! Позабудь все слова.
Теплый ветер твоего дыхания
Медленно раскачивает слово.

☆☆☆

Кровью вымараны в списках
Золотые имена.
И словесности российской
Не отмыть того пятна.

Красный лед на мерзлых плитах,
Синий снег пространств иочных —
Стыли судьбами убитых,
Стали судьями живых.

☆☆☆

Нет, не мигрень, но подай
карандашик ментоловый.
О. МАНДЕЛЬШТАМ.

Не мигрень, я уверяю вас —
Элегическая грусть.
У полковника Ширяева
Бритый череп, черный ус.
У полковника Горячева
Белый чубчик, рыжий ус.

Не мигрень, ни в коем случае —
Мимолетная тоска.
От мигрени средство лучшее
Шевелится у виска.
Вороненое и жгучее
Ваше средство у виска.

Ах, полковник, вам бы птичкою,
Мне бы розою цвести,
От мигрени поэтической
Не спастись и не спасти.

Та мигрень великим бедствием
Осеняет мой народ.
Я боюсь ее пришествия
И боюсь, что не придет.

Потому что дар пророчества —
Не медаль, не заслужить...
...потому что очень хочется
Хоть немного, а пожить.

Но душа моя — не пленница,
И когда настанет день,
Я приму по праву первенца
Эту алую мигрень.

И вселенная в агонии
Ляжет навзничь у огня.
И тогда придут полковники,
Чтобы вылечить меня.

☆ ☆ ☆

Рассказывают, что Осип Мандельштам умер в лагере на помойке, подбирая объедки.

Поэту невозможно умереть
В больнице или дома на постели.
И даже на Кавказе, на дуэли
Поэту невозможно умереть.

Поэту невозможно умереть
В концлагере,
В тюремном гулком страхе,
И даже в липких судорогах плахи
Поэту невозможно умереть.

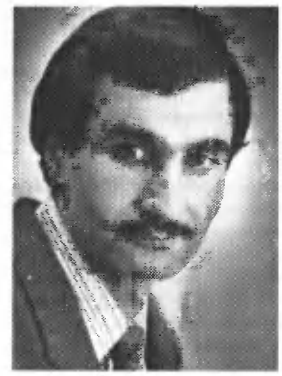
Поэты умирают в небесах.
Высокая их плоть не знает тленья.
Звездой падучей, огненным знаменьем
Поэты умирают в небесах.

Поэты умирают в небесах.
И я шепчу разбитыми губами:
Не верьте слухам, жил в помойной яме,
А умер, как поэты, в небесах.

1967

Публикация С. КИСЕЛЕВА

Поэзия



Армен АКОПЯН

Как же?..

Как примириться с празднословьем —
Вразлад с реальностью —
смогу,
Приму ли послуха условье,
Когда другое наяву?
Как же приладиться к застою,
В огне сжигая идеал,—
Лишь с тем,
чтоб пыльный ветер, воя,
Жизнь,
как полет,
с пути сбивал?..

Нареченье

Астхик,
Армянская Венера,
Всех тех,
кого любил,
Кого люблю,
Пред твоим
Пресветлым ликом
Я нарекаю
Именем твоим,—
И знаю,
ты
Отпустишь им грехи
И от недугов исцелишь,
Благословляя
Улыбкою
На избранном пути.

В мастерской шаблонов

Здесь,
в подпольной мастерской,
видоизменяются
старые шаблоны...
Штампуй,
что хочешь,
корыстолюбивый хозяин,—
только брось свою затею
для совести формовки отливать,
прошу добром,
спрошу и по закону:
свобода совести
не подлежит стандарту.

Причина грусти

Как беспощадно чувство
Разоблаченья веры,
Мистификациям которой ты внимал,—
В сто крат прискорбией
Промедленье,
Когда обман
уму и сердцу ясеи.

Закон жизни

Как страстью сбитое дыханпе,
Все,
все уймется
в свой черед,
И быть началом
окоичанпю,
Пока дыхание живет.

☆☆☆

Господи,
куда стремится жизнь людская!
Как от зла очистнть истину,
где те,
Кто возвысит
силу честности,
взывая
К первородной
непреложной доброте?..

Перевел с армянского
С. БОБКОВ

Леонард ЛАВЛИНСКИЙ

Голос

О чем ты думал у святого гроба,
Когда струилось горе по щекам,
И обрастала классовая злоба
Проклятьями сбежавшим колчакам?
Твоя взила. Гордись, товарищ Коба.
Железо хватки. Профиля чекан...

Тебе ие страшно в грохоте оваций,
Когда ревет восторжеипо толпа,
С колхозниками братски целоваться?
Рука вождя иа ласку не скупа:
Тюремпым кулаком охотнорядца
Проламывает людям черепа.

А в иебе крылья расправляет Громов...
Скажи, творец великих переломов,
Не устает ли радостная медь
Победнымп оркестрами греметь,
Когда увечат ленинских иаркомов?
Гордишься, Коба? Смертнпку ответь.

Реквием

Философы поверженных империй,
Оракулы исчезнувших держав,
Из праха допотопных суеверпй
Вы столько наготовили отрав!
Неважно, кто — Нерон нлн Тнберий —
Устронт вакханалню расправ.
До неба след потянется, кровав.
Но вы труху возвышенных матерпй
Рассыплете, и, глядь, убнйца прав.
Упал герой — фнлософ цел и здрав.
Земля не опечалена потерей.
А время длнтся... Перья растрепав,
Качают головами сорных трав
Оракулы поверженных нмперий.

Фонтан

С трудом четыре снлача
Вздымали чашу — лнца хмуры.
Струя фонтана, лопоча,
Туманцем кутала фигуры.

Мрачнелн гипсовые лбы,
А с подбородков каплн пота
Стекали. Мужество борьбы.
Глыбастых мускулов работа.

Изнанка временн груба.
Творец гармонни ошнбся:
В бассейне лопнула труба,
Лежат на дне осколкн гипса.

Исчезли сумрачные лбы
Единой формы н размера.
С победой вышла нз борьбы
Надсадной тяжестн химера.

Каркаса ржавые мослы
(Фонтан иссяк) торчат без цели.
А помню, в клубах тонкой мглы
Пугливо радуги внселн.

Изгнание Вийона

...Жил Вийон рассеянно н бурно.
Виделн в подзорную трубу
При его рожденьн меч Сатурна.
Это, полагали, очень дурно.
И сулнт недобрую судьбу.

По Внйону плакала веревка,
Тосковали рукн палача.
Но бродяжья муза — не воровка.
Сам король хихикал, бормоча
Дерзкне куплеты рнфмача.

Сочинял бы умник пасторалн!
Бунтарям нужна частнца «бы».
Срам нзгнанья принял не вчера лн?
Даже след Внйона потерилн:
Меч Сатурна, омуты судьбы.

Уходи в бессмертне, скиталец,
Озареиный факелом стнха!
Дураки с поэтом расквнталнсь.
Черепов саиовная труха
Не расскажет людям, что глуха.

Наследие

Надежда МАНДЕЛЬШТАМ

ВОСПОМИНАНИЯ

Заключительные главы

Готовя к публикации заключительные главы книги Надежды Яковлевны Мандельштам «Воспоминания», мы неожиданно узнали, что, несмотря на объявленный нами анонс, журнал «Смена» (№ 5 за этот год) перепечатал с некоторыми сокращениями две главы — «Дата смерти» и «Еще один рассказ». Возник вопрос: следует ли повторять эти главы в нашей публикации? Мы решили — следует. Во-первых, потому, что, печатая воспоминания вдовы поэта, невозможно исключить из них те страницы, где она рассказывает, что ей известно о его смерти. Кроме того, читатель «Юности» не заслужил, чтобы его заставляли искать столь важные главы в другом издании. Да и творческая воля автора была бы грубо нарушена такими хирургическими операциями над книгой. Во-вторых, мы издаем «Воспоминания» без каких-либо сокращений, по авторизованному тексту, отличающемуся от того, который лег в основу зарубежного издания (откуда «Смена» перепечатала указанные две главы). Мы учитываем также позднейшие поправки и примечания Надежды Яковлевны. Все это и побудило нас не менять первоначального замысла: вы прочитаете заключительные главы в их полном виде.

Журналисты из «Правды» — «правдисты», как мы их называли,— рассказывали Шкловскому: в ЦК при них говорили, что у Мандельштама, оказывается, не было никакого дела... Разговор этот произошел в конце декабря или в начале января 1939—40 года, вскоре после снятия Ежова, и означал: вот что он натворил... Я сообразила это и сделала вывод: значит, О. М. умер...

Прошло еще немного времени, и меня вызвали повесткой в почтовое отделение у Никитских ворот. Там мне вернули посылку. «За смертью адресата»,— сообщила почтовая барышня. Восстановить дату возвращения посылки легче легкого — в этот самый день газеты опубликовали первый огромный список писателей, награжденных орденами.

Евгений Яковлевич поехал в этот праздничный дом в Лаврушинском переулке, чтобы сообщить Шкловским. Виктора вызвали снизу, из квартиры, кажется, Катаева, где попутчики вместе с Фадеевым вспрыскивали правительственную милость. Это тогда Фадеев пролил пьяную слезу: какого мы уничтожили поэта!.. Праздник новых орденоносцев получил привкус нелегальных, затаившихся поминок. Мне только неясно, кто из них, кроме Шкловского, до конца сознавал, что такое уничтожение человека. Ведь большинство из них принадлежало к поколению, пересмотревшему ценности и боровшемуся за «новое». Это они проторили путь сильной личности, диктатору, который, действуя по своему усмотрению, может карать и миловать, ставить цели и выбирать средства для их достижения.

В июне сорокового года брата О. М., Шуру, вызвали в загс Бауманского района и вручили ему для меня свидетельство о смерти О. М. Возраст — 47 лет, дата смерти — 27 декабря 1938 года. Причина смерти — паралич сердца. Это можно перефразировать: он умер, потому что умер. Ведь паралич сердца это и есть смерть... и еще прибавлено: артериосклероз. И я вспомнила, что говорил Клюев о своих ранних сединах.

Выдача свидетельства о смерти была не правилом, а исключением. Гражданская смерть — ссылка, или, еще точнее, арест, потому что сам факт ареста означал ссылку и осуждение,— приравнивался, очевидно, к физической смерти и являлся полным изъятием из жизни. Никто не сообщал близким, когда умирал лагерник или арестант: вдовство и сиротство начиналось с момента ареста. Иногда женщинам в прокуратуре, сообщив о десятилетней ссылке мужа, говорили: можете выходить замуж... Никто не беспокоился, как согласовать такое любезное разрешение с официальным приговором, который отнюдь не означал смерть. Как я уже говорила, я не знаю, почему мне оказали такую милость и выдали «свидетельство о смерти». Нет ли в этом какой-то подоплеки?

В тех условиях Смерть была единственным выходом. Когда я узнала о смерти О. М., мне перестали сниться зловещие сны. «Осип Эмильевич хорошо сделал, что умер,— сказал мне впоследствии Казарновский,— иначе он бы поехал на Колыму». Сам Казарновский провел ссылку на Колыме и в 44 году явился в Ташкент. Он жил без прописки и без хлебных карточек, прятался от милиции, боялся всех и каждого, запойно пил и за отсутствием обуви носил крошечные калошки моей покойной матери. Они пришлись ему впору, потому что у него не было пальцев на ногах. Он отморозил их в лагере и отрубил топором, чтобы не заболеть заражением крови. Когда лагерников гоняли в баню, во влажном воздухе предбанника белье замерзало и стучало, как жесть. Недавно я слышала спор: кто выживал в лагерях — работяги или те, кто от работы уклонялся. Работавшие надрывались, а уклонявшиеся пропадали из-за недостатка хлеба. Мне, не имевшей ни доводов, ни своих наблюдений и примеров в защиту той или другой теории, было ясно, что вымирали и те, и другие. Немногочисленные люди, которые выживали, составляли исключение. Иначе говоря, спор напоминал сказку о русском богатыре на перепутье трех дорог, из которых каждая грозит гибелью. Основное свойство русской истории, непреходящее, постоянное, что богатырю и не богатырю всякая дорога грозит гибелью, из которой он может лишь случайно вывернуться. Я удивляюсь не этому, а тому, что кое-кто из слабых людей действительно оказывался богатырем и сохранил не только жизнь, но и светлый ум и память. Таких людей

Окончание. Начало см. в №№ 7—8 за 1989 год.

я знаю и рада бы перечислить их имена, но еще не стоит, и потому помяну того, кого мы все уже знаем,— Солженицына.

Казарновский сохранил только жизнь и разрозненные воспоминания. В стационарный лагерь он попал зимой и запомнил, что это было голое место: осваивались новые площади для огромного потока каторжан. Там не стояло ни одной постройки, ни одного барака. Жили в палатках и сами строили себе тюрьму и бараки. Осваивали новую землю для новых поселенцев.

Я слышала, что из Владивостока на Колыму отправляли только морем. Бухта замерзает, хотя и довольно поздно. Каким образом попал Казарновский зимой на Колыму? Ведь навигация должна была прекратиться... Или первый его стационарный лагерь находился не на Колыме, и его отправили этапом куда-нибудь неподалеку, чтобы разгрузить пересыльный лагерь, так называемую «пересылку», набитую до отказа прибывающими на поездах ссыльными... Этого мне выяснить не удалось — в больном мозгу Казарновского все перепуталось. А между тем для датировки смерти О. М. мне следовало бы знать, в какой момент Казарновский покинул «пересылку».

Казарновский был первым более или менее достоверным вестником с того света. Задолго до его появления я уже слышала от вернувшихся, что Казарновский действительно находился в одной партии с О. М. В «пересылке» они жили вместе, и как будто Казарновский чем-то даже помог О. М. Нары они занимали в одном бараке, почти рядом... Вот почему я в течение трех месяцев прятала Казарновского от милиции и медленно вылущивала те сведения, которые он донес до Ташкента. Память его превратилась в огромный прокисший блин, в котором реалии и факты каторжного быта спеклись с небылицами, фантазиями, легендами и выдумками. Я уже знала, что такая болезнь памяти — не индивидуальная особенность несчастного Казарновского и что здесь дело не в водке. Таково было свойство почти всех лагерников, которых мне пришлось видеть первыми,— для них не существовало дат и течения времени, они не проводили строгих границ между фактами, свидетелями которых они были, и лагерными легендами. Места, названия и течение событий спутывалось в памяти этих потрясенных людей в клубок, и распутать его я не могла. Большинство лагерных рассказов, какими они мне представились сначала,— это несвязный перечень ярких минут, когда рассказчик находился на краю гибели и все-таки чудом сохранился в живых. Лагерный быт рассыпался у них на такие вспышки, отпечатавшиеся в памяти в доказательство того, что сохранить жизнь было невозможно, но воля человека к жизни такова, что ее умудрялись сохранять. И в ужасе я говорила себе, что мы войдем в будущее без людей, которые смогут засвидетельствовать, что было прошлое. И снаружи, и за колючей оградой все мы потеряли память. Но оказалось, что существовали люди, с самого начала поставившие себе задачей не просто сохранить жизнь, но стать свидетелями. Это — беспощадные хранители истины, растворившиеся в массе каторжан, но только до поры до времени. Там, на каторге, их, кажется, сохранилось больше, чем на большой земле, где слишком многие поддались искушению примириться с жизнью и спокойно дожить свои годы. Разумеется, таких людей с ясной головой не так уж много, но то, что они уцелели, является лучшим доказательством, что последняя победа всегда принадлежит добру, а не злу.

Казарновский к этим героическим людям не принадлежал, и я выслушала бесконечные его рассказы и, отобрав крупицы истины, узнала чуть-чуть, меньше малого, о лагерной жизни О. М. Состав пересыльных лагерей всегда текучий, но вначале барак, куда они попали, был заселен интеллигентами из Москвы и Ленинграда — пятьдесят восьмой статьей. Это очень облегчало жизнь. Старостами бараков, как и повсюду в те годы, назначали уголовников, но не рядовых воров, а тех, кто и на воле был связан с органами. Этот младший «командный состав» лагерей отличался крайней жестокостью, и «пятьдесят восьмая» от них очень страдала, не меньше, чем от настоящего начальства, с которым, впрочем, они соприкасались реже. О. М. всегда отличался нервной подвижностью, и всякое волнение у него выражалось в бегстве из угла в угол. Здесь, в пересыльном лагере, эти метания и эта моторная возбудимость служили поводом для вечных нападок на него со стороны всяческого начальства. А во дворе он часто подбегал к запрещенным зонам — к ограде и охраняемым участкам,— и стража с криками, проклятиями и матом отгоняла его прочь. Рассказ о том, что его избили уголовники, не подтвердился никем из десятка свидетелей. Похоже, что это легенда.

Одежды в пересыльном лагере не выдавали — да и где ее выдают? — и он замерзал в своем кожаном, уже успевшем превратиться в лохмотья пальто, хотя, как говорил Казарновский, самые страшные морозы грянули уже после его смерти — их он не испытал. И в этом для меня есть элемент датировки.

О. М. почти ничего не ел, боялся еды, как впоследствии Зощенко, терял свой хлебный паек, путал котелки... В пересыльном лагере, по словам Казарновского, был ларек, где продавали табак и, кажется, сахар. Но откуда взять деньги? К тому же страх еды у О. М. распространялся на ларьковые продукты и сахар, и он принимал его только из рук Казарновского... Благословенная грязная лагерная ладонь, на которой лежит кусочек сахару, и О. М. медлит принять этот последний дар... Но правду ли говорил Казарновский? Не выдумал ли он эту деталь?

Кроме страха еды и непрерывного моторного беспокойства, Казарновский отметил бредовую идею О. М., которая для него характерна и выдумана быть не могла: О. М. тешил себя надеждой, что ему облегчат жизнь, потому что Ромен Роллан напишет о нем Сталину. Крошечная эта черточка доказывает мне, что Казарновский действительно общался с Мандельштамом. Во время воронежской ссылки мы читали в газетах о приезде Ромена Роллана с супругой в Москву и об их встрече со Сталиным. О. М. знал Майю Кудашеву, и он вздыхал: «Майя бегает по Москве. Наверное, ей рассказали про меня. Что ему стоит поговорить обо мне со Сталиным, чтобы он меня отпустил»... О. М. никак не мог поверить, что профессиональные гуманисты не интересуются отдельными судьбами, а только человечеством в целом, и надежда в безысходном положении воплотилась у него в имени Ромена Роллана. А для меня это имя послужило доказательством, что Казарновский не вполне утратил память. А про Ромена Роллана прибавлю для справедливости, что, приехав в Москву, он, кажется, исхлопотал облегчение участи «словарникам»*. Так, во всяком случае, говорили... Но это не меняет моего мнения о «гуманистах» по профессии... Подлинный гуманизм все знает, и ему до всего есть дело: рука дающего да не оскудеет...

И вот еще характерный штрих из рассказов Казарновского: О. М. не сомневался в том, что я в лагере. Он умолял Казарновского, чтобы тот, если вернется, разыскал меня: «Попросите литфонд, чтобы ей помогли»... Всю жизнь О. М., как каторжник к тачке, был прикован к писательским организациям и без их санкции не получил ни единого кусочка хлеба. Как он ни стремился освободиться от этой зависимости, ему это не удавалось: у нас такие вещи не допускаются, это невыгодно правителям... Вот почему и для меня он надеялся только на помощь Литфонда. Моя же судьба сложилась иначе, и во время войны, когда про нас забыли, мне удалось уйти в другую сферу, поэтому я сохранила жизнь и память.

Иногда, в светлые минуты, О. М. читал лагерникам стихи, и, вероятно, кое-кто их записывал. Мне пришлось видеть «альбомы» с его стихами, ходившими по лагерям. Однажды ему рассказали, что в камере смертников в Лефортове — в годы террора там сидели вперемежку — видели нацарапанные на стене строки: «Неужели я настоящий и действительно смерть придет»[1]. Узнав об этом, О. М. развеселился и несколько дней был спокойнее.

На работы — даже внутрилагерные вроде приборки — его не посылали. Даже в истощенной до предела толпе он выделялся своим плохим состоянием. По целым дням он слонялся без дела, навлекая на себя угрозы, мат и проклятия всевозможного начальства. В отсев он попал почти сразу и очень огорчился. Ему казалось, что в стационарном лагере все же будет легче, хотя опытные люди убеждали его в противном.

Однажды О. М. услышал, что в пересыльном лагере находится человек по фамилии Хазин, и попросил Казарновского пойти с ним отыскать его, чтобы узнать, не приходится ли он мне родственником. Мы оказались просто однофамильцами. Этот Хазин, прочтя мемуары Эренбурга, написал ему, и мне удалось с ним встретиться. Существование Хазина — еще одно доказательство, что Казарновский действительно был с Мандельштамом. Сам Хазин О. М. видел два раза — когда О. М. пришел к нему с Казарновским, и вторично —

---

* Я прочла письма Ромена Роллана и перестала верить. ч(то..).

он свел его к лагернику, который его разыскивал. Хазин говорит, что встреча О. М. с этим разыскивающим его человеком была очень трогательной. Ему запомнилось, будто фамилия этого человека была Хинт, и что он латыш, инженер по профессии. Хинта пересылали из лагеря, где он находился уже несколько лет, в Москву на пересмотр. Такие пересмотры обычно кончались в те годы трагически. Кто был Хинт*, я не знаю. Хазину показалось, будто он школьный товарищ О. М. и ленинградец. В пересылке Хинт пробыл лишь несколько дней. И Казарновский запомнил, что О. М. с помощью Хазина нашел какого-то старого товарища.

По сведениям Хазина, Мандельштам умер во время сыпного тифа, а Казарновский эпидемии тифа не упоминал, между тем она была, и я о ней слышала от ряда лиц. Мне следовало бы принять меры, чтобы разыскать Хинта, но в наших условиях это невозможно — ведь не могу же я дать объявление в газету, что разыскиваю такого-то человека, видевшего в лагере моего мужа... Сам Хазин человек примитивный. Он хотел познакомиться с Эренбургом, чтобы рассказать ему о своих воспоминаниях начала революции, в которой он участвовал вместе со своими братьями, кажется, чекистами. Именно этот период сохранился у него в памяти, и все разговоры со мной он пытался свести на свой былой героизм...

Возвращаюсь к рассказам Казарновского. Однажды, несмотря на крики и понукания, О. М. не сошел с нар. В те дни мороз крепчал — это единственная датировка, которой я добилась. Всех погнали чистить снег, а О. М. остался один. Через несколько дней его сняли с нар и увезли в больницу. Вскоре Казарновский услышал, что О. М. умер и его похоронили, вернее, бросили в яму... Хоронили, разумеется, без гробов, раздетыми, если не голыми, чтобы не пропадало добро, по нескольку человек в одну яму — покойников всегда хватало,— и каждому к ноге привязывали бирку с номерком.

Это еще не худший вариант смерти, и я хочу верить, что рассказ Казарновского соответствует действительности. Не сравнишь ведь это со смертью Нарбута. Про него говорят, что в пересыльном он был ассенизатором, то есть чистил выгребные ямы, и погиб с другими инвалидами на взорванной барже. Баржу взорвали, чтобы освободить лагерь от инвалидов. Для разгрузки. Такие случаи, кажется, бывали... Павел, бывший вор-рецидивист, который носил мне воду и дрова в Тарусе, рассказал однажды по собственной инициативе, что ему пришлось слышать взрыв, донесшийся с моря, и видеть погружающуюся в воду баржу, на которой, по слухам, находилась «пятьдесят восьмая», инвалиды из «политицких». Люди, которые во что бы то ни стало желают и сейчас для всего искать оправданий, а таких среди бывших зэков много, убеждают меня, что взорвали только одну баржу, а начальника лагеря, который совершил такое беззаконие, потом расстреляли. Это действительно умилительная концовка, но меня она почему-то не умиляет.

Большинство известных мне людей умерло в лагерях почти сразу. Люди гуманитарных профессий едва ли могли там выжить, да и жить не стоило. К чему тянуть жизнь, если смерть приходит на выручку? Что дали бы несколько добавочных дней Маргулису, которому покровительствовала шпана за то, что он по ночам рассказывал им романы Дюма? Он находился вместе со Святополком-Мирским [2], который почти сразу дошел до полного истощения и тоже скоро умер. Слава Богу, что люди смертны, но жить и там, за проволокой, стоило, чтобы запомнить и рассказать людям. Может, это остановит их в дни, когда им захочется повторить наши безумства.

Вторым достоверным свидетелем был биолог М<еркулов>, которого О. М. просил в случае освобождения зайти к Эренбургу и рассказать о его последних лагерных днях — он понимал, что сам выжить не сможет. Его рассказ я передаю со слов Эренбурга, который к моему приезду в Ташкент успел кое-что забыть, в частности, он назвал М<еркулова> агрономом, потому что тот по освобождении, чтобы укрыться подальше, работал агрономом. В основном сведения М<еркулова> совпадают с рассказами Казарновского. Он считал, что О. М. умер в первый же год до открытия навигации, то есть до мая или июня 39 года. М<еркулов> довольно подробно передал разговор с врачом, на счастье, тоже ссыльным и понаслышке знавшим Мандельштама. Врач говорил, что спасти О. М. не удалось из-за невероятного истощения. Это подтверждается сообщением Казарновского о том, что О. М. боялся есть, хотя, конечно, лагерная пища была такая, что люди, отнюдь не боявшиеся есть, превращались в тени. В больнице О. М. пролежал всего несколько дней, а М<еркулов> встретил врача сразу после смерти О. М.

О. М. правильно указал биологу М<еркулову> на Эренбурга, прося его сообщить Илье Григорьевичу о своих последних днях, потому что никто другой из советских писателей, исключая Шкловского, не принял бы в те годы такого посланца. А к писателям-париям сам посланец не решился бы зайти, чтобы вторично не угодить на тот свет.

Люди, отбыв свои пятилетние и десятилетние сроки, то есть отделавшись, по нашим понятиям, минимумом, оставались обычно на месте, добровольно или поневоле, и сидели, притаившись, в своих медвежьих углах. После войны многие вторично попали в лагеря, а наш словарь и наши правовые понятия обогатились невероятным словом «повторник». Вот почему из лагерного призыва 37—38 годов выжили только единицы из молодежи, рано начавшей лагерные скитания, и мне пришлось говорить лишь с немногими, столкнувшимися там с О. М. Но слух о его судьбе широко разнесся по лагерям, и десятки людей передавали мне лагерные легенды о злосчастном поэте. Не раз вызывали меня на свидания и водили к людям, которые слышали — на их языке это звучало: «Я наверное знаю»,— про О. М., что он жив или дожил до войны, содержится в одном из лагерей или вышел на волю. Находились и свидетели смерти, но, встретившись со мной, они обычно смущенно признавались, что знают все со слов других, но, разумеется, совершенно достоверных свидетелей.

Кое-кто сочинял новеллы о его смерти. Рассказ Шаламова [3] — это просто мысли о том, как умер Мандельштам и что он должен был при этом чувствовать. Это дань пострадавшего художника своему собрату по искусству и судьбе. Но среди новелл есть и другие, претендующие на достоверность и изукрашенные массой подробностей. Одна из них рассказывает, что Мандельштам умер на судне, направлявшемся на Колыму. Далее следует подробный рассказ, как его бросили в океан. К легендам относится убийство Мандельштама уголовниками и чтение у костра Петрарки. Вот на последнюю удочку клюнули очень многие, потому что это типовой, «поэтический», так сказать, стандарт. Есть и рассказы «реалистического» стиля с обязательным участием шпаны. Один из наиболее разработанных принадлежит поэту Р. Ночью, рассказывает Р., постучали в барак и потребовали «поэта». Р. испугался ночных гостей — чего от него хочет шпана? Выяснилось, что гости вполне доброжелательны и попросту зовут его к умирающему, тоже поэту. Р. застал умирающего, то есть Мандельштама, в бараке на нарах. Был он не то в бреду, не то без сознания, но при виде Р. сразу пришел в себя, и они всю ночь проговорили. К утру О. М. умер, и Р. закрыл ему глаза. Дат, конечно, никаких, но место указано правильно — «Вторая речка», пересыльный лагерь под Владивостоком. Рассказал мне всю эту историю Слуцкий и дал адрес Р., но тот на мое письмо не ответил.

Все мои информаторы были люди доброжелательные. Лишь однажды я подверглась настоящему издевательству. Дело происходило в Ульяновске в самом начале пятидесятых годов, еще при жизни Сталина. По вечерам ко мне повадился ходить член кафедры литературы, он же заместитель директора, некто Тюфяков, инвалид войны, весь увешанный орденами за работу в войсковых политотделах, любитель почитать военные романы, где описывается расстрел труса или дезертира перед строем. Всю свою жизнь Тюфяков отдал «делу перестройки вузов» и потому не успел получить ни степеней, ни дипломов, ни высшего образования. Это был вечный комсомолец двадцатых годов и «незаменимый работник». С тех пор как «его сняли с учебы» и дали ему ответственное поручение, его задача состояла в слежке за чистотой идеологии в вузах, о малейших уклонениях от которой он сообщал куда следует. Его переводили из вуза в вуз, главным образом чтобы следить за директорами, которых подозревали в либерализме. Именно для этого он и прибыл в Ульяновск на странную и почетную роль «заместителя», от которого нельзя избавиться, хотя у него нет формальных прав работать в высшем учебном заведении. Таких вечных комсомольцев у нас было два — Тюфяков и другой, Глухов, эту фамилию следовало бы сохранить для потомства — внуков и дочерей, преподающих где-то историю и литературу. Этот успел получить орден за раскулачи-

* Это был соученик Евг(ения) Эмильевича (Мандельштама).

вание и кандидатское звание за диссертацию о Спинозе. Он действовал открыто и вызывал к себе в кабинет студентов, чтобы обучить их, о ком и какую разоблачительную речь произнести на собрании, а Тюфяков трудился втихаря. Оба занимались разгромом вузов с начала двадцатых годов и всегда действовали согласно.

«Работу» со мной Тюфяков вел добровольно, сверх нагрузки, ради отдыха и забавы. Она доставляла ему почти эстетическое удовольствие. Каждый день он придумывал новую историю — Мандельштам расстрелян; Мандельштам был в Свердловске, и Тюфяков навещал его в лагере из гуманных побуждений; Мандельштам пристрелен при попытке к бегству; Мандельштам отбывает новый срок в режимном лагере за уголовное преступление; Мандельштама забили насмерть уголовники за то, что он украл кусок хлеба; Мандельштам освободился и живет на севере с новой женой; Мандельштам совсем недавно повесился, испугавшись письма Жданова, только сейчас дошедшего до лагерей... О каждой из этих версий он сообщал торжественно: только что справлялся и получил через прокуратуру такие сведения... Мне приходилось выслушивать его, потому что стукачей прогонять нельзя. Кончался наш разговор литературными размышлениями Тюфякова: «Лучший песенник у нас Долматовский... Я ценю в поэзии чеканную форму... Без метафоры, как хотите, поэзии нет и не будет... Стиль — это явление не только формальное, но и идеологическое — вспомните слова Энгельса... С ними нельзя не согласиться... А не дошли ли до вас из лагеря стихи Мандельштама? Он там много писал»... Сухонькое тело Тюфякова пружинилось. Под военными, сталинского покроя усами мелькала улыбка. Ему раздобыли в Кремлевской больнице настоящий корень женьшеня, и он предостерегал всех против искусственных препаратов: «Никакого сравнения»...

До меня часто доходили слухи о лагерных стихах Мандельштама, но всегда это оказывалось вольной или невольной мистификацией. Зато недавно мне показали любопытный список, собранный по лагерным «альбомам». Это достаточно искаженные записи ненапечатанных стихов, где нет ни одного с явным политическим звучанием, вроде «Квартиры» [4]. Основной источник — это циркулировавшие в тридцатых годах списки, но записывались стихи по памяти, и отсюда множество искажений. Некоторые стихи попали в старых, отвергнутых вариантах, например, «К немецкой речи». А кое-что, несомненно, надиктовано самим Мандельштамом, потому что ни в какие списки не попадало. Не он ли сам вспомнил свои детские стихи о Распятии? В альбомах попалось и несколько шуточных стихов, которых у меня нет, например, «Извозчик и Дант», но, к сожалению, в диком виде. Его могли завести в те края только ленинградцы, а их там было более чем достаточно.

Мне показал этот список Д<омбровский>, автор повести о нашей жизни [5], которая написана, как говорили в старину, «кровью сердца». В этой повести вскрыта самая сущность нашей злосчастной жизни, хотя в ней говорится о раскопках, змеях, архитектуре и канцелярских барышнях. Человек, вчитавшийся в эту повесть, не может не понять, почему лагеря не могли не стать основной силой, поддерживающей равновесие в нашей стране.

Д<омбровский> утверждает, что видел Мандельштама в период «странной войны», то есть через год с лишним после 27 декабря 38 года, которое я считала датой смерти. Навигация уже открылась, а человек, которого Д(омбровский) счел за О. М. или который действительно был О. М., находился в партии, направляющейся на Колыму. Дело происходило все в том же лагере на «Второй речке». Д<омбровский>, тогда юноша, экспансивный и горячий, услыхал, что в партии находится человек, известный под кличкой «поэт», и пожелал его повидать. Человек этот отозвался, когда Д<омбровский> окликнул его: «Здравствуйте, Осип Мандельштам». Отчества Д<омбровский> не знал... «Поэт» производил впечатление душевнобольного, сохранившего все же некоторую ориентацию. Встреча была минутной — поговорили об осуществимости переправы на Колыму в дни военной тревоги. Затем старика — «поэту» на вид было лет семьдесят — позвали есть кашу, и он ушел.

Старческий вид лагерника, мнимого или настоящего Мандельштама, не свидетельствует ни о чем: в тех условиях люди старились с невероятной быстротой, а О. М. никогда моложавостью не отличался и выглядел значительно старше своих лет. Но как сопоставить эти сведения с моими данными? Можно предположить, что Мандельштам вышел из больницы, когда все знавшие его уже рассеялись по лагерям, и прожил тенью еще несколько месяцев или даже лет. Или какой-нибудь старик-однофамилец — а у всех Мандельштамов повторяются одни и те же имена, и они схожи лицом,— откликался на прозвище «поэт» и жил в лагере, где его принимали за О. М. Есть ли основания считать человека, встреченного Д<омбровским>, О. Мандельштамом?

Мои сведения слегка поколебали уверенность Д<омбровского>, а его рассказ смутил меня, и я уже ни в чем не уверена. Разве есть что-нибудь достоверное в нашей жизни? И я взвесила все про и контра...

Д<омбровский> с Мандельштамом знаком не был, но в Москве ему случалось видеть его, но всегда в периоды, когда О. М. запускал бороду, а лагерный «поэт» был гладко выбрит. Все же какие-то черты напомнили Д<омбровскому> облик Мандельштама. Для полной уверенности этого, конечно, мало — обознаться легче легкого. Д<омбровский> узнал одну деталь, но не со слов «поэта», а через третьи руки: судьбу О. М. решило какое-то письмо Бухарина. Очевидно, в 38 году всплыли приложенное к первому делу письмо Бухарина к Сталину и многочисленные записки Бухарина, отобранные при первом обыске. Случай этот более чем вероятный. И о нем мог знать только настоящий Мандельштам. Однако остается открытым вопрос, говорил ли об этом письме таинственный старик по кличке «поэт» или ему только приписывали бытовавший в лагере рассказ уже умершего человека, за которого его принимали. Иначе говоря: лагерники знали, что в деле Мандельштама фигурировало письмо Бухарина. Какого-то старика, быть может, однофамильца, принимали за О. М. и, вспомнив историю с бухаринским письмом, приписали ее старику. Проверить, что было на самом деле, невозможно. Но один факт здесь меня интересует: слух о письме. Это первый и единственный слух, дошедший до меня о тюремном периоде в период второго, повторного, дела. О. М. недаром сказал в «Четвертой прозе»: «Мое дело не кончилось и никогда не кончится»... На основании письма Бухарина дело 34 года пересматривалось в 34 же году, и на основании того же письма оно пересматривалось и в 38-м... Далее оно пересматривалось в 55 году, но осталось совершенно темным, и я надеюсь, что оно будет пересматриваться еще не раз.

Но что же, собственно, подтверждает мою версию о смерти в декабре 38 года? Для меня первой вестью о смерти была возвращенная «за смертью адресата» посылка. Но этого еще недостаточно: мы знаем тысячи случаев, когда посылки возвращались с такой мотивировкой, а потом оказывалось, что адресат просто переведен в другое место и потому не получил своего ящика. Вернувшаяся посылка прочно ассоциировалась со смертью, и для большинства это был единственный способ узнать о смерти близкого, между тем в сумбуре перегруженных лагерей обнаглевшие чиновники в военных формах писали что попало: смерть так смерть — не все ли равно? Попавшие за колючую проволоку тем самым исключались из жизни, и с ними не церемонились. И с военных фронтов приходили повестки о смерти солдат и офицеров, которые на самом деле были ранены или попали в плен. А ведь на фронте это делалось по ошибке, и люди, окруженные равными себе, пользовались вниманием и сочувствием всех. С лагерниками же обращались хуже, чем со скотом, и скоты, которые распоряжались их жизнью, специально обучались попирать все их человеческие права. Возвращение посылки не может служить доказательством смерти.

Дата в свидетельстве о смерти, выданном загсом, тоже ничего не доказывает. Даты проставлялись совершенно произвольно, и часто миллионы смертей сознательно относились к одному периоду, например, к военному. Для статистики оказалось удобным, чтобы лагерные смерти слились с военными... Картина репрессий этим затушевывалась, а до истины никому дела нет. В период реабилитации почти механически выставлялись как даты смерти сорок второй и сорок третий год... Кто же может поверить дате на свидетельстве о смерти? А кто пустил слух за границей о том, что Мандельштам находился в лагере в Воронежской области и был убит немцами *? Ясное дело, что какой-нибудь прогрессивный писатель или дипломат, припертый к стенке иностранцами, которые, как выражается Сурков, лезут не в свое дело, свалил все на немцев, что было удобно и просто...

В свидетельстве о смерти написано, что в книге записей смерть О. М. зарегистрирована в мае сорокового года. Это,

* Эренбург говорил, что этот слух пустила Триоле, а я допускаю, что сам Эренбург.

пожалуй, единственная реальность. Как будто можно надеяться, что живого не записали в книгу мертвых, хотя абсолютной уверенности в этом нет. Предположим, что к Сталину обратился какой-нибудь Ромен Роллан, с которым Сталин считался, и попросил об освобождении Мандельштама. У нас случалось, что по просьбе из-за границы, обращенной к хозяину, отпускали людей на волю... Сталин мог не захотеть отпустить Мандельштама или его нельзя было выпустить, потому что в тюрьме его забили... В таком случае ничего бы не стоило объявить его мертвым и, выдав мне свидетельство о смерти, сделать меня рупором этой правительственной лжи. Почему мне выдали это свидетельство, хотя другим не выдавали? С какой целью?

А если Мандельштам действительно умер где-то до мая сорокового года — скажем, в апреле,— Д<омбровский> мог его видеть, и старик «поэт» был О. М.

Можно ли положиться на сведенья Казарновского и Хазина? Лагерники в большинстве случаев не знают дат. В этой однообразной и бредовой жизни даты стираются. Казарновский мог уехать — когда и как его отправили, так и осталось неизвестным — до того времени, как О. М. выпустили из больницы. Слухи о смерти О. М. тоже ничего не доказывают: лагеря живут слухами. Разговор М<еркулова> с врачом тоже не датирован. Они могли встретиться через год или два... Никто ничего не знает. Никто ничего не узнает ни в кругу, оцепленном проволокой, ни за его пределами. В страшном месиве и крошеве, в лагерной скученности, где мертвые с бирками на ноге лежат рядом с живыми, никто никогда не разберется.

Никто не видел его мертвым. Никто не обмыл его тела. Никто не положил его в гроб. Горячечный бред лагерных мучеников не знает времени, не отличает действительности от вымысла. Рассказы этих людей не более достоверны, чем всякий рассказ о хождении по мукам. А те немногие, кто сохранился свидетелями — а Д<омбровский> один из них,— не имели возможности проделать исследовательскую работу и на месте проанализировать все данные за и против.

Я знаю одно: человек, страдалец и мученик, где-то умер. Этим кончается всякая жизнь. Перед смертью он лежал на нарах, и вокруг него копошились другие смертники. Вероятно, он ждал посылки. Ее не доставили или она не успела дойти... Посылку отправили обратно. Для нас это было вестью и признаком того, что О. М. погиб. Для него, ожидавшего посылку, ее отсутствие означало, что погибли мы. А все это произошло потому, что откормленный человек в военной форме, тренированный на уничтожении людей, которому надоело рыться в огромных, непрерывно меняющихся списках заключенных и искать какую-то непроизносимую фамилию, перечеркнул адрес, написал на сопроводительном бланке самое простое, что пришло ему в голову,— «за смертью адресата»,— и отправил ящичек обратно, чтобы я, молившаяся о смерти друга, пошатнулась перед окошком, узнав от почтовой чиновницы сию последнюю и неизбежную благую весть.

А после его смерти — или до нее? — он жил в лагерных легендах как семидесятилетний безумный старик с котелком для каши, когда-то на воле писавший стихи и потому прозванный «поэтом». И как-то другой старик — или это был О. М.? — жил в лагере на «Второй речке» и был зачислен в транспорт на Колыму, и многие считали его Осипом Мандельштамом, и я не знаю, кто он.

Вот все, что я знаю о последних днях, болезни и смерти Мандельштама. Другие знают о гибели своих близких еще меньше.

Еще один рассказ

Еще немножко я все же знаю. Транспорт вышел седьмого сентября 38 года. Д. [6], физик по профессии, работавший в одном из подвергшихся полному разгрому втузов Москвы, потому что в нем работал сын человека, ненавистного Сталину *, не пожелал, чтобы я назвала его имя: «Сейчас ничего, но кто его знает, что будет потом, поэтому прошу моего имени не запоминать»... Он попал в этот транспорт из Таганки. Другие были из внутренней тюрьмы, только перед самой отправкой их переводили в Бутырки. Еще в дороге Д. узнал, что с этим транспортом едет Мандельштам. Случилось, что один из спутников Д. заболел и на несколько дней его поместили в изолятор. Вернувшись, он рассказал, что в изоляторе встретился с Мандельштамом. По его словам, О. М. все время лежал, укрывшись с головой одеялом. У него сохранились какие-то гроши, и конвойные покупают ему иногда на станциях булку. О. М. разламывает ее пополам и делится с кем-нибудь из арестантов, но до своей половины не дотрагивается, пока в щелку из-под одеяла не заметит, что спутник уже съел свою долю. Тогда он садится и ест. Его преследует страх отравы — в этом заключается его заболевание, и он морит себя голодом, совершенно не дотрагиваясь до казенной баланды.

Во Владивосток прибыли в середине октября. Лагерь на «Второй речке» оказался чудовищно перенаселенным. Новый транспорт девать было некуда. Арестантам велели размещаться под открытым небом между двумя бараками. Стояла сухая погода, и Д. под крышу не рвался. Он уже заметил, что вокруг уборной — а что такое лагерные уборные, можно себе представить,— всегда сидят на корточках полуголые люди и бьют вшей на своей уже превратившейся в лохмотья одежде. Но сыпняк еще не начался.

Через несколько дней новичков погнали на комиссию. Она состояла из представителей лагерного начальства Колымы. Там шло строительство, и начальство нуждалось в рабочей силе первого разряда, а таких здоровяков не легко было выискать в толпе измученных тюрьмой, ночными допросами и «упрощенными методами» людей. Многие попадали в отсев, среди них тридцатидвухлетний Д., который мальчишкой сломал себе ногу. Отгрузка из лагеря шла медленно, а новые транспорты продолжали подбрасывать сотнями голодных и грязных одичалых людей. Д. составил себе приблизительное представление о численности лагеря. Человек точного математического ума, он анализировал, запоминал и регистрировал все, что видел, в течение всех своих двадцати с лишним каторжных лет. Но его знания никогда не станут достоянием людей, потому что, устав от лагерной жизни, ничему не доверяя и ничего, кроме покоя, не желая, он ушел в себя, в свою новую семью, и весь смысл существования для него сосредоточился на дочке, последней отраде пожилого и больного человека. Это один из блистательных свидетелей, но он не даст показаний. Исключение он сделал для меня, и вообще о встрече с Мандельштамом, которая произвела на него большое впечатление, он иногда рассказывал и в лагере, и после освобождения. Я не спросила его, а следовало бы, долго ли колымские комиссии требовали себе здоровых людей. Не удовлетворялись ли они потом любым работником с тем, чтобы, выжав из него остатки силы, списать его в расход. Качество рабочей силы могло замениться количеством.

Пошли дожди, а попасть в барак и заручиться там местом стало возможным только с бою, и бои завязывались на каждом шагу. К этому времени Д. уже был старшим или старостой бригады в шестьдесят человек. Его обязанности заключались только в распределении хлебных пайков, но с наступлением дождей бригада потребовала у своего старосты, чтобы он раздобыл какое-нибудь помещение. Д. предложил проверить, не осталось ли свободных чердаков. Люди побойчее — а бойкость в большинстве случаев зависела от возраста — и покрепче ценили чердачные помещения: там была меньшая скученность и не такой спертый воздух. Правда, зимой их пришлось бы очистить, чтобы не замерзнуть и не сгореть у дымохода, но так далеко никто не заглядывал: лагерники всегда живут ближайшими целями. Запрятавшись ночью на чердак, выгадывали несколько недель сравнительной свободы.

Вскоре нашелся подходящий чердак, где разместилось человек пять шпаны, хотя там могло поместиться втрое больше. Д. с товарищами отправился на разведку. Вход оказался заколоченным досками. Одна доска поддалась. Д. сорвал ее и очутился лицом к лицу с представителем шпаны. Д. уже готовился к бою, но хозяин вежливо представился: «Архангельский»... Вступили в переговоры. Оказалось, что комендант предоставил этот чердак Архангельскому с товарищами. Д. предложил пойти вместе к коменданту, на что Архангельский вежливо согласился. Комендант занял неожиданную позицию — он постарался примирить стороны. Он мог почувствовать уважение к Д., который не побоялся ввязаться в конфликт со шпаной, или же принял и его за уголовника. Он сказал: «Такое положение — надо учесть... потесниться... жилищный кризис...» Одержав победу, Д. вернулся к товарищам, чтобы выбрать среди них десяток для вселения на чердак, но они передумали и не захотели селиться со шпаной: обокрадут! Д. пробовал их уговаривать: красть у них нечего, а численностью они будут вдвое превосходить шпану, но они предпочли остаться под открытым небом. А у Д. появился новый знакомый — при встречах

* Сын Троцкого.

они всегда раскланивались с Архангельским. Встречи обычно происходили в центре лагеря, где всегда была толкучка и шел торг и обмен.

Однажды Архангельский пригласил Д. зайти вечером на этот самый чердак, чтобы послушать стихи. Ограбления Д. не боялся — месяцами он спал, не раздеваясь, и его лохмотья не соблазнили бы даже лагерного вора. У него сохранилась только шляпа, но в лагере это не ценность. Ему показалось любопытным, что это за стихи, и он пошел.

На чердаке горела свеча. Посередине стояла бочка, а на ней открытые консервы и белый хлеб. Для голодающего лагеря это было неслыханным угощением — люди жили чечевичной похлебкой, да и той не хватало. К завтраку на человека приходилось с полстакана жижи...

Среди шпаны находился человек, поросший седой щетиной, в желтом кожаном пальто. Он читал стихи. Д. узнал эти стихи — то был Мандельштам. Уголовники угощали его хлебом и консервами, и он спокойно ел — видно, он боялся только казенных рук и казенной пищи. Слушали его в полном молчании, иногда просили повторить. Он повторял.

После этого вечера Д., встречая Мандельштама, всегда к нему подходил. Они легко разговорились, и тут Д. заметил, что О. М. страдает не то манией преследования, не то навязчивыми идеями. Его болезнь заключалась не только в страхе еды, из-за которого он уморил себя голодом. Он боялся каких-то прививок... Еще на воле он слышал о каких-то таинственных инъекциях или «прививках», делавшихся «внутри», чтобы лишить человека воли и получить от него нужные показания... Такие слухи упорно ходили с середины двадцатых годов. Были ли для этого какие-нибудь основания, мы, конечно, не знали. Кроме того, в ходу было страшное слово «социально опасный» — ведь ОСО в основном ссылало за потенциальную «социальную опасность»... И вот в больном мозгу это все смешалось — четвертого по счету ареста [7] он не выдержал,— и О. М. вообразил, что ему привили бешенство, чтобы действительно сделать его «опасным» и поскорее от него избавиться. Он забыл, что избавляться от людей у нас умели без всяких «прививок»...

В психиатрии Д. не понимал, но ему очень хотелось помочь О. М. Спорить с ним он не стал, но сделал вид, будто считает, что О. М. вполне сознательно и с определенной целью распространяет слухи о своем «бешенстве». Может быть, для того, чтобы его сторонились... «Но меня вы же не хотите отпугивать»,— сказал Д. Хитрость удалась, и, к его удивлению, все разговоры о бешенстве и прививках прекратились.

В пересыльном лагере на работу не гоняли, но рядом, на территории, отведенной для уголовников,— по правилам, пятьдесят восьмую статью как особо вредную должны были изолировать от всех прочих, но из-за перенаселения это правило почти не соблюдалось,— шло движение: что-то разгружали и куда-то перетаскивали строительные материалы. Работающим никаких преимуществ не полагалось, им даже не увеличивали хлебного пайка, но все же находились люди, просившиеся на работу. Это те, кому надоело толкаться на пятачке пересыльного лагеря среди обезумевшей и одичавшей толпы. Им хотелось вырваться хотя бы на соседнюю, менее заселенную территорию и таким образом удлинить прогулку. И, наконец, молодежь после длительного пребывания в тюрьме нуждалась в физических упражнениях. Потом, истомленные непосильным трудом стационарных лагерей, они, разумеется, не стали бы добровольно нагружать себя работой, но это была «пересылка».

Среди добровольцев оказался и Д. Этот человек не падал духом. Чем невыносимее были условия, тем сильнее оказывалась его воля. По лагерю он ходил, сжав зубы, и упорно повторял про себя: «Я все вижу и все знаю, но даже этого недостаточно, чтобы убить меня». Его помыслы были направлены на одну цель: не позволить уничтожить себя, сохранить жизнь вопреки всему. Я хорошо знаю это чувство, потому что точно так, сжав зубы, прожила почти тридцать лет. И поэтому я отношусь с огромным уважением к Д.: ведь я знаю, чего стоило сохранить жизнь в обычных условиях, а он поставил себе эту труднейшую задачу в лагере тридцать восьмого года и не отказался от нее в течение всех страшных лет. Он вернулся в 56 году больной туберкулезом, с безвозвратно загубленным сердцем, но все же вернулся, и психика его осталась нетронутой, и память сохранилась лучше, чем у большинства наших людей на воле.

На работу Д. взял с собой напарником О. М. Это было возможно, потому что на «пересылке» никаких норм выработки не существовало, да и сам Д. надрываться не собирался. Они грузили на носилки один-два камня, тащили их за полкилометра, а там, свалив груз, садились отдохнуть. Обратно носилки нес Д. Однажды, отдыхая на куче камней, О. М. сказал: «Первая моя книга называлась «Камень», последняя тоже будет камнем»... Д. запомнил эту фразу, хотя не знал названия книг О. М., и он прервал свой рассказ, спросив у меня: «А его книга действительно называлась «Камнем»?» Ему было приятно, когда я подтвердила, потому что он лишний раз на этом проверил свою память...

Вырвавшись из толпы, в сравнительном безлюдье и спокойствии территории уголовников, оба они воспряли духом. Рассказ Д. объясняет фразу из последнего письма О. М.: он пишет, что выходит на работу и это подняло настроение. Все утверждали, что в «пересылке» на работу не посылают, и я никак не могла понять, в чем дело. Все разъяснилось благодаря Д. ...

В начале декабря вспыхнул сыпняк, и Д. потерял О. М. из виду. Лагерное начальство приняло энергичные меры: ссыльных загнали в бараки, где сразу освободились места заболевших, заперли на замок и никуда не выпускали. По утрам барак открывался, меняли парашу, а санитары мерили всем температуру. Такая тюремная профилактика, разумеется, ни к чему не приводила, и болезнь косила людей. Заболевших переводили в изоляторы, о которых ходили чудовищные слухи. Люди пугали друг друга рассказами об изоляторах. Считалось, что живым оттуда не выйти.

На трехъярусных нарах Д. удалось занять вторую полку. Это считалось удачей, потому что внизу была постоянная толчея, а наверху невыносимая духота. Через несколько дней Д. почувствовал озноб. Чтобы согреться, он предложил обменять свое место на верхнее. Желающих нашлось много. Но и наверху озноб не прекратился, и Д. понял, что это сыпняк. Его преследовала одна мысль: переболеть в казармах и не дать утащить себя в изолятор. Он недомеривал температуру и несколько дней обманывал санитаров. Жар поднимался, и однажды он, не сумев правильно отряхнуть градусник, попался в обмане, и его унесли. В изоляторе ему рассказали, что незадолго перед тем там побывал Мандельштам. Тифа у него не оказалось. Ссыльные врачи отнеслись к нему хорошо и даже раздобыли ему полушубок. У них образовался излишек одежды — наследство умерших, а умирали там люди как мухи. К этому времени О. М. очень нуждался в одежде, даже свое кожаное пальто он успел променять на сахар. Ему дали за него полтора кило, которые тут же украли. Д. спрашивал, куда же девался О. М., но никто этого не знал.

В изоляторе Д. провел несколько дней, пока врачи не диагностировали сыпняк. Тогда его перевели в стационар. Оказалось, что на «Второй речке» была вполне пристойная стационарная больница, двухэтажная и чистая. Ее-то и отдали под сыпной тиф. Здесь Д. впервые за много месяцев улегся на простыне, и болезнь обернулась отдыхом и сладостным ощущением неслыханного комфорта.

Выйдя из больницы, Д. узнал, что О. М. умер. Это случилось между декабрем 1938 года и апрелем 1939, потому что в апреле Д. уже был переведен в постоянный лагерь. Свидетелей смерти Д. не встречал и обо всем знал только по слухам. Сам он человек точный, но каковы его информаторы, сказать трудно. Рассказ Д. как будто подтверждает версию Казарновского о быстрой смерти О. М. А я делаю из него еще один вывод: так как больница была отдана под сыпной тиф, то умереть О. М. мог только в изоляторе, и даже перед смертью он не отдохнул на собственной койке, покрытой мерзкой, но неслыханно чудесной каторжной простыней.

Мне негде навести справки, и никто не станет со мной об этом говорить. Кто станет рыться в тех страшных делах ради Мандельштама, у которого даже книжка не может выйти... Погибшие и так должны радоваться, что их посмертно реабилитировали или по крайней мере прекратили их дела за отсутствием состава преступления. Ведь даже справочки у нас бывают двух сортов, без всякой уравниловки, и Мандельштам получил по второму... Поэтому я могу собрать только все свои скудные сведения и гадать, когда же умер Мандельштам. И до сих пор я повторяю себе: чем скорее наступает смерть, тем лучше. Ничего нет страшнее медленной смерти. Мне страшно думать, что, когда я успокоилась, узнав от почтовой чиновницы о смерти О. М., он, может, еще был жив и действительно отправлялся на Колыму в дни, когда все мы уже считали его мертвым. Дата смерти не установлена. И я бессильна сделать еще что-либо, чтобы установить ее.

Мое завещание [8]

«Пора подумать,— не раз говорила я Мандельштаму,— кому это все достанется... Шурику?» Он отвечал: «Люди сохранят... Кто сохранит, тому и достанется». «А если не сохранят?» «Если не сохранят, значит, это никому не нужно и ничего не стоит»... Еще была жива любимая племянница О. М., Татька, но в этих разговорах О. М. никогда даже не упомянул ее имени. Для него стихи и архив не были ценностью, которую можно завещать, а скорее весточкой, брошенной в бутылке в океан: кто поднимет ее на берегу, тому она и принадлежит, как сказано в ранней статье «О собеседнике». Этому отношению к своему архиву способствовала наша эпоха, когда легче было погибнуть за стихи, чем получить за них гонорар. О. М. обрекал свои стихи и прозу на «дикое» хранение, но если бы полагаться только на этот способ, стихи бы дошли в невероятно искаженном виде. Но я случайно спаслась — мы ведь всегда думали, что погибнем вместе,— и овладела чисто советским искусством хранения опальных рукописей. Это не простое дело — в те дни люди, одержимые безумным страхом, чистили ящики своих письменных столов, уничтожая все подряд: семейные архивы, фотографии друзей и знакомых, письма, записные книжки, дневники, любые документы, попавшие под руку, даже советские газеты и вырезки из них. В этих поступках безумие сочеталось со здравым смыслом. С одной стороны, бюрократическая машина уничтожения не нуждалась ни в каких фактах, и аресты производились по таинственному канцелярскому произволу. Для осуждения хватало признаний в преступлениях, которые с легкостью добывались в ночных кабинетах следователей путем конвейерных или упрощенных допросов. Для создания «группового» дела следователь мог связать в один узел совершенно посторонних людей, но все же мы предпочитали не давать следователям списков своих знакомых, их писем и записок, чтобы они не вздумали поработать на реальном материале... И сейчас, по старой памяти, а может, в предчувствии будущих невзгод, друзья Ахматовой испугались, услыхав, что в архивы проданы письма ее читателей и тетради, куда она в период передышки начала записывать, кто, когда и в котором часу должен ее навестить. Я, например, до сих пор не могу завести себе книжку с телефонами своих знакомых, потому что привыкла остерегаться таких «документов»... В нашу эпоху хранение рукописей приобрело особое значение — это был акт, психологически близкий к самопожертвованию — все рвут, жгут и уничтожают бумаги, а кто-то бережно хранит вопреки всему эту горсточку человеческого тепла. О. М. был прав, отказываясь назвать наследника и утверждая, что право на наследование дает этот единственный возможный у нас знак уважения к поэзии: сберечь, сохранить, потому что это нужно людям и еще будет жить... Мне удалось сохранить кое-что из архива и почти все стихи, потому что мне помогали разные люди и мой брат Евгений Яковлевич Хазин. Кое-кто из первых хранителей погиб в лагерях, а с ними и то, что я им дала, другие не вернулись с войны, но те, кто уцелел, вернули мне мои бумаги, кроме Финкельштейн-Рудаковой [9], которая сейчас ими торгует. Среди хранителей была незаконная и непризнанная дочь Горького [10], поразительно на него похожая женщина с упрямым и умным лицом. Многие годы у нее лежала «Четвертая проза» и стихи. Эта женщина не принадлежала к читателям и любителям стихов, но, кажется, ей было приятно хранить старинные традиции русской интеллигенции и ту литературу, которую не признавал ее отец. А я знала наизусть и прозу, и стихи О. М.— могло ведь случиться, что бумаги пропадут, а я уцелею,— и непрерывно переписывала (от руки, конечно) его вещи. «Разговор о Данте» был переписан в десятках экземпляров, а дошло из них до наших дней только три.

Сейчас я стою перед новой задачей. Старое поколение хранителей умирает, и мои дни подходят к концу, а время по-прежнему удаляет цель: даже крошечный сборник в «Библиотеке поэта» и тот не может выйти уже одиннадцать лет (эти строки я пишу в конце декабря 1966 года). Все подлинники по-прежнему лежат на хранении в чужих руках. Мандельштам верил в государственные архивы, но я — нет: ведь уже в начале двадцатых годов разразилось «дело Ольденбурга», который принял на хранение в архив Академии наук неугодные начальству документы, имевшие, по его словам, историческую ценность; притом мы ведь не гарантированы от нового тура «культурной революции», когда снова начнут чистить архивы. И сейчас уже ясно, что я не доживу до издания этих книг и что эти книги не потеряли ценности, отлеживаясь в ящиках чужих столов. Вот почему я обращаюсь к Будущему, которое подведет итоги, и прошу это Будущее, даже если оно за горами, исполнить мою волю. Я имею право на волеизъявление, потому что вся моя жизнь ушла на хранение горсточки стихов и прозы погибшего поэта. Это не вульгарное право вдовы и наследницы, а право товарища черных дней.

Юридическая сторона дела такова: после реабилитации по второму делу меня механически, как и других вдов реабилитированных писателей, ввели в права наследства на 15 лет (до 1972 года), как у нас полагается по закону. Вся юридическая процедура происходила не в Союзе писателей, а просто у нотариуса, и потому мне не чинили никаких препятствий и все произошло, как у людей. Юридический акт о введении в права наследства лежит в ящике стола, потому что я получила оседлость, а до этого я около десяти лет держала его в чемодане. Теоретически я могла бы запретить печатать Мандельштама — положительный акт: разрешить — не в моей власти. Но, во-первых, со мною никто не станет считаться, во-вторых, его все равно не печатают и лишь изредка какие-то озорные журнальчики или газеты возьмут и тиснут случайную публикацию из своих «бродячих списков» — ведь, как говорила Анна Андреевна, мы живем в «догутенберговской эпохе» и «бродячие списки» нужных книг распространяются активнее, чем печатные издания. Эти журнальчики, если будет их милость, присылают мне за свои публикации свой дружеский ломаный грош, и я ему радуюсь, потому что в нем веянье новой жизни... Вот и все мои наследственные права, и, как я уже сказала, со мной никто не считается. И я тоже ни с кем и ни с чем не собираюсь считаться и в своем последнем волеизъявлении веду себя так, будто у меня в столе не нотариальная филькина грамота, а полноценный документ, признавший и утвердивший мои непререкаемые права на это горестное наследство.

А если кто задумает оспаривать мое моральное и юридическое право распоряжаться этим наследством, я напомню вот о чем: когда наша монументальная эпоха выписывала ордер на мой арест, отнимала у меня последний кусок хлеба, гнала с работы, издевалась, сделала из меня бродягу, выселяла из Москвы не только в 38, но и в 58 году, ни один человек не изволил усомниться в полноте моих вдовьих прав и в целесообразности такого со мной обращения. Я уцелела и сохранила остатки архива наперекор и вопреки советской литературе, государству и обществу, по вульгарному недосмотру с их стороны. Есть замечательный закон: убийца всегда недооценивает силы своей жертвы, для него растоптанный и убиваемый — это «горсточка лагерной пыли», дрожащая тень Бабьего Яра... Кто поверит, что они могут воскреснуть и заговорить?.. Убивая, всякий убийца смеется над своей жертвой и повторяет: «Разве это человек?.. Разве это называется поэтом?» Тот, кто поклоняется силе, представляет себе настоящего человека и настоящего поэта в виде потенциального убийцы: «Этот нам всем покажет»... Такая недооценка своих замученных, исстрадавшихся жертв неизбежна, и именно благодаря ей позабыли обо мне и о моей горсточке бумаг. И это спасение наперекор и вопреки всему дает мне право распоряжаться моим юридически оформленным литературным наследством.

Но юридическое право иссякает в 1972 году — через пятнадцать лет после «введения в права наследства», которыми государство ограничило срок его действия. С таким же успехом оно могло назвать любую другую цифру или вообще отменить это право. Столь же произвольна выплата наследникам не полного гонорара, а пятидесяти процентов. Почему пятьдесят, а не семьдесят или не двадцать? Впрочем, я признаю, что государство вправе как угодно обращаться с теми, кого оно создало, вызвало из небытия, кому оно покровительствовало, кого оно ласкало, тешило славой и богатством. Словом, купило на корню со всеми побегами и листьями. Наследственное пятнадцатилетие в отношении нашей литературы — лишь дополнительная милость государства да еще уступка европейской традиции.

Но я оспариваю это ограничение пятнадцатью годами в отношении к Мандельштаму.

Что сделало для него государство, чтобы отнимать сначала пятьдесят, а потом все сто процентов его недополученных при жизни гонораров да еще распоряжаться его литературным наследством с помощью своих писательских организаций, официальных комиссий по наследству и чиновников, именующихся главными, внешними и внутренними редакторами? Они ли — бритые или усатые — гладкие любители

посмертных изданий — будут перебирать горсточку спасенных мною листков и решать, что стоит, а чего не стоит печатать, в каких вещах поэт «на высоте», а что не мешало бы дать ему на переработку? Может, они и тогда еще будут искать «прогрессивности» со своих, продиктованных текущим моментом и государственной подсказкой позиций? А потом делить между собой, издательством и государством доходы — пусть ничтожные, пусть в два гроша — с этого злосчастного издания? Какой процент отчислят они тогда государству, а какой его передовому отряду — писательским организациям? За что? Почему? По какому праву?

Я оспариваю это право и прошу Будущее исполнить мою последнюю и единственную просьбу. Чтобы лучше мотивировать эту просьбу, которая, надеюсь, будет удовлетворена государством Будущего, какие бы у него ни были тогда законы, я перечислю в двух словах, что Мандельштам получил от государства Прошлого и Настоящего и чем он ему обязан. Неполный запрет двадцатых и начала тридцатых годов: «неактуально», «нам чуждо», «наш читатель в этом не нуждается», украинское, развеселившее нас — «не треба», поиски нищенского заработка — черная литературная работа, поиски «покровителей», чтобы протолкнуть хоть что-нибудь в печать... В прессе: «бросил стихи», «перешел на переводы», «перепевает сам себя», «лакейская проза» и тому подобное... После 1934 года — полный запрет, даже имя не упоминается в печати вплоть до 1956 года, когда оно возникает с титулом «декадент». Прошло почти тридцать лет после смерти О. М., а книга его все еще «готовится к печати». А биографически — ссылка на вольное поселение в 1934 году — Чердынь и Воронеж, а в 1938 году — арест, лагерь и безымянная могила, вернее, яма, куда его бросили с биркой на ноге. Уничтожение рукописей, отобранных при обысках, разбитые негативы его фотографий, испорченные валики с записями голоса...

Это искаженное и запрещенное имя, эти ненапечатанные стихи, этот уничтоженный в печах Лубянки писательский архив — это и есть мое литературное наследство, которое по закону должно в 1972 году отойти к государству. Как оно смеет претендовать на это наследство? Я прошу Будущее охранить меня от этих законов и от этого наследника. Не тюремщики должны наследовать колоднику, а те, кто был прикован с ним к одной тачке. Неужели государству не совестно отбирать эту кучку каторжных стихов у тех, кто по ночам, таясь, чтобы не разделить ту же участь, оплакивал покойника и хранил память об его имени? На что ему этот декадент?

Пусть государство наследует тем, кто запродал ему свою душу: даром ведь оно ни дач, ни почестей никому не давало. Те пускай и несут ему свое наследство, хоть на золотом блюде. А стихи, за которые заплачено жизнью, должны остаться частной, а не государственной собственностью. И я обращаюсь к Будущему, которое еще за горами, и прошу его вступиться за погибшего лагерника и запретить государству прикасаться к его наследству, на какие бы законы оно ни ссылалось. Это невесомое имущество нужно охранить от посягательств государства, если по закону или вопреки закону оно его потребует. Я не хочу слышать о законах, которые государство создает или уничтожает, исполняет или нарушает, но всегда по точной букве закона и себе на потребу и пользу, как я убедилась, прожив жизнь в своем законнейшем государстве.

Столкнувшись с этим ассирийским чудовищем — государством — в его чистейшей форме, я навсегда прониклась ужасом перед всеми его видами, и поэтому, какое бы оно ни было в том Будущем, к которому я обращаюсь, демократическое или олигархия, тоталитарное или народное, законопослушное или нарушающее законы, пусть оно поступится своими сомнительными правами и оставит это наследство в руках у частных лиц.

Ведь, чего доброго, оно может отдать доходы с этого наследства своим писательским организациям. Можно ли такое пережить: у нас так уважают литературу, что посылают носителя стихотворческой силы в санаторий, куда за ним приезжает грузовик с исполнителями государственной воли, чтобы в целости и сохранности доставить его в знаменитый дом на Лубянке, а оттуда — в теплушке, до отказу набитой обреченными, протащить через всю страну на самую окраину к океану и без гроба бросить в яму; затем через пятнадцать лет — не после смерти, а после реабилитации — завладеть его литературным наследством и обратить доходы с него на пользу писательских организаций, чтобы они могли отправить еще какого-нибудь писателя в санаторий или в Дом творчества... Мыслимо ли такое? Надо оттеснить государство от этого наследства.

Я прошу Будущее навечно, то есть пока издаются книги и есть читатели этих стихов, закрепить права на это наследство за теми людьми, которых я назову в специальном документе. Пусть их всегда будет одиннадцать человек в память одиннадцатистрочных стихов Мандельштама, а на место выбывших пусть оставшиеся сами выбирают заместителей.

Этой комиссии наследников я поручаю бесконтрольное распоряжение остатками архива, издание книг, перепечатку стихов, опубликование неизданных материалов... Но я прошу эту комиссию защищать это наследство от государства и не поддаваться ни его застращиваниям, ни улещиванию. Я прожила жизнь в эпоху, когда от каждого из нас требовали, чтобы все, что мы делали, приносило «пользу государству». Я прошу членов этой комиссии никогда не забывать, что в нас, в людях — самодовлеющая ценность, что не мы призваны служить государству, а государство — нам, и что поэзия обращена к людям, к их живым душам и никакого отношения к государству не имеет, кроме тех случаев, когда поэт, защищая свой народ или свое искусство, сам обращается к государству, как иногда случается во время вражеских нашествий, с призывом или упреком. Свобода мысли, свобода искусства, свобода слова — это священные понятия, непререкаемые, как понятия добра и зла, как свобода веры и исповедания. Если поэт живет, как все, думает, страдает, веселится, разговаривает с людьми и чувствует, что его судьба неотделима от судьбы всех людей,— кто посмеет требовать, чтобы его стихи приносили «пользу государству»? Почему государство смеет объявлять себя наследником свободного человека? Какая ему в этом польза, кстати говоря? Тем более в тех случаях, когда память об этом человеке живет в сердцах людей, а государство делает все, чтобы ее стереть...

Вот почему я прошу членов комиссии, то есть тех, кому я оставляю наследство Мандельштама, сделать все, чтобы сохранить память о погибшем — ему и себе на радость. А если мое наследство принесет какие-нибудь деньги, пусть комиссия сама решает, что с ними делать — пустить ли их по ветру, подарить ли людям, или истратить на собственное удовольствие. Только не устраивать на них никаких литературных фондов или касс, а стараться спустить эти деньги попроще и почеловечнее в память человека, который так любил жизнь и которому не дали ее дожить. Лишь бы ничего не досталось государству и его казенной литературе. И я еще прошу не забывать, что убитый всегда сильнее убийцы, а простой человек выше того, кто хочет подчинить его себе.

Такова моя воля, и я надеюсь, что Будущее, к которому я обращаюсь, уважит ее хотя бы за то, что я отдала жизнь на хранение труда и памяти погибшего.

Комментарий

1. Две последние строки стихотворения «Отчего душа так певуча...».

2. Поэт, литературный критик, переводчик; вернулся в СССР из эмиграции в 30-е годы.

3. Рассказ В. Т. Шаламова «Шерри-бренди» (см ж. «Москва» № 9, 1988 г.).

4. Стихотворение «Квартира тиха, как бумага...».

5. «Хранитель древностей», ставший позднее первой книгой романа «Факультет ненужных вещей». Фамилия Ю. О. Домбровского (как и фамилия Меркулова) была полностью приведена в именном указателе к зарубежному изданию «Воспоминаний» Н. Я. Мандельштам.

6. В зарубежном издании этот инициал передается как Л. На экземпляре с пометами Н. Я. Мандельштам Л. исправлено ею на Д.

7. Первые два ареста в 1920 г. (в Крыму при белых и в Батуме при меньшевиках — см. очерк «Меньшевики в Грузии») были кратковременными, хотя и вполне могли закончиться трагически. Арест 1934 г. и последний арест 1938 г. описаны Н. Я. Мандельштам в этой книге.

8. Этой главы нет в зарубежном издании «Воспоминаний». Она включена в состав так называемой «Книги третьей» (сборник разрозненных статей, воспоминаний и писем Н. Я. Мандельштам — изд. «ИМКА—ПРЕСС», Париж, 1987 г.). В авторизованной машинописи, легшей в основу текста данной публикации, эта глава завершает «Воспоминания».

9. Вдова С. Б. Рудакова. Рукописи О. Э. Мандельштама, которые находились у нее на хранении, до сих пор не обнаружены.

10. Л. А. Назаревская. Хранившиеся у нее рукописи О. Э. Мандельштама она вывезла с собой в эвакуацию и там, в Ташкенте, вернула Надежде Яковлевне.

Публикация и комментарий
Ю. ФРЕЙДИНА

К нашей вкладке

Виктор ЛИПАТОВ

БЕЛЫЙ ТАНЕЦ С ЧИНОВНИКОМ И БЕЗ НЕГО

Ее новая манера нас раздражает. От статики, подчеркивающей значительность энергии, художница устремляется к энергии, освобождающейся от торжественных покровов статики. Происходит высветление палитры, свободное движение цветовых масс. Назаренко отыскивает краски нового времени. Всегда присущая ей метафора, неразрывность реальности как фантазии и фантазии как реальности возбуждают активность восприятия. Раздражение вызывают манера, сюжет. Одиноко бредущий человек по двору в Неопалимовском переулке среди запутавшихся голых ветвей деревьев и желтых домов. Неожиданно возрожденный во времени старый каноник Ван Эйка. Распластанная пластика «Танца», где ритм двух резких фигур в пустыне бытия. «Реклама и мода», где в концептуальном монтаже (по мнению критика) почти одинаковые лица. Все это оскорбляет нашу спокойную жизнь, мешает нам отрешиться от ее повседневной суеты. Художница вводит в картины дисгармонию, противоречиво звучащую ноту, и картины уже никогда не превратятся в нечто красивенькое. Знамя эстетства рубится на корню.

Что означают страждущие взгляды людей с ее картин к нам? Зов о помощи? Предупреждение? Недоверие любопытства? Мы полагаем, что в картинах изображена наша жизнь, а они, находящиеся там, почему-то надеются, что мы живем по-иному, и пытаются к нам прорваться.

Назаренко сверхвнимательно всматривается в гротесково-натурные лица толпы. Ее портреты резко и тщательно вырезают лицо человека из картины бытия.

Исповедуя древнее правило эпохи Возрождения: мерило искусства, его главное действующее лицо — человек, художница максимально приближает к нам историческую личность и возводит в сан исторической значимости человека с улицы. Мы привыкли к иному, мы привыкли к исчезновениям в плакатности. Лицо плакатного типа, как справка о благонадежности. Мрачное ли безмолвие — космос, если он населен душами людей? Картины Назаренко наталкивают на мысль о том, что каждый сантиметр пространства насыщен лицами. Филонов проявлял их, а у Назаренко они предчувствуются. И якобы пустое пространство кажется тяжелым и предродовым. На его фоне действующие персонажи, как всплески мощной внутренней энергии, которая никогда никуда не исчезает. Они незаменимы. Незаменимых нет лишь для извечного врага человека — социальной машины. Входя в противоречие с духом человека, она должна или перегореть от напряжения или уничтожить последнего. Назаренко, как луддит, ломает машину стереотипа.

Она пытается отличить живых от манекенов, что не так просто. Кто манекены? Вот эти — отлакированные, недвижные, но признанные, годные для любых нарядов («Витрина»). Их плакатно-заурядные лица не режут глаза. А, может быть, вот эти — инвалид со своим другом? Не обласканные жизнью, потрепанные, коренастые, с наслаждением глотающие пиво... Вторая часть диптиха: у витрины со светски-выряженными женскими манекенами отдыхают запаренные пробежкой по магазинам муж и жена. Приземистые, квадратные, грубо сколоченные жизнью, замороченные безудержным циклом своего существования, они не годятся для государственной витрины. В нашем нынешнем воспаленном, остросоциальном представлении витрина с манекенами — образ жизни, выдуманной чиновником. Мифы (убогое представление о красоте жизни) презирают самое жизнь. Два мира, которым художник не нужен. Но он есть, участник событий и философ, свидетель и естествоиспытатель. Разве не обегáют наши взгляды стариков, то и дело возникающих знаками неизбежности нашей доли? Их обтекает спешащее время. Назаренко останавливает нас перед фигурами, оставленными временем среди снегов («Счастливая старость»). Люди куда-то бредут в плотном воздухе забвения. Их лица спрессованы временем, они как печати на его бумаге. И мы ощущаем крутую печаль о тех, кто уже никогда не станет молодым. Об ушедших в одиночество старости, как в труну. Старик в фуражке защитного цвета, бесцельно взглядывая, бредет мимо ампирного дома в никуда, минуя ржавый остов брошенного автомобиля («Старость». Диптих). Прорывается сюр. Реализм, как пугающее чучело. Ощущение ужаса, где его нет и в помине. Картина распада и сна. У вечных следов цивилизации — полной внутренней страсти иконы и излучающей очарование античной статуи — дремлет седая служительница музея. Вечное и уходящее. Старая женщина одиноко сидит на диванчике у забора и слушает транзистор (иллюзия общения с миром). Другая старая («Жизнь») уплывает в тень воспоминаний, встречаясь с близкими людьми, вновь выступающими из тьмы. Долго и настойчиво стремится человек в будущее, но в настоящем достаются ему лишь воспоминания. Не в них его сила, но судья ему — они.

В «Разорванном портрете» сквозь дыру холста выглядывает голова без лица. За портретом скрывался манекен?

Иногда Назаренко упрощает изображения людей до лубочной символики плаката и телеграфно отстукивает в будущее стертую сущность знаков общественного восприятия. «Реклама и информация»: бравые, улыбающиеся, тревожащие своей безликостью изображения лиц водителей трамвая, троллейбуса, автобуса и т. д. В конце череды — лицо испуганного художника, вносящего в однообразие ряда необходимый диссонанс нежеланного откровения.

Назаренко выводит человека на арену, на сцену бытия и бросает на него сноп резкого света. От человека падает страшная тень — одиночество. Человек один приходит в мир и один его покидает. Одиночество — кара, крест, роковая неизбежность, но и преддверие. Еще в «Вечере в Тарусе» наблюдаем мы раздвоения одинокой души. Поэтическое смятение и отчаяние. Женщина, сама художница, предстает блаженной мадонной в озарении и умилении, чтобы тут же, переодетая в темное, упасть, распластав руки, на красном. Настроению вторит одинокий домик в зимнем лесу среди света фонарей.

Одиночество подразумевает карнавал.

Назаренко уводит своих героев в карнавал — и все же это карнавал одиноких.

Люди собираются вместе для убийств и для праздников. Что искала художница в народных гуляньях? Зачем плясала в кругу с «медведем»? Что ей в дебрях организованного веселья, где рупор-распорядитель повышает или понижает тонус веселья? Она не может уйти от карнавала, вот и недавно написан «Маскарад», где маски, ангелы, густота, многоцветие жизни...

Человек распыляется в карнавале, теряет под маской лицо, становится бесприютной частицей массы, но одновременно и заряжается от массы магнитной силой. Карнавал проходит, а сила эта в человеке остается.

Карнавал концентрическими кругами сужается до компании, собрания людей близких. Как бриллиант, гранит художница свою компанию, упорно сберегая ее от чужих и случайных. «Ба! Знакомые все лица»,— можем воскликнуть мы у иных ее картин, встречая компанию избранных. Назаренко, как Ной, стремит свой корабль к суше с теми, кто продолжит жизнь. От случайной встречи («Гости в общежитии») к закономерности расставания («Проводы»); от разговора современников («Мои современники») к ритуально-необходимому общению («Воспоминание»). Десять лет разделяет «Молодых художников» и «Московский вечер». В первой картине профессиональная общность и состояние канона, во второй — породнение духа: музицирующие люди (возрастает количество сближающих знаков — книг, репродукций; появляется гостья из прошлого — реплика картины Григория Островского; полнозвучной становится московская панорама: кремлевские башни, Иван Великий, золотистое небо, голубоватые дома...). Люди группируются, сужают круг бытия, защищаются от жизни. Да и сама жизнь прячется от своих жестокостей в тепле таких небольших компаний — оазисов разумного бытия. Художница показывает нам таинство причастия, выбирая музыку, как то, что прежде всего создается душой и сильнее всего воздействует на душу. Пластичность «Домашнего концерта» — торжество душевной гармонии. И профили музицирующих, и локальные сгущения цвета, и глубина теней — все создает уютную сказочность золотого сечения. Рядом с загадочностью ярких грифов скрипок парят руки, как некие поэтические существа. Свеча, как знак духовного сосредоточия и постоянства. Белые листы нот, как письмена. Пейзажи, как зримые образы музыки. Индивидуумы растворяются в счастливом событии. Таков апофеоз компании.

Круг друзей кружит человека как отрицательный заряд по своему кольцу. Компания концентрическими кругами сужается до двоих. Двое — спасение? «... если лежат двое, то тепло им; а одинокому — как согреться?» — библейские строки о жажде тепла, как стон. У Назаренко двое — тепло любви. Два тела сливаются в сладострастии, в поиске убежища и целого. Железная топка человеческого сердца нуждается в страсти и любви. Обнажение новогоднего утра и романтизированный портрет двоих в маскарадных костюмах... Случается, тепло исчезает, растворяется и женщина прощается со спящим мужчиной, как со статуей, да она и сама уже золотистая статуя («Прощание»).

Карнавал сужается до компании, последняя — до двоих, двое... до одиночества? И вновь карнавал?

В последнее время Назаренко обращается к теме веры, и возникают на ее картине человек и храм. В «Пасхальной ночи» — священнодействие густого насыщенного цвета. Темная масса людей устремляется в храм из мира огня и крови. Желтые, золотые окна храма светятся надеждой.

Старуха («Воскресная служба») у оживающих фресок. Воинственный Христос и коренастый деловой священник. Истовость молящихся, взгляд мальчишки к нам. Как цепко соединяет эти фигуры быстрый, даже горячечный разговор — от Христа к женщине, от женщины — к священнослужителю. Кто понимает не всегда понимаемое? Кто прозревает? Мы? Спрашивающий мальчишка? Или старуха, которая знает, что она не заблуждалась в восприятии мира никогда?

Церковь не альтернатива карнавалу. Альтернатива всему — освобождение от пут времени. Более десяти лет между «Чаепитием в Поленове» и «Летом в Быкове», а мотив тот же: прощания и встречи, мир просветления, воображение духовной связи людей существовавших и существующих ныне, людей осененных и блаженных. Лето за летом проходит в Быкове. И уже другие люди, без залихватских усов, кринолинов и сюртуков собираются здесь вместе. Но и умершие не уходят никуда. Назаренко, противник изображения видимой жизни, показывает и тех и других в непосредственной близости и связи, как часть необозримого океана пляшущего человечества, где нет исчезающих капель. Помогает ей передать настроение вдруг совместившихся разновременных действий пейзаж как эмоциональная и философская категория.

Назаренко — пограничный художник и в глазах современника видит всполохи и грозные тени истории. Балансируя на острой грани современности, разделяющей прошлое и будущее, она выступает строителем хрупкого моста, с которого при отсутствии смелости и понимания тут же слетишь в пропасть.

История — бесстрастная дама, на наших глазах одновременно превращающаяся в институтку и женщину вольных правил. Ум преобладает, но как скроешься от чувств.

История, как воспоминание, которое или любишь, или ненавидишь. На картине изображена фотография с вырезанным силуэтом неправедно осужденного. Что здесь история? Оставшиеся на фотографии? Пустота? Тот, кто был на месте пустоты и чей прах неоплакан и лежит неведомо где? И возможен ли синтез, если все составные вопиют друг против друга?

Может быть, Назаренко осовременивает историю и хочет прошлым поджечь настоящее? Разве не утверждают, что Пугачеву подарено лицо Высоцкого...

Распластавшаяся в клетке кроваво-красная рубаха Пугачева, смазь крови на фоне серенького времени — знамя гражданских войн? Или душа певца и пророка, которого всю жизнь вели на казнь?

Мы восторгаемся, но каждый ли побежит за героем? Герой необходим и одновременно вызывает опасение. Обещая согреть, он обжигает. Он прекрасен сегодня, а кем станет завтра? Диктатором, как Наполеон; тираном и палачом, как Сталин?

Бунтари, их «отчаянное великодушие» привлекают Назаренко. Декабристы, народовольцы, Пугачев, партизаны Великой Отечественной. Что ищет в них смиренная горожанка XX столетия — не Перовская и не Засулич — художник, отвоевавший себе место под солнцем. Почему любопытна ей редкая порода людей, исключение из правила, которое не может существовать без этого исключения? Художница убежденно ведет героев к казни. Почему? При чем здесь художник, скажете вы, так было. Но разве не волен художник представить нам героя и в момент триумфа, когда о предстоящей казни забываешь — она как незначительный факт его исторической биографии. Назаренко превращает этот факт в решающее событие.

Человечество рождает толпу и героя. Герой восстает за человечество, и толпа рукоплещет ему. Герой терпит поражение, и толпа с равнодушным любопытством взирает, как петля переламывает жизнь, ненужную толпе. Назаренко ведет героя к казни, как к логическому концу. Герой встречается с одиночеством смерти не потому, что толпа предает его, а потому, что он надежда, разбуженная слишком рано. За окном ночь, и очень хочется спать. Спящая толпа окружает виселицу, на которой висеть народовольцам. Спящая толпа, затянутая в солдатские мундиры, одеревенело марширует рядом с клеткой («Пугачев»). Клетка — чушь, ерунда, миф. Клетка создана из прутьев непонимания. Солдаты — символ заведенного кем-то механизма. Всмотритесь в круглые, бодрые, ничего не выражающие лица марионеток. Солдатушки, бравы ребятушки спешат за старичком Суворовым, чье подвижное лицо озарено видениями ушедших и будущих сражений. Толпа — люди, не сознающие себя. Но герои плывут в волнах времени, внутри которого звучит нервная поступь толпы. Не в силах понять явление, толпа тут же отгораживается от него частоколом штыков. И мы тупо смотрим в жирные зады лошадей, на которых громоздятся жирные спины жандармов («Казнь народовольцев»), или на лихо рубящих кирасиров в красном на красивых белых лошадях («Декабристы»). Художник — жесткий регистратор волнений человечества. Он сознает абсолютизм власти как шаг к преступлению. Знак палача в красной рубахе — знак власти, готовый исказнить и виновного, и правого. Что, кроме жертвенности, может противопоставить власти герой? Замечали, что снятие с виселицы казненных фашистами партизан напоминает снятие Христа с креста («Партизаны пришли»).

В «Пугачеве» на фоне трех бесстрастий: пейзажа, марширующих солдат и Суворова; трех напряжений: охраняющих солдат, Пугачева и, со второй части диптиха, торжествующе глядящей Екатерины II,— мы видим столкновение трех знаков человеческого бытия: кумира, идола и героя.

Идол, разумеется, императрица, надменная власть, тре-

Разорванный портрет. 1982 г.

ТАТЬЯНА НАЗАРЕНКО.
Москва.

Церковь Вознесенья на улице Неждановой в Москве. 1988 г.

Пугачев. Диптих. 1980 г.

Жизнь. Триптих. 1983 г.

Одна. 1988 г.

Николай в 17 лет. 1988 г.

вожно выглядывающая сквозь окошко, отмытое реставратором в шапке мятежного казака (художница воспроизводит старинный портрет Пугачева, написанный поверх изображения Екатерины II). Рядом — другой портрет: властительно и уверенно глядит она на своего полководца, доставляющего ей плененного бунтовщика.

Кумир — Суворов. Аскетичность, непритязательность, личный пример, смелость, народные прибаутки; научение, как лучше солдату выжить и достойно умереть. Полководец — связующее звено между Пугачевым и Екатериной II, которые полярны и непримиримы. Император порождает бунтаря, а бунтарь тщится примерить Мономахову шапку... Суворов являет фигуру трагическую, выступая покорным носителем чужой воли — полицейским офицером. Миссия его незавидна.

Герой, естественно, Пугачев. Символ бунта. Художница старательно показывает исключительность героев. Пугачев, как дух вещества, сгусток вырвавшейся энергии. Солдаты уходят, Суворов уезжает на очередную баталию, а огненно распятый Пугачев остается. Как в каждом призывающем, в нем горечь неосуществленных надежд. Он не достигает людей и не слышит их отклика, хотя они рядом.

Не ксерксы, грозные, наполеоны, гитлеры или сталины (в своей сущности мясники на бойне) создают историю. Одеревеневшее человечество возносит их над собой, принимая хитрость, жестокость и равнодушие за провидчество и гениальность. Удобнее с подозрением относиться к соседу, но молиться мессии во плоти. Не принимая обожествления легенд и кровавой полутьмы мифов, Назаренко пытается прорваться сквозь оцепенение, сквозь частокол застывших к думам еще живых. Она знает: историю творят не вожди и не народ. Историю создают лучшие умы эпохи и самые обыкновенные благородные люди. Но стихия возводит вокруг них необратимую ситуацию, которую они не в силах предусмотреть и преодолеть.

Не экология, не социальные противоречия способны погубить человека — лишь его собственная косность. Только личное очищение, покаяние, оттаивание и возвышение духом могут спасти мир.

... Чиновник, как самое ядреное зерно толпы, смотрел на «Пугачева» светлым взглядом пустоты, ощутившей опасность наполнения. Художница подняла руку на его кумира. Чиновнику никогда не понять, что Суворов в роли полицейского стража не столь жалок, как он сам, охраняющий памятник насилию над правдой.

Искусство должно, искусство обязано. Теория отображения объявленных успехов — правда, намек на необъявленные неудачи — ложь? Впрочем, суть не в войне постулатов. Суть в планомерном замалчивании талантливого в искусстве, лишении его права на существование путем регулировки чиновником главных клапанов — морального (выставки) и материального... Чиновник всегда видит свою главную задачу в возведении глухой стены. Даже вокруг бабочки он готов возвести склеп.

А Назаренко живет с постоянным ощущением окна. Мир — анфилада все расширяющихся комнат. Пространство не замыкается — мир входит в него, преобразуя темницу в светлицу.

Окно — один из героев многих ее картин. Люди у окна, близкие сердцу предметы на окне; окно, как часть жизни. Как впервые раскрывшийся глаз птенца и как инструмент, позволяющий отличить врага от друга.

Не проходим ли мы мимо настоящей жизни? Стремясь к мелким целям, молясь надуманным идеалам, лжем самим себе больше, чем другим, и воспринимаем день зарплаты как лучший праздник. Обременяюще-выспренним нам кажется полет. Идея — это идеализм, а нам не до полетов. И, останавливаясь у картины художника, мы испытываем протестующее недоумение: зачем он открывает окно в иное измерение? Пусть он страстен и пылок, но зачем же так нетерпелив? Его нетерпение оскорбляет нашу привычку быть только в очереди за первоочередными иллюзиями. Окно радует открытиями, но уничтожает иллюзии, позволяющие жить здесь.

Что для Назаренко искусство? Работа, нить соединяющая, любовь к экстремальным ситуациям? Атмосфера, в которой можно быть искренним. Бессловесные парят в невесомом пространстве.

Художницу провозглашают давним вестником нового реализма. Или ты меч, вонзающийся в мир, или цветок, в нем произрастающий. Как, где, у кого учиться гуманизму? Жесткий человек Назаренко призывает к пониманию связей жизней, времен, культур. Человечество едино. Художница надеется на гуманное прозрение человеческих душ. Живет в ней романтическая надежда, что красота лучших людей и благородных поступков вызовет умиление и грешники покаются. Но сомневается ум: покаются ли? Чтобы покаяться, надо осознать себя грешниками.

И возникает в картинах тот гиперсентиментализм, который и возвышается с гордым достоинством, и взывает к милосердию. Воздев руки, Назаренко полураспинает себя в пространстве. Великолепный букет с лилиями и ромашками парит над ее головой, как ноша и дар. Мука несущего красоту человека.

Она стучится в глухую стену, поражая умелой смелостью и риском циркача. Жизнь циркачей всего лишь пародия на жизнь людей. Пародия более достоверная, чем сама жизнь. Равнодушно-любопытствующие, чинно-служебные «избранные» взирают на пляшущих, стоящих на руках, изображающих, вылезающих из кожи циркачей («Представление»). Последние отстаивают свои «номера», свое право на существование. Между ними потерянно бродит недоумевающая циркачка Назаренко. Противопоставление играющих в солидность и решающих — возлюбившим игру свободы, но зависимым. Примеряющих на любую жизнь крепко сшитый двубортный пиджак — эфемерным, колеблющимся, сомневающимся, но рождающим вечную материю духовной жизни. Назаренко на фоне густого неба с отчаянной улыбкой бесстрашно идет по невидимому канату, сотканному из этой материи, над сборищем двубортных, приземленных шляпами лиц, собравшихся на свои любимые, для них жизненно-энергетические жюри, комиссию, комитет, бюро... Чиновники, они всегда в стае.

«Искусство — это риск»... Что может она, даже не пылинка в необъятном космосе, крохотный человечек на небольшой планете Земля, житель одной из ячеек дома-улья? Чем она вооружена? Орудия ее примитивны. Кисти, краски, полотно. С ними она отправляется в путешествие во времени и в глубь человеческой души. Космические перегрузки таких путешествий преодолеть не всякому.

Назаренко живет на переломе эпох. Микро- и макроэпохи пытаются разрушить цельность мировоззрения, растянуть душу, как резиновый жгут. Пытаясь соединить эластичность души с металлом убеждений, художница, ясновидец поневоле, старается отторгнуть враждебное и предупредить. И когда она это делает, на авансцену выходит чиновник в маске и авторитетно заявляет, что народ ее не поймет. Не примет. Народное искусство — понятное искусство, простое, как мычание коровы. Официальная фетишизация термина «народ» всегда подразумевала подтасовку и замену. За грозным определением «не для народа» стояло «не для чиновника». Художница знает, что люди не очень любят прорицателей и пророков. Скоморохи понятней им. Прежде при светских дворах актеров, художников, писателей считали людьми второго сорта. Лакеями духовной сферы. Они работали на заказ, и им платили. XX век принес видимость славы, но не дал освобождения. В глубинах человеческих душ осталось прежнее отношение к артистам как к обслуге. Многие из деятелей культуры, впрочем, с удовольствием именно так себя и ведут. С гордым видом инженеров, собирающихся монтировать человеческую душу в любом угодном направлении, становятся они в очередь за очередным орденом или премией. Еще во времена самого глухого застоя Назаренко предпочла отвергнуть заказ, стать скоморохом, оставляя за собой право менять декорации и обращать внимание на тех или иных действующих лиц. Гротеск становился ее тенью. Она стала вести игру на грани будто бы развлечения и самой опасной правды.

Чиновник натягивал маску народа. Чиновник, размножаясь в подписях передовиков, публиковал осуждающие письма в газетах; принимал всевозможные постановления, оплевывавшие оперы, романы и картины; создавал мертвую зону, в которой вырастали поколения, лишенные возможности знать свою культуру и воспринимать культуру человечества. Это более всего беспокоит Назаренко. Образовался среднестатистический зритель с безапелляционным требованием похожего, потому что непохожее для него — табу. Назаренко думает, что настоящий зритель у нас рождается только сейчас.

Объявляется белый танец. Вон их сколько манекенов — чиновников и зрителей. Но Назаренко минует их и выбирает самого лучшего партнера — неприкрашенную жизнь. «И пусть толпа колеблет твой треножник...»

ЗАСЕДАНИЕ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ

Операция «Периферия»

КЛОНДАЙК В АРЕНДУ

Деревня Синенькие Саратовской области — глиняный Клондайк. Красная, белая, желтая глины — прямо под ногами. Андрей Челобанов, двадцатишестилетний художник-керамист, возил образцы на лабораторный анализ — и диагноз таков: синеньская глина по своим показателям намного лучше, чем знаменитая грузинская или подмосковная абрамцевская. Ярко выраженный терракотовый цвет.

Мы стоим на волжском утесе, на восьмиметровых залежах красной глины, и пытаемся обнаружить край великой реки, ее другие берега, но берега не видно. Река дразнит своей свободой, подстегивает Андрея.

О своем затянувшемся конфликте с директором совхоза Тазеевым, который не хочет предоставлять ему полную свободу, он рассказывает яростно, чуть ли не с нотками классовой ненависти в голосе.

Андрей появился в директорском кабинете более года назад с идеей открыть керамический цех, наладить выпуск «гончарки» — ваз, блюд, кувшинов, молочников, чайных сервизов.

Каждая вещь — в одном экземпляре, авторская, высокого художественного уровня. (Это потом планы расширились — продавать лицензии на серийный выпуск изделий, производство напольной и парковой скульптуры, выполнение заказов по оформлению столовых, школ, детских садов, клубов. Когда фирма разбогатеет, окрепнет, можно будет осуществить главную мечту — приглашать сюда, в Синенькие, одаренных выпускников Мухинского и Строгановского училищ, молодых художников-керамистов из Грузии, из того же Абрамцева, непризнанных гениев, зарывающих свой талант на промкомбинатах,— да мало ли толковых ребят по стране! Здесь — заключай договор на какой угодно срок и делай из глины что хочешь. Создал Вещь и — если выложился до «голяка», хочешь уйти на дно — получай свои проценты (кстати, немалые) и свободен. Но это потом, а пока задумка была одна — цех.)

Михаилу Мавлетовичу Тазееву идея понравилась, и он отдал Андрею старый детский сад, три окна которого упирались в Волгу, закрепил ответственного человека из конторы, пообещал все: рабочих, стройматериалы, транспорт, деньги, оборудование.

Старый детский сад уже даже не числился на совхозном балансе. Рабочие, которых выделил директор, оказались людьми малокомпетентными. Рыть котлован, разгребать мусор — это можно, а вот что-либо посложнее...

Вместе с женой Ирой Андрей форсированно ликвидировал разруху, мало-мальски благоустраивая дом для жилья. Вставляли рамы, рыли канаву в сто метров для водопровода, доставали и укладывали трубы, проводили электричество, клали печь в доме, делали канализационный сток, санузел.

С некоторой натяжкой полуразваленный детский сад можно было в конце концов назвать Домом.

...Чашу терпения Андрея переполнило требование Тазеева поскорее запускать не оснащенные еще печи: «Где ваша продукция? Не вижу отдачи...»

Какой смысл запускать печи, если нечего обжигать? Какая продукция, на каком оборудовании ее делать? Где обещанные директором барабан, шаровые мельницы, фильтр-прессы, где, наконец, гончарные станки? Только на оборудование для «гончарки» нужно около 60 тысяч рублей.

То, что у директора нет денег, Андрей понял довольно скоро. Ну так дайте самим заработать, дайте выполнить прибыльные заказы — предложений полно, на эти деньги можно приобрести часть оборудования.

«Сначала покажите продукцию»,— упрямо твердил Тазеев.

Тогда и решил Андрей Челобанов избавиться от бессмысленной совхозной опеки, выкупить дом, выплатить затраченные на них совхозом незначительные суммы, взять небольшой кусок земли вокруг своего хозяйства в аренду и стать кооператором. Нашлись и надежные спонсоры (к примеру, Энгельсский завод запальных свечей), готовые ссудить под проценты крупные денежные средства, появились возможности приобрести хорошее оборудование — гончарные станки, вакуум-пресс, гипсомодельный станок для работы с фарфором и фаянсом.

«Надо подумать, подойдите через неделю» — таков был встречный лозунг директора. А через неделю: «Сейчас не до вас, есть дела поважнее».

Что удерживало директора от получения легких и чистых доходов с аренды, от соблазнительных предложений Челобанова: в будущем, когда у кооператива появятся деньги, вкладывать часть прибыли в благоустройство села (ведь им здесь жить — им, дочке Арине!), бесплатно оформить детский сад, почту, клуб? Почему Тазеев, вероятно, уже осознав свою изначальную ошибку — связался с хлопотным керамическим предприятием,— не спешил отказаться от Челобанова?

Возможно, надеялся склонить его на производство «массовки» — потока пусть не халтурных, но все же одноликих, теряющих авторскую неповторимую ценность изделий. Для этого средств нужно, ну, наверное, вдвое меньше. Возможно — и это представляется мне более важной причиной,— Михаил Мавлетович усмотрел в существовании кооператива, то есть достаточно сильного и независимого (в частности, в финансовом отношении) соседа, причем на своей собственной территории, опасность... лично для себя.

Поясню, в чем дело. Представим, что энергичные, инициативные ребята действительно стали самостоятельными. Выкупили дом, отдали долги совхозу, взяли в аренду землю. Приобрели оборудование, и дело пошло: посыпались заказы, появились большие деньги. Как вы думаете, потерпят ли они все те бытовые и моральные неустройства, что существуют в Синеньких? Неустройства, с которыми мирится директор и к которым, увы, притерпелись молчаливо-покорные односельчане.

С отсутствием в деревне дорог. С тем, что врачи местной поликлиники, не умеющие и не желающие лечить, к тому же не ходят на вызовы. (Ира рассказывала, как во время болезни Арины, когда у дочери была постоянная рвота, она

долго и безуспешно пыталась затащить врача к себе домой, и только после того, как Арину стало рвать кровью, они, напуганные, прибежали и сделали укол.) С тем, что в тесном детском саду малыши иногда спят на раскладушках прямо в коридоре, на сквозняке. С грязной и так редко работающей баней. С засильем «конторского» начальства, со всеми этими «замами завов», зевающими и перекладывающими из ящика в ящик бумажки и, главное, не принимающими без визы директора ни одного самостоятельного решения. (Даже парторг совхоза А. Н. Еремеев, в другом месте — еще какая власть, в разговоре со мной все кивал на Тазеева: как, дескать, он решит — так и будет. И насчет штакетника, чтобы хозяйство свое Андрей и Ира смогли огородить, и насчет выхода ребят «на свободу».) С тем, в каких убогих условиях работают на животноводческом комплексе доярки. От зари до зари — в навозе, обслуживая по пятьдесят коров и получая зарплату «от молока». А это может быть, знаете, сколько? За март сего года, за двадцать один рабочий день, доярка Любовь Фомичева получила 56 рублей.

«Самое обидное то,— говорит с возмущением Ира,— что «контора», живущая за счет труда доярок, относится к ним как к какой-то низшей касте. И какую только видимость работы там не создают — лишь бы не попасть самим работать на ферму!»

Так вот, разве будут все это терпеть те, кто уже сейчас, не имея в руках ни средств, ни связей, ни какой-либо фактической, реальной силы, говорит о существующих безобразиях прямо в глаза на каждом углу? О том, что хозяйство развалено и продолжает разваливаться, что директор подмял под себя все, а сам не спешит решать многие наболевшие вопросы.

А если будет создан кооператив, выпускающий высококачественную продукцию, имеющий крупные средства? Что подумают о директоре жители Синеньких, когда не он, а эти самые кооператовщики, «новые нэпманы», будут благоустраивать село, прокладывать асфальтовую дорогу, строить столовую, новую баню, оформлять детский сад, почту? А это неизбежно, ибо, повторюсь, им и их детям, а может, и внукам здесь жить.

А Михаил Мавлетович уже наверняка вперед просчитал, какой силы будет это удар по его авторитету.

«Когда-то наш район был одним из центров гончарства,— рассказывает Андрей Челобанов.— В селе даже работала целая артель. Обидно, что сейчас керамикой Средней Волги и в теоретическом плане никто не занимается, и в практическом — ходим по глине, бери, как говорится, рукой и вкалывай, лопать еще хоть сто лет местный живой фольклор или твори что-то свое... Но вот фантастика — никому это не нужно!..»

...Вот что мучает меня: найдем ли мы для каждого энергичного и полного сил арендатора, безуспешно стучащего в директорские и председательские кабинеты по полуразваленным деревням Руси, по толкачу, по корреспонденту, по не знаю еще кому? Неужто так и отдадим судьбу деревни и в конечном итоге — всей страны (а ведь аренда, слава богу, признана одним из главных условий возрождения нашего сельского хозяйства!) на милость «доброго барина», коим может явиться или не явиться совхозный директор или колхозный председатель?

Или перестройку каждый понимает по-своему?

Саратовская область

Александр МАЛЮГИН

С тех пор как существует 20-я комната, ее гости делились с читателями своими мыслями на самые разные темы. К сожалению, наши страницы не могут вместить всех Ваших писем. Сегодня Вы имеете полную гарантию быть услышанными: для этого надо принять участие в опросе «АНКЕТА 20-Й КОМНАТЫ», который проводят социологи лаборатории изучения общественного мнения Московского университета.

Внимательно прочтите вопросы и все варианты ответов на них. Выберите ответы, в наибольшей степени соответствующие Вашей точке зрения, и обведите кружком их номера. Если ни один из вариантов Вас не устраивает, впишите ответ сами. Вырежьте анкету из журнала или просто пришлите нам номера Ваших ответов.

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ ВЫ СЧИТАЕТЕ «БОЛЕВЫМИ ТОЧКАМИ» СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ. (Отметьте только самые важные проблемы.)

Рост организованной преступности, насилия, наркомании 001
Обострение продовольственной проблемы, дефицита предметов первой необходимости 002
Противодействие аппарата экономической и политической реформе 003
Расцвет эгоизма, индивидуализма 004
Падение влияния партии и комсомола на идеологическую сферу 005
Рост имущественного и социального расслоения общества 006
Обострение межнациональных отношений 007
Активизация сил, которым выгодно ослабление страны и дискредитация социализма 008
Доведенные до предела разгильдяйство и безответственность 009
Обострение экологических проблем 010
Другое (впишите)_____

ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО НИЖЕ ВЫ МОГЛИ БЫ ОТНЕСТИ К ГЛАВНЫМ ЗАВОЕВАНИЯМ ПЕРЕСТРОЙКИ?

Новое политическое мышление, оздоровление международных отношений 011
Демократизация избирательной системы, активизация деятельности Советов. 012
Расширение гласности, возрастание роли средств массовой информации 013
Становление нового хозяйственного механизма, рост инициативы и предприимчивости. 014
Плюрализм мнений, активизация политического сознания населения 015
Восстановление исторической правды 016
Возврат к общечеловеческим ценностям 017
Вывод войск из Афганистана. 018
Возникновение и деятельность самодеятельных общественных организаций и объединений 019
Многообразие духовной, культурной жизни в стране . .020
Другое (впишите)_____

ЧЬЕ МНЕНИЕ В ОЦЕНКАХ СОБЫТИЙ, ПРОИСХОДЯЩИХ В СТРАНЕ, ДЛЯ ВАС НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМО?

Родители, близкие родственники. 021
Друзья, знакомые 022
Коллеги по работе, учебе. 023
Преподаватели, руководители 024
Политические лидеры. 025
Публицисты, писатели, ученые 026

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ВАС:

Ваш пол: жен. — 031; муж. — 032;
Возраст: (число лет)_____
Род занятий: школьник — 033; учащийся ПТУ — 034; учащийся техникума — 035; студент вуза — 036; рабочий — 037; крестьянин — 038; военнослужащий — 039; медицинский работник — 040; инженер — 041; учитель — 042; научный работник — 043; работник искусства — 044; журналист — 045; служащий — 046; партийный, профсоюзный, комсомольский работник — 047; кооператор — 048; домохозяйка — 049; другое — 050.

Образование: неполное среднее, среднее — 051; незаконченное высшее. высшее — 052.

На «неформальной» волне

Первый номер «Демократического университета», независимого студенческого журнала, вышел в сентябре 1988 года и разошелся по рукам почти моментально. Вскоре появились гонцы от различных факультетов Московского университета с просьбой выделить номерок. Совершенной неожиданностью стал приезд порученца первого секретаря Красноуфимского РК ЛКСМ Свердловской области с тем же заданием. Это при том, что со всеми последующими перепечатками, ксерокопированием удалось оторваться от первоначальных пятидесяти машинописных всего на двести дополнительных экземпляров. Один из этого числа лег на стол секретаря парткома журфака. И поскольку ни обещанного Г. Песковым обстоятельного разбора, ни элементарного запрещения не последовало, можно было считать, что первый шаг от пресловутого «подполья» сделан.

И все же самиздат остается самиздатом. И стереотип восприятия властей предержащих не дает ему право на существование даже при условии полной «безобидности» информации.

Трудностей у издания порой больше, чем страниц в номере. При том, что большую часть материалов «ДУ» составляют перепечатки официальной прессы, ни одна инстанция не хочет брать издание под свой статус. Знакомятся, загораются и... тут же остывают, услышав, что «ДУ» намерен и под официальной опекой сохранить право на независимость суждений.

Издаваться же машинописно крайне неэффективно, дорого и долго. Но даже при этом планы у редактора весьма значительные. При малейшей возможности собирается дополнить ежемесячник недельными обзорами текущих событий, намерен издавать литературное приложение и своеобразное ревю культурной жизни, писать о рок-музыке. Но желания, как всегда, упираются в возможности, собственные возможности в чужие обещания, а чужим обещаниям все чаще и чаще оказывается грош цена.

Кстати, о «грошах». На опубликованный во втором номере счет сберегательной кассы, к радости и некоторому удивлению издателей, уже поступили первые пожертвования инкогнито. Помогли и еще собираются помочь материально кооператоры, прекрасно знающие, что значит начинать с нуля. Словом, идеал русского интеллигента, путь к которому редактор «ДУ» Олег Пшеничный видит через возможность свободно высказывать свое мнение, близок не только «безумству храбрых».

Развитие критического отношения общества к самому себе предполагает, по-моему, преодоление страха инакомыслия — это, во-первых, во-вторых, максимальный доступ к любой информации и, в-третьих, возможность беспрепятственно выражать свою точку зрения.

Одно дело, когда весь мир читает документы нашей партии на второй день после их появления на свет, а основная масса коммунистов лишь предвкушает десятилетиями знакомство со «своими» же решениями. Гораздо хуже, если информация лежит под рукой, но недостаток времени или опыта делает ее недоступной. И в том и в другом случае редакция «Демократического университета» намерена помочь студентам.

Прискорбно, но традиции, которые несли в себе прошлые поколения русского студенчества, благополучно загублены. Носителями передовой общественной мысли так и остаются изрядно полысевшие «шестидесятники», с надеждой ожидающие смену. Увы, мы, молодые, жизненно «мудрее» и «опытнее» их, так как не делаем даже того, что уже разрешено или ненаказуемо.

Читая в ноябре прошлого года на экономическом факультете МГУ лекцию «Перестройка глазами Запада», Джон Бэдл, советолог из Гарримановского института, удивлялся пассивности студентов Московского университета, которые, по его мнению, до сих пор не могут понять, что «всех все равно не отчислят».

Нелинованный лист

СИСТЕМА

Татьяна МИЛОВА

ПОПЫТКА СТАТИСТИКИ

...Каждый десятый из населения стоит в очереди,
Каждый десятый из очереди стоит при галстуке,
Каждый второй из при галстуке стоит и читает,
Каждый десятый из вторых читает Толстого...

При этом девять десятых из при галстуке вне очереди
Знают, что Толстого лучше читать в автобусе,
При этом девять миллионных из при галстуке вне очереди
Знают, что продукт лучше получать прямо на дом...

Но еще существуют девять десятых населения за вычетом при галстуке,
Из которых приблизительно половина живет в сельской местности,
Из которых приблизительно каждый сотый гонит табуретовку,
Из которых приблизительно каждый первый знает законы —

Из чего проистекает парадоксальная ситуация,
Когда табуретовку покупает за бешеные деньги
Каждый двадцатый из той половины, которая в городе,
При этом каждый десятый из двадцатых обратно при галстуке...

При этом каждый тысячный из при галстуке посещает консерваторию,
При этом каждый сотый из населения пытается пролезть без очереди,
В результате чего некий гражданин при галстуке
Бьет приемом каратэ некоего гражданина при ватнике...

...И я спрашиваю вас, Лев Николаевич, зачем вы писали свое собрание,
Если каждый десятый из населения стоит в очереди,
И зачем Наташа Ростова танцевала на балу,
Если каждый десятый из при галстуке покупает табуретовку,
И я спрашиваю вас, Сергей Александровнч, поняли ли вы теперь,
Зачем вы резали аены тогда, в «Англетере»,
И я спрашиваю вас, Александр Сергеевич, будете ли вы стоять,
Пока я на полчасика отойду за сардельками?

Это вовсе не призыв к студенческой революции или массовым беспорядкам. Но молодежь действительно имеет право читать книги Джерри Рубина и Нормана Мейлера, отрывки из известного дореволюционного сборника «Вехи», доклад Молотова на сессии Верховного Совета СССР 31.10.1939 года, статьи Ж.-П. Сартра, В. Розанова, Б. Кистяковского, которые пока собраны, опубликованы и стали хоть минимально доступны в единственном «Демократическом университете», с января поставляемом в читальный зал журфака МГУ усилиями О. Пшеничного, И. Степанова, А. Корзуна, А. Писарева, которым, может, действительно «больше всех нужно».

Олег РОМАШКОВ.

2 марта этого года в городе Фрязино (ближайшее к столице Подмосковье) произошло следующее. Маленького ребенка в тяжелейшем состоянии доставили на «Скорой помощи» в городскую больницу. Но во Фрязине, как оказалось, нет детского хирурга. И медицинское оборудование немногим лучше, чем было в 1913 году. А у трехлетнего малыша целый букет болезней, приобретенных еще до рождения. Во Фрязине с такой патологией не сталкивались, то есть подобных операций не делали. В Москве есть клиники, где специализируются на таких операциях. Делать операцию во Фрязине — огромный риск. До столицы всего тридцать километров. Останкинская телебашня видна с крыш наших домов. Но необходимо официальное разрешение чиновничьего аппарата на госпитализацию в Москве.

Оказывается, вечером и ночью такое разрешение могут получить исключительно москвичи, но не жители ближайшего Подмосковья. Москва — сердце первой соцдержавы отказывает в помощи малышу! Время идет. Ребенку хуже и хуже. Ребенку поставили подключичники (разновидность катетеров). Родственники и врачи звонят дежурному по Минздраву РСФСР: телефоны 928-44-76, 925-28-48. Оттуда посылают в другую инстанцию СИСТЕМЫ. Звоним дежурному по области: 253-65-64, потом в Главное управление здравоохранения г. Москвы. Ведь год назад малышу делали операцию именно в Москве. (Правда, была очередь в Минздрав за разрешением, затем очередь на прием и еще, чтобы лечь непосредственно к специалистам.) Начинаются непонятные драматические телефонные «игрища». Рекомендуют новые телефонные номера.

Звоним. Фанатично преданные подданные СИСТЕМЫ швыряют трубки на свои телефоны и разговаривать не желают. А ребенок УМИРАЕТ.

МОНИКИ. Детская хирургическая клиника Русаковской больницы. Здесь предлагают подождать до утра. Но утром малышке вряд ли уже будет нужна помощь. НИКТО не берет на себя ответственность РАЗРЕШИТЬ СПАСТИ ЧЕЛОВЕКА. Может быть, не позволяют инструкции? В нашей больнице выделили бы машину, но, по словам врачей, ни одна клиника в Москве не возьмет тяжело больного ребенка без санкции свыше.

Опираясь на свой глобальный опыт, врачи советуют взять такси и отвезти малышку в тяжелейшем состоянии, на грани смерти, в Москву.

Значит, если на «Скорой помощи» — Москва не примет. А если на такси, то докторам в московской клинике разрешат.

Но для этого теперь нужна расписка. Мы, родственники, должны взять под свою ответственность еще теплющуюся жизнь ребенка. Чувствуете, где настоящий профессионализм? Случись самое трагичное, ответственны только мы — родственники.

А ребенку все хуже и хуже.

...Малышку прооперировали во Фрязине. Хотя перед операцией предупреждали о самом страшном. Врачи сделали все, что было в их силах и даже больше. Трехлетнего человека спасли. Спасибо вам, доктора Рудина, Калинина, Волошин!

Может быть, попробовать изменить СИСТЕМУ, пока мы еще живы, а?

Владимир КАНОШЕНКОВ,
член клуба «Перестройка»

г. Фрязино,
Московская обл.

Оформление Дмитрия Кедрина

20 КОМНАТА

К нам в «20-ю комнату», как это обычно бывает, зашла девушка. «Вот, поглядите»,— сказала она и достала несколько графических листов. На всех них была Москва: не рекламно-позолоченная, а знакомая только москвичам. Двухэтажные купеческие домики, старые мосты, извилистые улочки... На вопрос «почему ты рисуешь Москву?» Юля Николаева ответила немногословно: «Просто я живу на Арбате. Живя здесь, нельзя не увлечься Москвой».

Юля Николаева после окончания Московского художественного училища памяти 1905 года работает в школе учителем рисования. Работы Юли участвовали в 6 выставках, были и на аукционах.

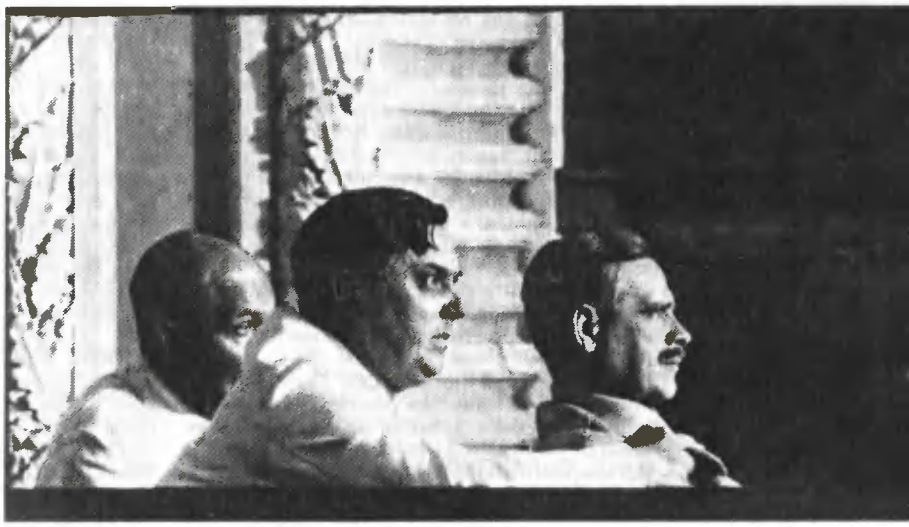
Посмотрите на ее графику. Наверное, кто-то и узнает эти места.

ФОНД РЕСТАВРАЦИИ МОСКВЫ
СЧЕТ №
609110

Рой
МЕДВЕДЕВ

ОНИ ОКРУЖАЛИ СТАЛИНА

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ «НАСЛЕДНИК» СТАЛИНА



15 июля 1938 г. Георгий Маленков (в центре) на I сессии ВС РСФСР
Фото Павла Трошкина (из архива Карины Трошкиной-Савельевой)

Он мог бы еще заседать в Политбюро

Несколько лет назад я должен был побывать в Измайлове в больнице для старых большевиков, где лечилась моя знакомая. В небольшой палате на четыре койки возле одной из больных сидел мужчина, лицо которого, показалось мне, я раньше видел. Это был Георгий Максимилианович Маленков, бывший премьер Советского правительства, многолетний фаворит и даже «наследник» Сталина. Он приехал в Измайлово, чтобы навестить свою жену Валерию Алексеевну, которой он был обязан началом страшной карьеры. Маленков сильно похудел, но, хотя и был стар, отнюдь не смотрелся дряхлым стариком. Было заметно, что он тщательно следит за своим внешним видом и здоровьем. Странно было сознавать, что в нескольких шагах от меня сидит человек, который когда-то хладнокровно отправлял на казнь и страдания десятки тысяч тех самых старых большевиков, для лечения которых и была построена эта огромная больница в Измайлове. Еще более странно было предположить, что этот человек из другой эпохи мог бы и в 1980 году заседать в Политбюро или возглавлять правительство. Ведь Маленков был всего на десять месяцев старше М. А. Суслова и на несколько лет моложе А. Я. Пельше, которые тогда еще были влиятельными членами Политбюро. В начале 80-х годов наше руководство было самым старым (по возрасту) в мире, и Маленкову вполне нашлось бы место среди этих людей, близких ему также по взглядам и убеждениям.

Человек без биографии

О Маленкове трудно написать даже самый краткий очерк. В сущности, это был человек без биографии, деятель особых отделов и тайных кабинетов. Он не имел ни своего лица, ни собственного стиля. Он был орудием Сталина, и его громадная аласть означала всего лишь продолжение власти Сталина. И, когда Сталин умер, Маленков продержался у руководства страной и партией чуть более года. Наследство Сталина оказалось чрезмерно тяжелой ношей для Маленкова, и он не смог удержать его в своих, как обнаружилось, не слишком сильных руках.

Георгий Маленков родился 8 января 1902 года в семье служащего. Согласно краткой официальной биографии, Маленков еще в 1919 году ушел добровольцем на фронт защищать Советскую власть и в апреле 1920 года вступил в партию. Он был политработником эскадрона, полка, бригады и даже Политуправления Восточного и Туркестанского фронтов. Однако, по неофициальным данным, он работал всего лишь писарем в политическом отделе и никогда не поднимал бойцов в атаку. Он плохо стрелял и едва держался на коне, но хорошо вел делопроизводство. По окончании гражданской войны Маленков не стал возвращаться домой в Оренбург, а приехал в Москву и в 1921 году поступил в Высшее техническое училище. Вскоре он женился на Валерии Голубцовой, которая занимала незначительную должность в аппарате ЦК РКП(б). Этот брак стал первой ступенькой в стремительной партийной карьере Маленкова.

Успехи в кабинетной работе

До начала 1925 года Маленков был студентом Высшего технического училища. Многие студенты — члены партии 1923—1924 годов — увлекались Троцким, и платформа троцкистской оппозиции нередко собирала большинство в студенческих ячейках того времени. Но Маленков с самого начала стоял на ортодоксальных позициях и выступал против троцкистов и их платформы. Когда после поражения Троцкого была создана комиссия по проверке студентов — членов партии, поддерживавших оппозицию, в Москве в нее вошел и двадцатидвухлетний студент Георгий Маленков. Его активность была замечена. По совету и настоянию жены Маленков оставил институт перед самым его окончанием ради работы техническим секретарем Оргбюро ЦК РКП(б). Он проявил себя отличным

Продолжение. Начало см. в №№ 3, 5, 6 и 8 за 1989 год.

канцеляристом. Года через два Маленков стал техническим секретарем Политбюро.

Когда Маленкову исполнилось 50 лет, в приветствии ЦК о нем говорилось как об «ученике Ленина» и «соратнике Сталина». Маленков не был, конечно, «учеником Ленина», которого мог видеть только издалека. Но со Сталиным Маленков встречался часто, как и любой технический работник аппарата Политбюро. Молодой Маленков не был главным лицом в этом небольшом техническом аппарате, он подчинялся личному секретарю Сталина А. Поскребышеву. Однако Маленков не слишком долго задержался на чисто технической работе.

В конце 20-х годов Сталин добился смещения Н. А. Угланова с поста первого секретаря Московского комитета партии. Было сменено и все бюро столичной организации, обвиненное в принадлежности к так называемому «правому» уклону. Во главе Московской организации вначале встал Молотов, но в 1930 году «вождем» московских большевиков был избран Каганович. Он-то и выдвинул Маленкова на более ответственную работу. Маленков стал заведующим орготделом в Московском комитете партии. Фактически это был отдел кадров, с помощью которого осуществлялись все назначения в московских райкомах, а также утверждались секретари всех крупных первичных партийных организаций. В это время Маленков знакомится со многими лидерами партии, с такими молодыми выдвиженцами, как, например, Н. С. Хрущев. Работу по «чистке» Московской партийной организации от всех бывших оппозиционеров (тогда это означало еще лишь исключение из партии или понижение в должности и только в крайнем случае — арест) Маленков провел, с точки зрения Кагановича, да и Сталина, очень хорошо. Между тем Сталин сразу же после XVII съезда партии стал перестраивать весь аппарат ЦК ВКП(б), подготавливая его к предстоящим новым и более жестоким «чисткам». Ему нужны были свежие кадры. Сталин и раньше знал Маленкова. К тому же Каганович был о Маленкове наилучшего мнения. И когда возник вопрос о назначении нового заведующего отделом руководящих кадров ЦК ВКП(б), выбор Сталина пал на Маленкова.

Почти одновременно с Маленковым Сталин выдвинул на самые ответственные посты в партийном аппарате и Н. И. Ежова. Ежов стал секретарем ЦК ВКП(б) и занял вместо Кагановича пост председателя Комиссии партийного контроля. Между Ежовым и Кагановичем началась скрытая вражда из-за влияния на Сталина, которую последний только поощрял. Маленков, хотя не был еще членом ЦК, принял сторону Ежова и вскоре стал одним из его ближайших друзей, тогда как с Кагановичем у него сложились теперь крайне неприязненные отношения. Под руководством Ежова и при активном участии Маленкова в первой половине 1936 года в стране была проведена проверка партийных документов. Фактически это была еще одна «чистка» партии и канцелярская подготовка террора. На каждого члена партии заводилось весьма подробное «личное дело».

Тайные пружины террора

Если Сталин был главным организатором и вдохновителем массового террора 1937—1938 годов, то Ежов — главным исполнителем этой страшной кровавой кампании. Именно Ежов, назначенный осенью 1936 года наркомом внутренних дел СССР, возглавил карательные органы, которым предоставлялись чрезвычайные полномочия по выявлению, изоляции и уничтожению тех людей, которых стали теперь называть «врагами народа». Маленков действовал в тени, но именно он был одним из тех, кто под руководством Сталина приводил в движение наиболее важные тайные пружины террора. В книге «Крушение поколения» Бергер, однако, писал: «Маленков в отличие от Молотова и Кагановича не нес прямой ответственности за сталинский террор 30-х годов». Это мнение ошибочно. Формально Маленков не входил тогда ни в какие руководящие государственные органы. Он присутствовал в качестве делегата на XVII съезде партии, но не был избран ни членом, ни кандидатом в члены ЦК ВКП(б), не вошел он и в комиссию партийного и советского контроля и даже в Центральную ревизионную комиссию. Формально он не участвовал, таким образом, в Пленумах ЦК, включая и февральско-мартовский Пленум 1937 года. И тем не менее, находясь во главе отдела руководящих кадров ЦК ВКП(б), Маленков сыграл в событиях 1937—1938 годов не менее важную роль, чем Ежов, Берия, Каганович и Молотов. Наделенный чрезвычайными правами, Маленков руководил репрессиями не только в тиши своего кабинета, но и непосредственно на местах, в различных республиках и областях. Было немало случаев, когда Маленков лично присутствовал на допросах и пытках арестованных партийных руководителей. Так, например, Маленков вместе с Ежовым выезжал в 1937 году в Белоруссию, где был учинен настоящий разгром партийной организации республики. Осенью этого же года Маленков вместе с Микояном посетили Армению, где также был репрессирован почти весь партийный и советский актив этой республики. При участии Маленкова составлялся план репрессий во всех областях РСФСР, затем в его отделе подбирали новые кандидатуры секретарей обкомов и горкомов на место арестованных и расстрелянных.

Чтобы замаскировать масштабы террора, в январе 1938 года в Москве был проведен Пленум ЦК, который рассмотрел вопрос об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии. На этом Пленуме присутствовали всего 28 из 71 члена ЦК, избранных на XVII съезде партии. Лишь несколько человек с тех пор умерло, тогда как почти 40 человек было к тому времени арестовано. Характерно, что Пленум обсуждал доклад Маленкова, который формально не был членом ЦК. Январский Пленум ЦК не остановил массовых репрессий, которые еще много месяцев свирепствовали по всей стране.

В 1937—1938 годах Маленков работал в постоянном контакте с Ежовым. В журнале «Партийное строительство», который некоторое время редактировался Маленковым, мы можем найти множество восхвалений в адрес Ежова — «сталинского наркома», «верного стража социализма». Но Маленков не разделил судьбы Ежова и с конца 1938 года стал работать в тесном сотрудничестве с Л. П. Берия, сменившим Ежова на посту главы НКВД.

Появление на открытой сцене

По существу, только в 1939 году Маленков начинает выходить из тайных кабинетов власти и появляться на открытой политической арене. На XVIII съезде ВКП(б) Маленков возглавил мандатную комиссию и сделал на пятом заседании доклад о составе съезда. Он был избран в члены Центрального Комитета ВКП(б), а на Пленуме ЦК 22 марта 1939 года — секретарем ЦК. В этот Секретариат, возглавляемый Сталиным, вошли также А. А. Андреев и А. А. Жданов. С тех пор Маленков неизменно был в составе этого органа ЦК, который в повседневном практическом руководстве партией играл при Сталине, пожалуй, даже большую роль, чем Политбюро. Маленков был избран также членом Оргбюро ЦК. Отдел руководящих кадров ЦК был реорганизован в Управление кадрами ЦК ВКП(б), во главе которого попрежнему оставался Маленков.

Постепенно стали расширяться и проблемы, которыми теперь занимался Маленков как секретарь ЦК. Маленкову было поручено, например, контролировать проблемы развития промышленности и транспорта. Когда в феврале 1941 года состоялась XVIII Всесоюзная конференция ВКП(б), посвященная хозяйственным проблемам и итогам выполнения первых лет третьего пятилетнего плана, то главный доклад на ней о задачах промышленности и транспорта сделал Маленков. После конференции состоялся Пленум ЦК, на котором Маленков был избран кандидатом в члены Политбюро. Он занял отныне прочное место в ближайшем окружении Сталина.

Маленков в годы войны

Когда началась Отечественная война, Маленков, к удивлению многих, вошел в первый же состав Государственного Комитета Обороны, хотя он не был еще в то время полноправным членом Политбюро. В первые два года войны Маленкову приходилось выезжать во главе специальных комиссий на те участки фронта, где создавалась угрожающая ситуация. В августе 1941 года он находился в Ленинграде, осенью того же года — под Москвой, в августе 1942 года, как член ГКО, прибыл в Сталинград, чтобы помочь в организации обороны города. Но постепенно Маленков перестал принимать участие в решении чисто военных вопросов и сосредоточился на отдельных проблемах военно-оборонного производства. Его главной задачей стало оснащение Красной

Армии самолетами. Как известно, после огромных потерь советской авиации в первые недели войны германская армия имела превосходство в воздухе до конца 1942 года. Однако соотношение сил стало меняться в 1943 году. Советская промышленность сумела обеспечить отечественные ВВС большим количеством современных машин, и уже к моменту сражения на Курской дуге превосходство в воздухе стало переходить к Красной Армии. Определенные заслуги в налаживании производства самолетов были и у Маленкова, в связи с чем ему было присвоено в сентябре 1943 года звание Героя Социалистического Труда. Осенью того же года Маленков возглавил Комитет при СНК СССР по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от оккупации.

В 1944 году, когда победа СССР над Германией вполне определилась, в ЦК ВКП(б) было проведено под руководством Маленкова специальное идеологическое совещание. На этом совещании ставился вопрос о пересмотре отношения к немецкому классическому наследию. Было, в частности, принято решение «О недостатках и ошибках в освещении истории немецкой философии конца XVIII — начала XIX вв.». Совещание продолжалось несколько дней. Как раз тогда Сталин и высказал свою многозначительную по форме, но нелепую по содержанию мысль о том, что немецкая классическая идеалистическая философия является консервативной реакцией на французскую революцию. Сталин добавил также, что для немецких философов была характерна апологетика прусской монархии и третирование славянских народов. Было решено сохранить присужденную ранее Сталинскую премию только за первыми двумя томами «Истории философии» и изъять третий том, посвященный немецкой классической философии.

Осенью того же 1944 года Сталин созвал в Кремле расширенное совещание, на которое были приглашены члены Политбюро и Секретариата ЦК, первые секретари республиканских и областных комитетов партии, руководители оборонной промышленности, армии и государственной безопасности. Речь шла о «еврейской проблеме». В своем вступительном слове Сталин — правда, с некоторыми оговорками — высказался за «более осторожное» назначение евреев на руководящую работу в государственные и партийные органы. Каждый из участников совещания понял, однако, что речь идет о постепенном вытеснении лиц еврейской национальности с ответственных постов. Наиболее подробным на этом совещании было выступление Маленкова, который и обосновывал необходимость «повышения бдительности» по отношению к еврейским кадрам. Вскоре после совещания в ЦК ВКП(б) партийные комитеты различных уровней получили подписанное Маленковым директивное письмо, которое тогда называли в партийных кругах «маленковским циркуляром». В нем перечислялись должности, на которые назначение людей этой национальности было нежелательно. Одновременно вводились и некоторые ограничения приема евреев в высшие учебные заведения.

Сразу же после войны Маленков возглавил Комитет по демонтажу немецкой промышленности. Его работа на этом посту была нелегкой и подвергалась критике, так как многие влиятельные ведомства боролись, чтобы получить как можно больше оборудования. В этот период возникали споры и ухудшились личные отношения между Маленковым и председателем Госплана Н. А. Вознесенским. Для рассмотрения конфликтов была создана комиссия во главе с Микояном. Она вынесла неожиданное решение — прекратить вообще демонтаж немецкой промышленности и наладить производство товаров для СССР в Германии в качестве репарации. Оно было утверждено на Политбюро, несмотря на возражения Кагановича и Берия.

«Ленинградское дело»

Репрессии 30-х годов привели к гибели сотен тысяч опытных руководителей и к выдвижению на высокие посты сотен тысяч новых людей, не обладавших достаточным опытом руководящей работы. Однако начавшаяся вскоре Отечественная война принесла не только громадные людские и материальные потери. Война выдвинула новых государственных деятелей, талантливых полководцев, хозяйственных руководителей, заслуги и достижения которых нельзя было игнорировать даже Сталину. Одну из таких групп составляли бывшие партийные и хозяйственные работники Ленинграда, им покровительствовал также Жданов, влияние которого на Сталина особенно в области идеологии и руководства коммунистическим движением явно возросло.

После войны Маленков — полноправный член Политбюро. Стал членом Политбюро и Берия, с которым у Маленкова установились вполне доверительные и близкие к политическому союзу отношения. Но среди новых членов Политбюро был и Вознесенский, игравший в руководстве экономикой теперь бо́льшую роль, чем Каганович, Микоян или Маленков. Секретарем ЦК ВКП(б) был избран и А. А. Кузнецов — в аппарате ЦК он принял на себя часть функций Маленкова. Жданов и Вознесенский явно доминировали теперь в области идеологии и общественных наук, где ни Берия, ни Маленков никогда не чувствовали себя особенно сильными. Между тем Сталин уже во второй половине 1948 года стал часто болеть, в 1949 году он перенес, по-видимому, первое кровоизлияние в мозг. Все это усилило борьбу за власть среди ближайшего сталинского окружения. На короткое время еще до болезни Сталина жертвой этой борьбы стал и сам Маленков. Не без участия сына Сталина Василия было создано провокационное дело о низком уровне советской авиационной промышленности. В результате были арестованы командующий ВВС Красной Армии Главный маршал авиации А. А. Новиков, член ЦК ВКП(б) А. И. Шахурин, работавший в годы войны наркомом авиапромышленности СССР, а также многие другие работники авиапромышленности и военные авиаторы. Все эти аресты отразились и на Маленкове. Он был освобожден от работы в аппарате ЦК и направлен в Ташкент. Эта «ссылка» длилась, однако, недолго. Особенно большие усилия для полной реабилитации и возвращения в Москву Маленкова приложил Берия.

Берия в это время вел сложную интригу, направленную на компрометацию Жданова, Вознесенского и их ближайшего окружения. Маленков стал помогать Берия. Между Ждановым и Маленковым давно уже существовали крайне неприязненные отношения. Жданов и его ближайшие друзья считали Маленкова неграмотным выдвиженцем и в своем кругу называли его «Маланьей» — это был намек на женоподобный внешний облик тучного Маленкова. Берия и Маленкову удалось убедить Сталина, которого и без того раздражали теоретические претензии Жданова и Вознесенского, в «сепаратизме» Ленинградской партийной организации и выдвиженцев из Ленинграда. Так возникло «ленинградское дело», жертвой которого стали все руководители городской партийной организации во главе с П. С. Попковым. Репрессии распространились потом вниз и охватили сотни и тысячи партийных и комсомольских работников Ленинграда, ученых, тружеников народного хозяйства. Репрессии двинулись и вверх, приведя к аресту и гибели Н. А. Вознесенского, А. А. Вознесенского, А. А. Кузнецова, М. И. Родионова и ряда других ответственных работников партийного и советского аппарата. Маленков взял на себя разгром Ленинградской партийной организации, для чего выехал в Ленинград. Берия руководил репрессиями в Москве. Жданов, который недавно сам возглавлял погромные идеологические кампании, фактически был отстранен от руководства и умер у себя на даче в возрасте 52 лет при не вполне выясненных обстоятельствах. После смерти Жданова Маленков принял также и его функции в области идеологии. Под его началом набирала силу антисемитская кампания. Когда Маленков узнал, что по требованию Сталина его дочь Светлана развелась со своим мужем, в котором «вождь» усмотрел еврея, то поступил со своей дочерью Волей так же, ибо зять его был еврей.

Второй человек в партии

После гибели Вознесенского и Кузнецова, а также после смерти Жданова влияние Маленкова в партийном и государственном руководстве значительно возросло. По мере того как Сталин отдалял от себя таких старых соратников, как Молотов, Ворошилов, Каганович и Микоян, он все более и более приближал к себе Маленкова. Когда в декабре 1949 года «Правда» начала публиковать большие статьи членов Политбюро, посвященные 70-летию Сталина, то первой была опубликована статья Маленкова и лишь затем Молотова. Для всех, кто понимал значение подобных вещей, это было признаком особого доверия.

В 1950—1952 годах Маленков был, безусловно, вторым по значению человеком в партии. Влияние Маленкова возросло и благодаря его дружбе с Берия. Сталин приблизил к себе в это время еще двух человек — Хрущева и Булганина, однако их значение в партийно-государственных делах было гораздо меньшим.

Маленков был молчалив и осторожен, но его интеллект и даже роль в партии часто преувеличивались западными авторами и современными дипломатами. Георг Бартоли утверждал, что Сталин доверял Маленкову все свои тайны и поэтому последний «знал все обо всех». Бартоли писал о Маленкове:

«Он умен и осторожен, как дикий кот. Один французский политик, который встречался с Маленковым в период его подъема, говорил мне: «Он напоминал мне юного Лаваля». Подобно последнему он соединял в себе острый ум с величайшим самообладанием и осмотрительностью. Джилас, который его раньше встречал, выразился о нем в таком смысле: «Он производит впечатление скрытного, осторожного и болезненного человека, но под складками жирной кожи, казалось бы, должен жить совсем другой человек, живой и умный человек с умными, проницательными черными глазами».

В книге А. Авторханова «Технология власти» можно прочесть: *«Нынешняя КПСС — детище двух людей: Сталина и Маленкова. Если Сталин был ее главным конструктором, то Маленков — ее талантливый архитектор».*

С подобным утверждением нельзя согласиться, Маленкова ошибочно было бы называть «архитектором», а тем более «талантливым архитектором» партийного строительства. В лучшем случае он был одним из его нескольких «прорабов», причем далеко не из самых способных. Может быть, именно это и дало Сталину повод сделать Маленкова своим фаворитом. Сталин не переносил присутствия возле себя истинно талантливых людей.

В начале 50-х годов Маленков контролировал от имени Сталина не только партийный аппарат. Как член Политбюро и секретарь ЦК, он постоянно вмешивался в дела, связанные с развитием промышленности и транспорта. Однако в первую очередь ему было поручено руководство сельским хозяйством — как раз в это время с большой пропагандистской шумихой началось осуществление так называемого «сталинского плана преобразования природы». Большое значение придавалось и «трехлетнему плану» ускоренного развития животноводства. Маленков не мог справиться с такими огромными проектами хотя бы потому, что они исходили из ошибочных представлений о реальном состоянии советского сельского хозяйства к началу 50-х годов.

Как один из руководителей «идеологического фронта», Маленков назначал и снимал главных редакторов журналов. В 1950 году А. Твардовскому неожиданно предложили возглавить журнал «Новый мир». Вместе с Фадеевым и Симоновым Твардовский был приглашен к Маленкову, на столе у которого лежала голубая книжка «Нового мира». Маленков спросил: «Вы знаете, чем толстый журнал отличается от тонкого?» Твардовский промолчал, а Маленков, выдержав паузу, наставительно сказал: «Толстый журнал печатает вещи с продолжениями».

Маленков, Берия, Булганин и Хрущев были постоянными посетителями ночных ужинов у Сталина. Сталин и сам теперь нередко терял присущую ему прежде умеренность в еде и питье. Очень часто спаивал он и Маленкова. Уже под утро охрана привозила Маленкова домой, и два-три человека приводили его в чувство в большой ванной комнате. Только к середине дня он обретал способность работать.

В начале 1950 года на экраны страны вышел двухсерийный фильм «Сталинградская битва». В одном из его эпизодов показано, как Маленков, прибывший будто бы с особыми полномочиями на Сталинградский фронт, выступает перед уходящими в бой солдатами и говорит им о Сталине. Это был художественный фильм, где роли вождей исполняли известные артисты. Не было тайной, что картину несколько раз смотрел и редактировал сам Сталин. Поэтому появление в фильме Маленкова расценивалось как знак особого доверия.

После войны у нас в стране не проводилось ни съезда, ни Всесоюзной конференции партии, что было явным нарушением Устава. Однако необходимость в созыве очередного съезда партии становилась все более настоятельной. Дело было не только в том, чтобы отчитаться за проделанную после 1939 года работу. Необходимо было обновить партийное руководство и избрать новый состав ЦК. Со времени XVIII съезда прошел целый исторический период. Война, послевоенное строительство, новая международная политика и новые репрессии существенно изменили характер партийного и государственного руководства. Некоторые из членов ЦК ВКП(б) были арестованы или даже физически уничтожены, часть из них умерла или отошла от активной деятельности. С другой стороны, выдвинулось много новых людей, которые руководили крупнейшими министерствами, ведомствами, областными и даже республиканскими партийными организациями, но которые не состояли в ЦК.

Подготовкой нового съезда занималась специальная комиссия ЦК, возглавляемая Маленковым. Именно ему Сталин поручил сделать на съезде Отчетный доклад. Конечно, это тоже было признаком особого доверия. Сам Сталин в то время был уже слишком стар и слаб, чтобы в течение трех-четырех часов произносить Отчетный доклад перед большой аудиторией. Но этого обстоятельства не знал никто, кроме самого ближайшего окружения. И не это было тогда главным доводом. Культ личности Сталина достиг в тот период таких размеров, что было бы странным ставить его перед необходимостью в чем-то отчитываться перед партией и народом и выслушивать какие-либо критические замечания делегатов съезда. Наибольшее значение приобрела, как и во времена Ленина, должность Председателя Совета Министров СССР, которую занимал Сталин. Роль партии вообще была снижена. Партия не могла, например, контролировать деятельность карательных органов, которые подчинялись непосредственно Сталину. В этих условиях Сталин вовсе не считал своей обязанностью чтение Отчетного доклада на предстоящем съезде партии. К тому же незадолго до съезда в печати появился его новый труд «Экономические проблемы социализма в СССР», который сразу же был объявлен «гениальным» и «классическим». Он и должен был послужить основой для работы предстоящего съезда, тогда как Отчетный доклад казался лишь протокольной необходимостью. Такова была обстановка в нашей стране перед XIX съездом партии.

Авторханов утверждает, что перед съездом партии происходила какая-то закулисная борьба между Сталиным и Маленковым, в которой Маленков «осмелился открыто возражать Сталину» и даже одержал над ним политическую победу. «Уже к смерти Сталина,— пишет Авторханов,— партия и ее аппарат фактически находились в руках Маленкова... В 1952 году на XIX съезде Маленков выступил с Политическим отчетом ЦК партии, который должен был, собственно, делать сам Сталин. После этого для всех было ясно — либо Сталин ему бесконечно доверяет и готовит в его лице себе преемника, либо Маленков и для Сталина стал такой силой, с которой приходится считаться. В свете последовавших после смерти Сталина событий я считаю правильным последнее предположение».

Все это чистые домыслы. Маленков при жизни Сталина никогда не осмеливался возражать ему, а тем более вступать с ним в какую-то борьбу. Только полное послушание Маленкова и его безоговорочная лояльность могли быть основой того доверия, благодаря которому Сталин поручил делать Политический отчет на XIX съезде именно Маленкову. Но это вовсе не означало, что он был определен в «преемники» Сталина. Сталин не думал о смерти, он собирался еще жить и править страной долго. Более того, он намечал тогда провести новый тур репрессий, и съезд партии должен был послужить одной из подготовительных ступеней к ним.

XIX съезд партии

Нет необходимости особо останавливаться на содержании того Отчетного доклада, который был сделан Маленковым на XIX съезде партии. Его схему можно было без труда наметить заранее. Маленков не стал говорить о событиях Отечественной войны или ей предшествующих, хотя именно они были главными за период между XVIII и XIX съездами партии. Первый раздел своего доклада Маленков посвятил теме ослабления мировой капиталистической системы в результате мировой войны и обострения международного положения, проявлением чего была происходившая в то время война в Корее, а также «холодная война» между двумя мировыми системами.

Значительное внимание в докладе было уделено различным аспектам борьбы за мир, а также отношениям между СССР и дружественными ему странами. Маленков отметил успехи промышленности, которая к началу 50-х годов по валовому производству в два с лишним раза превзошла довоенный уровень. В крайне приукрашенных тонах Маленков говорил о состоянии сельского хозяйства. Так, например, он привел очень завышенные и не соответствующие действительности данные о больших урожаях зерна и под бурные аплодисменты заявил, что «зерновая проблема, считавшая-

ся ранее наиболее острой и серьезной проблемой, решена с успехом, решена окончательно и бесповоротно».

Не прошло и двух лет, как было установлено, что в стране существует крайне острый дефицит зерна, сельское хозяйство переживает тяжелый кризис и данные о валовых сборах зерна, которые приводил в своем докладе Маленков, основаны на фальсификации. Как известно, зерновая проблема в СССР не решена и до сих пор, она остается «острой и серьезной» поныне. В разделе доклада об укреплении советского государственного и общественного строя Маленков повторил известный сталинский тезис о необходимости всемерно укреплять и усиливать государственный аппарат, включая и карательные органы. Говоря о партийном строительстве, Маленков полностью оправдывал проведенные перед войной массовые репрессии. По его утверждению, в 30-е годы в нашей стране были уничтожены «выродки», «капитулянты», «гнусные предатели», «изменники», которые якобы только ждали военного нападения на Советский Союз, рассчитывая нанести в трудную минуту «удар в спину в угоду врагам нашего народа». Маленков заявил: «Разгромив троцкистско-бухаринское подполье, являвшееся центром притяжения всех антисоветских сил в стране, очистив от врагов народа наши партийные и советские организации, партия тем самым своевременно уничтожила всякую возможность появления в СССР «пятой колонны» и политически подготовила страну к активной обороне».

Как и следовало ожидать, в разделе об идеологических проблемах Маленков ссылался в первую очередь на недавно опубликованную работу Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР».

Затронул Малеиков и проблемы литературы. Он посетовал, что в нашей литературе и в искусстве до сих пор отсутствуют такие виды художественных произведений, как сатира. «Неправильно было бы думать,— сказал Маленков,— что наша советская действительность не дает материала для сатиры. Нам нужны советские Гоголи и Щедрины, которые огнем сатиры выжигали бы из жизни все отрицательное, прогнившее, омертвевшее, все то, что тормозит движение вперед».

Разумеется, что заявление было чистейшей воды демагогией. Любая сатира и после XIX съезда продолжала рассматриваться как очернительство или клевета. Через год после съезда, когда Сталина уже не было в живых, сатирик Юрий Благов написал по поводу заявления Маленкова эпиграмму:

Мы за смех, но нам нужны
Подобрее Щедрины
И такие Гоголи,
Чтобы нас не трогали.

Маленков попытался даже дать некоторые теоретические определения. Так, например, он посвятил несколько минут в своем докладе «марксистско-ленинскому» определению понятий «типическое», «типичность». «Типичность,— заявил Маленков,— соответствует сущности данного социально-исторического явления, а не просто является наиболее распространенным, часто повторяющимся, обыденным».

Критик и литературовед В. Ермилов во втором издании своей книги о Гоголе поспешил отметить, что высказывания Маленкова о типическом имеют ценность первостепенного научного открытия: «Для решения многих важнейших вопросов марксистско-ленинской эстетики, теории социалистического реализма важнейшее значение имеют замечательные по своей новизне, научной точности, широте взгляда на искусство положения доклада тов. Г. М. Маленкова о соотношении между типичностью и преувеличением, заострением художественного образа...»

Однако другие литературоведы, обратившись к той же проблеме, с некоторым смущением обнаружили, что определение Маленкова почти полностью совпадает с тем, которое в первом издании «Литературной энциклопедии» было дано в статье «Тип», подписанной псевдонимом П. Михайлов (в действительности она принадлежала перу литератора Д. Святополк-Мирского, репрессированного в конце 30-х годов и погибшего в лагерях).

XIX съезд избрал новый состав ЦК ВКП(б), список которого был подготовлен Секретариатом ЦК и одобрен Сталиным. Неожиданными стали, однако, итоги первого Пленума нового ЦК, на котором следовало избрать руководящие органы Центрального Комитета. Открыв Пленум, Сталин предложил избрать не Политбюро, а Президиум ЦК, как это было определено теперь новым Уставом. Сам Сталин зачитал и список нового Президиума ЦК из 25 членов и 11 кандидатов. В списке оказались люди, которые никогда не входили в окружение Сталина, а с некоторыми из них (например, с Д. И. Чесноковым) Сталин даже не встречался. Предложение Сталина было одобрено, хотя и вызвало недоумение у многих членов недавнего Политбюро. Хрущев писал по этому поводу в своих воспоминаниях:

«Он (Сталин.— Р. М.) не мог бы этот список сам составить. Кто-то ему составил. Я, признаться, подозревал, что это сделал Маленков, но скрывает, нам не говорит. Я потом его так, по-дружески допрашивал. Я говорю, слушай, я думаю, что ты приложил руку... Он говорит, я тебя заверяю, что я абсолютно никакого участия не принимал. Сталин меня не привлекал и никаких поручений не давал, и я, следовательно, никаких предложений не готовил. Ну, тогда мы еще больше удивились...»

Было избрано также Бюро Президиума из 9 человек. Но из этого Бюро Сталин уже после Пленума избрал «пятерку» для руководства партией. В нее вошли: Сталин, Маленков, Берия, Хрущев и Булганин. Был избран и Секретариат ЦК из 10 человек, ведущую роль в котором должен был играть Маленков.

Первый человек в партии

Вопрос о преемнике Сталина возник сразу же после того, как члены высшего руководства страны узнали о серьезности его болезни и даже безнадежном его состоянии. У постели умирающего вождя между ближайшими его соратниками велись осторожные переговоры о распределении власти. Маленков разговаривал об этом с Берия, а Хрущев с Булганиным. В сущности, все были согласны с тем, что именно Маленков должен будет занять наиболее важный в то время пост Председателя Совета Министров СССР. Это предложение внес Берия, Хрущев и Булганин согласились с ним. Одиако одновременно было решено освободить Маленкова от обязанностей секретаря ЦК КПСС и сформировать более узкий Секретариат из пяти человек: С. Д. Игнатьева, П. Н. Поспелова, М. А. Суслова, Н. С. Хрущева и Н. Н. Шаталина. Никто из этих пяти человек не считался «первым секретарем», только Хрущев был членом нового, более узкого Президиума ЦК, и поэтому он председательствовал на заседаниях Секретариата. Тем не менее именно Маленков в первые месяцы после смерти Сталина оказался первым лицом не только в руководстве государственным аппаратом, но и в партии. Он председательствовал на заседаниях Президиума ЦК, с ним нужно было согласовывать все решения директивного характера.

На похоронах Сталина Маленков первым произнес краткую речь. По форме она напоминала известную «Клятву» Сталина, то есть речь Сталина от 26 января 1924 года на II Всесоюзном съезде Советов. Только вместо повторяемых Сталиным слов: «Клянемся тебе, товарищ Ленин»,— Маленков повторял слова: «Наша священная обязанность состоит в том...»

В «Правде» появилась фотография, на которой были изображены Сталин, Мао Цзэдуи и Маленков. Все остальные политики, которые стояли рядом, были удалены умелым ретушером.

Разумеется, перед Маленковым после смерти Сталина возникло много сложных проблем. Он не мог да и не хотел решать их единоличио. Но и как позволить, чтобы кто-либо из членов Президиума ЦК взял бы на себя решение важных политических и организационных вопросов? На этой почве у Маленкова начали возникать конфликты с Берия, который произвел ряд важиых перестаиовок в МВД—МГБ и стал вести себя так, как будто он заранее был уверен в одобрении Малеиковым всех своих действий. Маленков считался другом Берия, но он не собирался быть пешкой в его руках. Это и привело к разрыву их политической дружбы и к тайному сговору с Хрущевым, в результате которого Берия был смещен и арестован.

Летом 1953 года Малеиков выступил на сессии Верховного Совета СССР с важными предложениями по экоиомическим проблемам. Одним из них было значительное снижение налогов с крестьянства и аннулирование всех прежних долгов колхозов и колхозников. Маленков также сказал, что отныне партия может больше уделять внимания развитию промышленности группы Б, то есть предметов потребления. По мнению Маленкова, темпы развития производства средств производства могли быть несколько сокращены, а высвободившиеся фонды направлены на выпуск нужных населению потребительских товаров. Эти предложения надолго обеспе-

чили Маленкову популярность среди населения и особенно среди крестьянства, ибо деревня впервые за много лет почувствовала некоторое облегчение. Среди простых людей появился и упорно держался слух, что Маленков — «племянник» или даже «приемный сын» Ленина. Главным основанием для подобной легенды было, вероятно, то обстоятельство, что мать Маленкова носила фамилию Ульянова. Она работала в первой половине 50-х годов директором санатория на станции Удельная Казанской железной дороги. Она помогала освобождению многих незаконно репрессированных людей, пока сын не сказал ей, чтобы она не вмешивалась не в свои дела.

Маленков работал много, но держался уже тогда не только скромно, но и замкнуто. Он был недоступен даже для весьма ответственных работников; например, председатель КГБ И. А. Серов часто не мог подолгу попасть к нему на прием. Маленков крайне нетерпимо относился к пьянству, которое в последние годы правления Сталина стало обычным явлением в верхах партии. Воспоминания о пьянках у Сталина вызывали, видимо, отвращение у Маленкова. По его распоряжению были закрыты многие пивные и распивочные, что привело вскоре к славной традиции распивать «на троих» в подворотнях и подъездах. Несколько раз Маленков встречался и беседовал с рядом видных экономистов, одного из которых он попросил внести «любые предложения», которые могли бы улучшить положение в экономике. Одновременно Маленков пытался укрепиться в руководстве страны, предполагая провести для этой цели некоторые перемещения. Так, например, у Маленкова сложились очень плохие отношения с Сусловым и соответственно с его близким другом первым секретарем ЦК КП Литвы А. Ю. Снечкусом, которого Маленков хотел заменить другим руководителем. В Литву была направлена специальная комиссия ЦК партии во главе с ответственным работником аппарата ЦК КПСС Ю. В. Андроповым. Однако ее участники не нашли достаточных оснований для того, чтобы признать работу партийного руководства Литвы неудовлетворительной. На заседании Политбюро доклад комиссии получил одобрение, как и выступление самого Снечкуса. Маленков не решился в этих условиях выдвинуть свое предложение о снятии Снечкуса. После заседания Маленков подошел к Андропову, взял его за локоть и тихо сказал: «Я тебе этого никогда не прощу». И действительно, Андропов был вскоре освобожден от работы в аппарате ЦК и направлен послом в Венгрию. Он вернулся на партийную работу в ЦК в 1957 году.

Интеллигенция в отличие от крестьянства, которое, конечно же, ничего не знало о всей прежней деятельности Маленкова, относилась к Маленкову с недоверием или даже с неприязнью. В стихотворении «О России», отражая эти настроения, поэт Наум Коржавин тогда писал:

В тяжелом, мутном взгляде Маленкова
Неужто нынче вся твоя судьба?..

Однако дипломаты по-прежнему гораздо больше симпатизировали Маленкову, чем энергичному и грубоватому Хрущеву, который нередко шокировал их своими вопросами и поведением. Американский посол Чарльз Болен писал в своих воспоминаниях:

«Впервые я встретил Маленкова на кремлевском банкете во время войны, но у меня не было случая поговорить с ним. Всегда казалось, что он незаметно стоит на заднем плане. В этот период он производил впечатление робота, самый зловещий прототип Сталина, с крупным, мрачным, почти садистским лицом, с челкой черных волос на лбу, с неуклюжей полной фигурой и репутацией злодея во время чисток тридцатых годов. Хотя, конечно, все сталинские помощники, включая Хрущева, приложили руку к этим чисткам. Избежать этого было невозможно.

Но в бытность мою послом я значительно улучшил мнение о Маленкове, чему способствовали наши встречи на кремлевских банкетах. Его лицо становилось очень выразительным, когда он говорил. Улыбка наготове, искры смеха в глазах и веснушки на носу делали его внешность обаятельной... Его русский язык был самым лучшим из тех, что я слышал из уст советских лидеров. Слушать его выступления было удовольствием. Речи Маленкова были хорошо построены и в них видна была логика. ...Более важно то, что Маленков мыслил, на мой взгляд, в наибольшей по сравнению с другими советскими вождями степени на западный манер. Он по крайней мере разбирался в нашей позиции, и хотя он ее не принимал, но все же, я чувствовал, понимал ее. С другими лидерами, особенно с Хрущевым, не было никаких точек соприкосновения, никакого общего языка...»

Ослабление власти и влияния Маленкова

Удаление Берия косвенным образом привело сразу же к ослаблению власти и влияния Маленкова: исчез из руководства важный союзник. Между тем ни Молотов, ни Каганович, ни Ворошилов, ни Микоян не питали никаких симпатий к Маленкову и были склонны поддерживать более простого и откровенного Хрущева. Многие обвинения, которые выдвигались Прокуратурой СССР против Берия, задевали и Маленкова. Это в первую очередь касалось «ленинградского дела». К тому же сам Берия, находясь под следствием, пытался писать Маленкову различные записки, что вынуждало последнего как-то оправдываться перед другими членами Политбюро. Сказывался и тот простой факт, что Маленков, привыкший быть на вторых ролях при Сталине, не обладал достаточно твердым характером, чтобы теперь играть в партии первую роль. Он опасался принимать важные решения, проявлял колебания и неуверенность. Сталкиваясь с возражениями, он не мог настоять на своем. Пребывание в партийном аппарате не могло выработать у Маленкова тех качеств, которые у Хрущева развились благодаря десятилетней самостоятельной работе на Украине. К тому же Маленков, как оказалось, не слишком хорошо знал проблемы и состояние народного хозяйства, и особенно сельского. Маленков даже не претендовал на руководство сельским хозяйством и с облегчением передал подготовку всех основных реформ в этой области Хрущеву, который не только фактически, но и формально возглавил Секретариат ЦК, став Первым секретарем.

Арест Берия и суд над ним, закончившийся вынесением смертного приговора, сопровождались изменением всего персонального состава карательных органов, во главе которых был поставлен ближайший сторонник Хрущева генерал Серов. Одновременно функции МВД—МГБ были значительно урезаны, в их задачу теперь не входил контроль за деятельностью партийных органов, а, напротив, МВД—МГБ были поставлены под твердый контроль ЦК КПСС, и прежде всего Секретариата ЦК, то есть Хрущева. Маленков уже не мог использовать, подобно Сталину, карательные органы в качестве опоры для своей власти.

Эти факторы к осени 1953 года значительно ослабили роль Маленкова. Высший партийный аппарат все увереннее и прочнее брал под свой контроль государственные и общественные организации, а первым человеком в партии был теперь уже не Маленков, а Хрущев. Без одобрения Хрущева не принимались никакие важные решения и назначения. В 1954 году казалось, только Хрущев знает, что надо делать, дабы громоздкий корабль советского управления двигался вперед. Именно Хрущев выдвигал большую часть важных предложений во внутренней и внешней политике. Маленков просто не поспевал за своим энергичным и деятельным соратником. А главное, у Маленкова не было сторонников в руководстве, которые видели бы в нем своего шефа и покровителя, были бы обязаны ему своим выдвижением и готовы без оговорок выполнять его указания. В этих условиях вопрос о смещении Маленкова с поста главы правительства становился лишь вопросом времени. Когда началась реабилитация всех пострадавших по «ленинградскому делу», а также более отчетливо выявилась ответственность Маленкова за плохое состояние сельского хозяйства, тяжелый кризис которого скрывался фальсифицированными данными, Маленков не стал даже бороться за сохранение своей власти и ведущего положения в партийно-государственной верхушке. 24 января 1955 года в «Правде» была опубликована статья Д. Т. Шепилова «Генеральная линия партии и вульгаризаторы марксизма», в которой содержались критические замечания в адрес Маленкова. И хотя фамилия последнего не упоминалась, адресат этих обвинений легко прочитывался.

На следующий день, 25 января, Пленум ЦК принял решение освободить Маленкова от обязанностей главы правительства. Было зачитано заявление Маленкова с признанием своих ошибок и ответственности за плохое состояние сельского хозяйства. Маленков сослался на свою «малоопытность». На Пленуме с критикой Маленкова выступили некоторые члены ЦК и Президиума ЦК, в числе которых

был и Молотов. Однако критика была не слишком резкой. Через несколько дней стенограмма январского Пленума была зачитана во всех партийных организациях. Вскоре решения Пленума были формально одобрены Президиумом Верховного Совета СССР, который назначил Маленкова министром электростанций СССР.

В день Пленума ЦК многие родные и близкие Маленкова собрались у него в особняке. Такие особняки в районе Мосфильмовских улиц были только недавно построены для членов Политбюро по инициативе самого Маленкова. Все были обеспокоены и ждали хозяина дома. Он приехал очень поздно. Войдя в гостиную и увидев родных и близких, Маленков с явным облегчением сказал: «Все остается по-старому». Его сразу поняли. Никто не ждал, что Маленков и дальше будет главой правительства. «Остается по-старому» означало, что Маленков продолжает быть членом Президиума ЦК, что он будет не только министром, но и одним из заместителей Председателя Совета Министров СССР. А это, в свою очередь, подтверждало все прежние привилегии: что он будет жить в том же особняке и что он и его ближайшие родственники будут пользоваться тем же спецобслуживанием.

Было бы, однако, неверным думать, что Маленков столь легко смирился с происшедшими переменами. Внешне он сохранил с Хрущевым самые лучшие отношения, бывал даже на всех его семейных праздниках, делал подарки его родственникам. Но при этом Маленков мечтал о возвращении власти. По свидетельству Эдварда Кренкшоу, который встречался и беседовал с Маленковым в Англии в конце 1956 года, Маленков, обычно очень молчаливый (а тем более с иностранцем), неожиданно и со злостью заявил: «Я еще вернусь»,— стараясь испепелить меня взглядом горящих черных глаз».

В «антипартийной» группе

Вместо Маленкова Председателем Совмина СССР был назначен Н. А. Булганин.

Может быть, Маленков и удовлетворился бы своей более скромной ролью, но политика дальнейшего развенчания культа личности Сталина и более глубокого и основательного расследования его преступлений, которую проводил Хрущев, пугала Маленкова. Он высказывался против постановки этих проблем на XX съезде партии, но не смог помешать Хрущеву прочесть свой знаменитый доклад. Сам Маленков, выступая на съезде, сказал всего лишь несколько фраз о вредности «культа личности», что это извращение неизбежно ведет к принижению роли партии и ее руководящего центра, к подавлению творческой активности партийных масс... к безапелляционности единоличных решений, произволу. Основную же часть своей речи Маленков посвятил проблемам электрификации СССР.

Освобождение и реабилитация миллионов заключенных неизбежно ставили вопрос об ответственности Маленкова, так же как и других приближенных Сталина, за репрессии и гибель ни в чем не повинных людей, среди которых было немало выдающихся деятелей партии и государства. Правда, в 1956 году были реабилитированы далеко не все незаконно репрессированные люди. Уже в 1957 году Хрущев настоял на реабилитации большой группы военных деятелей во главе с Тухачевским и Якиром, арест и расстрел которых был санкционирован в 1937 году Политбюро (сам Хрущев в это время еще не входил в Политбюро). Было начато расследование, берущее под сомнение законность и обоснованность приговоров по таким фальсифицированным политическим процессам 30-х годов, как процессы Зиновьева — Каменева, Радека — Пятакова, Бухарина — Рыкова, в результате которых были приговорены к расстрелу десятки виднейших соратников Ленина, деятелей Октябрьской революции и гражданской войны. Все это переполнило чашу терпения у большинства членов Президиума ЦК. Их объединил страх ответственности. Организаторами фракционной группы были Молотов и Каганович, но к ним сразу же присоединился и Маленков. Ее поражение было концом политической и государственной карьеры Маленкова. Он был исключен из Президиума ЦК и из ЦК КПСС и снят с ответственной работы в Совете Министров СССР.

Маленкова назначили директором Усть-Каменогорской ГЭС, построенной в верхнем течении Иртыша. Вскоре его перевели директором Экибастузской ГРЭС. Так же как и Каганович, Маленков был весьма либеральным директором, и ему однажды обком партии объявил выговор «за панибратство с рабочими». В 1961 году после XXII съезда КПСС он был исключен из партии и отправлен на пенсию. На съезде много говорили о преступлениях Маленкова, о его близости к Ежову и Берия, о том, что Маленков нередко сам присутствовал при допросах и пытках заключенных. Он мог считать, что еще слишком легко отделался.

После XXII съезда КПСС Маленкову и Кагановичу все еще не позволяли вернуться в Москву. Каганович получил такое разрешение только в 1965 году, после прихода к власти Брежнева, а Маленков в 1968-м.

Маленков на пенсии

Переход из мира власти и привилегий, крайне замкнутого и в значительной мере секретного, в общий мир со всеми его трудностями и проблемами был крайне тяжел для всех, кого удаляли от власти. Но особенно он был невыносим для чопорного и не приспособленного к обычной жизни Маленкова, уже с молодости оказавшегося в советских «коридорах власти». Без поддержки своей жены Валерии Алексеевны, которая как личность оказалась сильнее и умнее своего мужа, Маленкову было бы совсем трудно. Он и раньше не отличался особой общительностью. Неудивительно, что в течение более чем 25 лет после исключения из партии Маленков жил крайне замкнуто, почти не появляясь на людях и не вступая, в отличие от Кагановича, в контакт с простыми гражданами. Он не предлагал журналам своих мемуаров, не занимался в читальных залах московских библиотек.

У Маленкова была хорошая квартира в доме на 3-й Фрунзенской улице. Большую часть года Маленков проводил на своей даче под Москвой. Раньше он ездил по Москве и ее пригородам только в бронированном лимузине. Теперь ему приходилось брать билеты на обычную электричку. В пути он молчал, иногда перебрасывался замечаниями со своей женой. Маленков сильно похудел, и поэтому его не всегда узнавали даже его сверстники, а тем более молодые люди, которые никогда не видели его портретов. Ежегодно летом Маленков отдыхал и лечился в привилегированных санаториях, но и здесь держался отчужденно, редко вступал в беседы с отдыхающими. Однажды Маленков случайно встретился со старым большевиком Ю. Фридманом. «А ведь я, Георгий Максимилианович, имеино благодаря вам провел пятнадцать лет в лагерях»,— сказал Фридман. «Я ничего об этом не знал раньше»,— ответил Маленков. «Но я же сам видел вашу подпись на своем деле»,— возразил Фридман. Маленков, не желая продолжать разговор, быстро отошел в сторону.

О Маленкове до недавнего времени ходило немало слухов. Упорно говорили, например, что Маленков крестился и регулярно посещал церковь. Находятся люди, которые утверждают, что видели Маленкова в небольшой церкви в Мытищах и в поселке Ильинское недалеко от Кратова. Говорят, что бывал он и в большой Елоховской церкви в Москве. Несколько раз в течение последних двадцати лет он посещал по каким-то своим делам Министерство электростанций СССР. Кроме дочери, у него два сына, оба они ученые, доктора наук. О них я слышал только хорошие отзывы.

Необщительность и чопорность Маленкова скрывали не столько значительность, сколько посредственность его личности. Его преступления не будут забыты, сколь бы усердно он их ни отмаливал, пока был жив.

Маленков умер в январе 1988 года в возрасте 86 лет. О его смерти наша печать ничего не сообщала в отличие от смерти Молотова. Отставного премьера похоронили узким семейным кругом и, опять-таки по слухам по традиционному церковному обряду. Похороны состоялись на Кунцевском кладбище, и здесь не было ни одного западного корреспондента, они узнали о смерти Маленкова только через две недели. Все же большинство газет западных стран, пусть и с опозданием, подробно комментировали смерть несостоявшегося «наследника» Сталина. Мне трудно говорить о Маленкове как о талантливом государственном деятеле, способности которого были лишь деформированы или погублены страшной эпохой сталинизма. Нет, он был человеком вполне адекватным своей эпохе, которая находила и выдвигала таких людей, как Маленков.

(Окончание следует.)

1. Знал я, что музыку к фильму «Сестра моя Люся» по моему сценарию пишет композитор Николай Каретников. Никаких особенных размышлений по этому поводу у меня не возникало... И музыку к «Тилю Уленшпигелю» написал он, также и музыку к фильму «Бег». Не стану уверять, что был поражен композиторской работой в этих киофильмах. Хотя запомнились мощные церковные хоры в «Беге», и что-то ощутимое, как пространство,— причем пространство неуютное, какое-то искаженное и трагическое,— осталось в душе после музыки «Тиля»...

Познакомились с ним случайно на бензоколонке вблизи Рижского вокзала. Впереди меня заправились светлые «Жигули», отъехали было, но остановились. Из машины выскочил какой-то весьма «противоречивый» человек: был плотным, не мелким, но в движениях торопливым, даже чуть суетливым; лицо бритое, бледное, так называемое породистое, черты лица слегка надменные,— но светлые живые глаза, мальчишески приоткрытый рот, простодушная улыбка; интеллигентная речь... Узнал меня по фотографии в книге.

2. Стал бывать у Николая Николаевича, слушать его «музыку на дому». Показались совершенно замечательными живые, эксцентричные пассажи на темы «Тевье-молочника». Это поистине веселая музыка, не без самоиронии. И еще раз были прослушаны мужские хоры из «Бега» — впечатление самое лучшее.

Вдруг слышу совершенно незнакомое, нечто, в чем разобраться сразу не могу. Автор объясняет мне, что музыка написана с применением средств додекафонии. Мне никак не понять было, куда эта девалась мелодия и что же взамен нее проходит перед мною. Вместо того чтобы быть подхваченным ею, растворенным в ней и возникнуть из нее обновленным, я чувствую, что меня вовсе не собираются ни покорять и ни растворять. Меня просто берут целиком, такого, какой я есть, и приводят куда-то. То есть прежде всего опять-таки ощущение пространственное. Явственное ощущение некой материальной среды.

Совершенно меня убедила в своей живой силе и истинности музыка оперы «Тиль Уленшпигель», которую я услышал в записи. Исполняли неизвестные мне вокалисты, хор Всесоюзного радио, если не ошибаюсь. Удивительное дело! Я слушал музыку, которая мои звуковые впечатления переводила в природу зрительных и осязательных ощущений. Я различал поступь толпы, походку шута; я чувствовал масштаб вещей, о которых говорила музыка; мог ощутить расстояние до рассматриваемого за рекою города; чувствовал гулкую вогнутость сводов пыточного каземата. Чайки верещали над берегом моря, где очутилась Неле рядом с Тилем,— и я мог бы примерно определить, сколько штук их летало над песчаным берегом.

Словом, это была музыка чудная, истинная, новая.

3. И вот я читаю его композиторские, конечно же, «Темы с вариациями», мемуары, восходящие к уровню новеллистики, но не теряющие окончательно своей литературной невинности. Как пишет сам Николай Николаевич: «Я не придумал ни единого слова».

Может быть, и не придумал,— но он нашел очень простые и точные слова, чтобы рассказать о том, что для нас, простых смертных, зовется Олимпом искусства, миром композиторов, страною блаженных и досточтимых маэстро.

И что же выходит? Страна-то блаженных, оказывается, такая же, как и наша обыкновенная, многострадальная, одипартийная и великая. И замечательный композитор Николай Каретников, новатор, яркий представитель новейшей музыки,— тоже обыкновенный советский человек. Тем и силен. Тем и помечен.

Был секретарем комсомольской организации. Робел перед начальством. Ненавидел сильных мира сего, творящих произвол, беззаконие и плохую музыку, но шел их поздравлять в толпе приспешников...

И все же сам-то написал такую странную, превосходную музыку!

Анатолий КИМ

Николай КАРЕТНИКОВ

ТЕМЫ С ВАРИАЦИЯМИ

Как я стал «Почетным планеристом»

Моя бабка была строга. Однажды, будучи в некотором подпитии, Шаляпин в сцене Галицкого с Ярославной, видимо, для сценической достоверности, начал хватать ее «за грудки». Она, видимо, для еще большей достоверности и в соответствии с драматургией «Князя Игоря», прогнала его со сцены серией звонких пощечин. Публика ликовала. После спектакля он пришел извиняться.

Так вот, бабка была строга. Посему то, что она построила в Коктебеле большую двухэтажную виллу в пятидесяти метрах от дома М. Волошина, предопределило долголетнюю вендетту — бабкины представления о «хорошем» тоне напрочь отвергались буйной волошинской «командой».

Важная персона — Мария Адриановна Дейша-Сионицкая, заслуженная артистка императорских театров — предложила коктебельской «мэрии» выставить на всех углах и перекрестках оповещающие указатели: «В Лягушачью бухту», «В Яньшары», «На северный перевал», «На южный перевал», «В Судак», «В Феодосию» и т. п.

Перенесть подобное надругательство над естеством пейзажа было невозможно, и Волошин с друзьями за одну ночь

Фото Леонида Шимановича

выдернули из земли и уничтожили все указатели. Бабка подала на него в суд, и это судебное дело тянулось, к общему удовольствию коктебельчан, лет восемь.

В этой комариной войне были свои победы и поражения: суд постановлял указатели восстановить, но «волошинцы» вновь их за ночь уничтожали. Были и свои перебежчики: А. Н. Толстой прибыл в Коктебель первый раз по бабкиному приглашению, однако он не смог долго выдержать строгие нравы «Виллы Адрианы» и быстро «перебежал» в дом Волошина. Все отношения между враждующими «кланами» были разорваны.

Однако в 1947 году, когда я приехал в Коктебель и решился явиться в волошинский дом, былые распри были уже окончательно забыты. Я вошел и заявил, что «я внук Дейши-Сионицкой». Мария Степановна Волошина приняла меня совершенно по-дружески, представила проживавшим в доме и, самое главное, разрешила работать в громадной волошинской библиотеке. Несколько лет, до тех пор, пока Мария Степановна не начала плохо видеть (а это позволило кому-то утащить некоторые предметы и книги из мастерской Волошина), я каждое лето почти ежедневно имел возможность читать книги, в те времена абсолютно недоступные.

Изредка я приходил погрустить на громадный бетонный отстойник для пресной воды — он же был фундаментом,— который только и остался от бабкиной «виллы» после войны.

В начале тридцатых мой отец, не имея ни материальных возможностей, ни интереса содержать в Крыму огромный дом, передал его ОСОАВИАХИМу. Дом превратился в базу авиапланеристов и вошел в историю отечественной авиации как «Вилла Адриана». Здесь занимались авиапланеризмом многие наши ученые знаменитости — к примеру, Королев и Раушенбах. Наконец, сам Коктебель переименовали в Планерское. В 70-х годах базу выстроили уже на новом месте — на Столовой горе, и, к моему изумлению, в двух ее новых постройках повторили самый характерный архитектурный мотив «Виллы Адриана»: каждый корпус завершался открытой полуротондой с колоннами.

Однажды в Москве в разговоре с начальником планерной базы в Коктебеле я упомянул, что в раннем детстве был у бабки на ее «вилле».

«Вы внук Дейши-Сионицкой! — вскричал он.— Да вы для нас самый дорогой гость!» — И он настоятельно пригласил меня со всей семьей приехать летом в Коктебель на планерный аэродром, где нам предоставят отдельный домик.

Так и было. Мы чудесно прожили на Столовой горе месяц, и в конце пребывания в полуторжественной обстановке маленького планерного музея рядом с фотографией бабкиной «виллы» мне был вручен диплом «Почетного планериста» и медаль «60-летие планерного спорта в СССР».

А ведь у меня с детства болезнь «боязни высоты», и более чем на два метра я над землей подняться не могу.

Первый урок

Осенью 1942 года я явился в «директорский» класс Московской консерватории, имея в композиторском портфеле 16 тактов «Лунной сонаты» в до-мажоре с русской мелодией в басу. На месте Шебалина я сильно усомнился бы в возможностях двенадцатилетнего абитуриента, но Виссарион Яковлевич разглядел в этих 16-ти тактах нечто, давшее ему возможность принять меня в свой класс. Прием был завершен диалогом, который я впоследствии часто вспоминал в необходимых случаях. Жаль, что этих случаев было слишком много!

ШЕБАЛИН. Ну вот, мальчик, мы с тобой начнем заниматься... Ты не боишься? (Я непонимающе таращусь на Виссариона Яковлевича и на всякий случай молчу.) Видишь ли, я обязан тебя кое о чем предупредить. Сейчас ты будешь заниматься со мной в ЦМШ, потом, даст Бог, в консерватории, и все будет хорошо и спокойно. Но когда мы расстанемся и ты, оставшись один, захочешь писать музыку так, как ты сам считаешь нужным, я повторяю — так, как ты с а м считаешь нужным, то — должен быть готов к тому, что тебя будут упорно и жестоко бить. Поэтому я еще раз спрашиваю — ты не боишься?

Я (дрожащим от испуга голосом, очень тихо). Не-е-ет...

ШЕБАЛИН. Ну ладно... (Обращаясь к одному из учеников.) Передай мне с полки «Маленькую сюиту» Бородина... Начнем...

Он был суровым педагогом, крайне скупым на похвалы и очень язвительным в отрицательных оценках. Для работ учеников у него их было две: первая — «Это выбросить», вторая — «Это возможно». Была еще третья, самая страшная: «Это музыка из Нарпита». Заработать «Это возможно» было маленьким праздником. Только в 30 лет я услышал от Виссариона Яковлевича: «Это музыка, я доволен». Позднее он все же нашел, что́ в этом сочинении можно было улучшить.

Для меня Шебалин жив. Часто перед тем, как совершить какой-либо поступок, я думаю — что бы он сказал об этом.

Диалог

Александр Васильевич Гаук. Народный артист РСФСР, профессор, главный дирижер Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио. Сейчас трудно говорить о том, как подобный дирижер — он совершенно не мог удержать в памяти правильные темпы сочинений, которые ему предстояло исполнить,— мог быть главным дирижером, но он, однако, был им. Это обстоятельство и послужило причиной моей с ним первой встречи.

Осенью 1955 года была исполнена очень случайно и небрежно моя 2-я симфония, и я, естественно, захотел, чтобы ее сыграли нормально. Чтобы это стало возможным в главном оркестре радио, мне было предложено явиться к Гауку домой и продемонстрировать запись состоявшегося исполнения. В условленный день я появился в его квартире на улице Горького, держа под мышкой партитуру и ленту с записью.

Главной частью в моей симфонии был огромный, черно-трагический траурный марш. Он и послужил предлогом для нижеприводимого диалога в вопросно-ответной форме.

После того, как отзвучала последняя нота, установилась длительная пауза, в которой Александр Васильевич то внимательно разглядывал мою личность, то партитуру. Затем раздался вопрос:

— Тебе сколько лет?

— Двадцать шесть, Александр Васильевич... (Пауза)

— Ты комсомолец?

— Да, я комсорг московского Союза композиторов... (Пауза)

— У тебя родители живы?

— Слава Богу, Александр Васильевич, живы...

— (Без паузы) У тебя, говорят, жена красивая?

— Это правда, очень... (Пауза)

— Ты здоров?

— Бог миловал, вроде здоров... (Пауза)

— (Высоким и напряженным голосом) Ты сыт, обут, одет?

— Да все вроде бы в порядке, Александр Васильевич.

— (Почти кричит) Так какого же черта ты хоронишь?! (Тягостная пауза)

Все было ясно. Я молча собрал пленку и партитуру и направился к двери. Но чувствуя, что не могу оставить поле боя, вовсе не попытавшись хоть как-то пискнуть, все же задержался в дверях и вопросил:

— А «право на трагедию»?

— Нет у тебя такого права!! Пошел вон!!

И я ушел...

Началось...

Огромная трапезная церковь Новодевичьего монастыря была почти пуста. На клиросе тихонько пели две старушки, да еще две или три молились перед Царскими вратами. Я забрел сюда из любопытства.

Служил совсем еще молодой священник, худенький, невзрачный, как-то легко переламывавшийся в поясе, когда отдавал поклоны пред алтарем. Двигался он очень мягко, пластично, но вместе с тем вовсе не быстро. Войдя в храм, я сразу его заметил. Свечей было мало, скудный вечерний свет церковных окон не рассеивал сумрака огромной трапезной, но взгляд мой уже был крепко захвачен обликом этого человека.

Никогда не видел я такого молодого священника. По мере того, как я отстаивал службу, его священство начинало казаться мне все более и более диким: «Как?! В середине 20-го века, в самом передовом в мире государстве, где всем давно известно, что Бога нет, никакого Христа не было, что все это поповские выдумки для неграмотных старух,— молодой человек идет служить уходящей идеологии — явно же

не бескорыстно, а если бескорыстно, то он или безумец, или вовсе убогий! У меня, гордо шагнувшего в самостоятельность, полного уверенности в собственном прекрасном будущем, автора уже двух симфоний и разных других музык, комсорга московского Союза композиторов, это вызвало гнев и желание одернуть, поправить сбившегося с пути, крикиуть ему: «Брось это все! Уходи, беги отсюда! Здесь не место молодым! Там, вне церкви, тебя ждет истинное светлое будущее!»

Я подошел ближе к амвону и уперся взглядом в его худую, чуть сгорблеиную спину. Я слушал службу и чего-то ждал... Где-то на уровне живота во мне зародился зуд — желание вмешаться, что-то спрашивать, навязывать свою волю и что-то менять, обязательно менять. Но повода ко всему этому не было и, наверное, не могло быть.

В какой-то момент службы священник начал обход церкви. Он останавливался перед каждой икоиой, бил земные поклоны и по нескольку раз взмахивал кадилом.

Меня осенило: пока он обходит огромную церковь, я выберу подходящую икоиу, встану перед ней таким образом, что он ие сможет меня обойти, и посмотрю ему прямо в глаза — только так я смогу напасть на него, смутить, тем самым восторжествовать и призвать к сомнению.

Слева от алтаря висел большой образ Николы Мирликийского. Я встал спиной к икоие, мои голова и грудь оказались как раз иа уровне головы и груди святого — я как бы подставил себя вместо иего — и иачал ждать. Миновать меня было невозможио.

Ои приблизился. Он, коиечно, давио меия заметил, и я заволновался, когда почувствовал, что наши силовые лиии вступили в соприкосиовеиие. Я ждал... Время иеобычайио замедлилось...

Наконец я увидел перед собой его глаза — цвета выцинявшего василька. Несколько секунд ои смотрел мие в лицо совершеиио спокойио, тихо. Затем в его глазах промелькиуло выражение едва заметиой мгиовеииой боли и тут же исчезло, его взгляд опять был светел.

Полностью отстраиеино от меня, точио так же, как перед другими образами, ои положил земной поклои, дважды взмахиул кадилом и отошел к соседией икоие. В том, как он опустил голову перед поклоиом, в том, каким был весь его облик, когда ои переходил к следующему образу, было такое глубокое, чистое, истиниое смирение, о существоваиии которого я иикогда до того ие имел и не мог иметь ии малейшего поиятия.

Краска мучительного стыда залила мое лицо. Мне хотелось избавиться от себя самого и всех моих громко и пусто гремевших побуждений.

С той поры прошло тридцать лет. Иногда я вспоминаю его, этого молодого священиика, и благодарю за первый урок. Потом были и другие, но от этого, первого, иачвлось обучеиие души.

Who is who

В Большом зале коисерватории при большом стечеиии иародов давали 4-ю симфоиию Кабалевского.

С детства привык я уважать это имя. Когда перечислялись фамилии главиых советских композиторов, после Прокофьева, Шостаковича и Мясковского назывввлась его фамилия — четвертой. К этому времени его музыка мие уже вполие осозианио не иравилась, а сам ои как человек казался все более подозрительиым.

Итак, исполняли его 4-ю симфонию. Музыка была обычной, кабалевско-советской. Несколько обращала на себя внимаиие только третья часть — траурная. Играли хорошо — после четырех полиых репетиций. Мою 2-ю играли с одной. (Кабалевский слышал ее за 8 месяцев до своей премьеры и разнес в «Советской музыке» за отсутствие у меня «права иа трагедию».

Я сидел, слушал и злился.

После исполиения, несколько успокоившись и, видимо, под воздействием своих детских рефлексов, я решил все же пойти поздравить его.

Когда изрядная толпа отпоздравлялась и он иа какой-то момент остался в одиночестве, я подошел к нему: «Поздравляю вас, Дмитрий Борисович...» — и иичего более к этому не прибавил. Ои внимательио посмотрел иа меня и все понял: ои ведь умиенький.

Народиый артист СССР, доктор музыковедения, член Академии педагогических наук, секретарь Союза композиторов СССР, орденоносец, лауреат Сталиских премий, будущий лауреат Ленинской, будущий Герой Социалистического Труда, будущий председатель жюри конкурса имени самого себя на лучшее исполнение своих собственных произведений и будущий «лучший музыкальный друг детей» неожиданно склонился к моему уху и тихо произнес: «А что, Коленька, музычка-то говенненькая?..» — и, задержавшись на мгновение, отошел.

Мне стало страшно...

Интуиция

В 1959 г. мы должны были посетить вечерний прием, устраиваемый одним из главных московских театральных режиссеров.

Пока я завязывал галстук, жена неожиданно сказала мне:

— Сегодня там будет один из начальников отдела культуры МК партии. Мы с ним учились на одном курсе в Вахтанговском. Я знаю, что это за человек, и прошу тебя ни в какие «особые» разговоры не влезать.

— Постараюсь вообще помолчать,— ответил я.

Начальник оказался весьма элегантным и даже красивым. В застолье он сидел напротив жены, и она, на правах однокурсницы, завела с ним вполне светскую беседу. Все было мило и благопристойно.

Я сидел молча и тихонько ковырял вилкой свою шпроту.

Беседа перешла к впервые после огромного перерыва (с 30-х годов) напечатанному Ремарку. Начальиик распелся соловьем в его адрес: закатывал глаза, прищелкивал пальцами и выражал сладостный восторг. Я продолжал ковырять шпроту...

Жена неожиданно заявила ему, что Ремарк вторичен, а вот Хемиигуэй — это действительно!.. Начальник отвечал, она настаивала... Спор начал переходить в нагретую фазу.

Спорящие настаивали каждый на своем, и начальник постепенно начал наливаться краской гнева: ему возражали, а он к этому не привык... Жена ничего ие замечала и самозабвеино прославляла Хемингуэя (он в то время еще не был вновь легализован).

Дальше — больше. Начальник довольно резко повысил тон.

Я продолжал ковырять шпроту с таким видом, будто меия здесь и ие было...

Вдруг он, накалившись докрасна и сверкая взором, протянул в мою сторону обличающий палец и грозно зарычал:

— А вот эти!! Эти вообще предпочитают всякие гиутые проволочки!! (Он имел в виду абстракциоиизм.)

Вилка выпала из моей руки... Я замер с открытым ртом, из которого еще торчал шпротный хвостик.

Это же иадо! Я промолчал весь вечер, а он все равно почувствовал врага!

Воистииу чудиы дела твои, Господи!

Лекарство от тщеславия

Прославленный оркестр Большого театра до постаиовки в шестьдесят первом году моего балета «Ванина Ванини» никогда не играл музыку, написанную с примеиеиием додекафонной системы.

Нервиое напряжеиие возникло на первой же репетиции. Музыканты эту музыку не понимали и ие принимали. Они растеряино крутили головами каждый раз, когда фразу продолжал ие тот инструмент, который ее иачал. Постепеино и у меня, и у них самих возникла уверенность, что это сочиненне они чисто исполнить ие смогут.

Ситуация требовала самозащиты, и, чтобы отвести от себя обвииение в профессиоиальиой несостоятельиости, оркестр принял некое решение, о котором меня в известность не поставили.

Когда из репетиционного зала перешли в зрительный, таицовщики сразу иачали кричать со сцеиы, что им не слышиа музыка, да и сам я, сидя в пустом партере, сразу услышал, что оркестр звучит так, будто его плотио обериули ватой. Следовало предположить, что я, наверное, разучился оркестровать, а уж в этой партитуре наверняка сделвл громадиые просчеты.

После коица репетиции я забрал оркестровые партии домой и иачал карандашом вписывать в них дубли.

На следующий день я не заметил каких-либо прибавлений в звучании оркестра и вновь забрал партии, чтобы вписывать дубли.

Оркестранты, зиая, что я беру партии домой, вступили со миой в переписку. Чаще всего они писали бранные или издевательские словеса в мой или моей музыки адрес, иногда

патетические возгласы с сожалениями по поводу моей дальнейшей судьбы. В одной из партий был даже вклеен листок из отрывного календаря с портретиком П. И. Чайковского и его высказыванием: «Мелодия — душа музыки». На некоторые понравившиеся мне заявления я ответил.

Утром, на репетиции, я заранее встал около оркестровой ямы и наблюдал, как музыканты бегают от пульта к пульту, чтобы прочитать мои ответы,— мое присутствие их нисколько не смущало. В оркестре царило оживление, однако, когда они заиграли, звука у них не прибавилось. Я начал впадать в отчаяние.

Поступили сообщения о событиях, происходивших вне сцены и оркестровой ямы. Оркестранты ходили в дирекцию, звонили в Министерство культуры и в ЦК партии. Они требовали выяснить: кто он такой? Где и у кого он учился? И вообще, советский ли он человек?!

В зрительном зале начали появляться лица из Союза композиторов, принадлежавшие к так называемому «руководству второго уровня». Они тихонько садились где-нибудь в стороне, слушали и удалялись до того, как репетиция заканчивалась.

Оркестранты, уже не скрывая от меня, говорили, что на приемном худсовете сделают все для того, чтобы мой балет не был принят. Особенно лютовали первые пульты первых скрипок — они ведь «оркестровая аристократия».

Оркестр звучал по-прежнему. Я опять брал партии домой и вписывал, и вписывал дубли. Я вбивал в одну ноту и струнные, и тромбоны, и дерево, но ни на сцене, ни в зрительном зале все равно ничего не было слышно. Из оркестровой ямы клубами поднималась ненависть.

На девятый день такого репетирования, во время перерыва, один из скрипачей, который учился со мною в ЦМШ, открыл мне наконец причину «незвучания» оркестра: «Наши устроили «итальянскую» забастовку. Сговорились все играть пианиссимо».

Когда А. Жюрайтис, дирижировавший моим балетом, продолжил репетицию, я подошел к нему со стороны партера, остановил музыку и все объяснил. Он развернулся к оркестру: «Если мне сейчас же не будет дано настоящее фортиссимо, я немедленно пишу докладную в дирекцию театра!» Он показал вступление, и из оркестровой ямы раздался грохот. Я тоже остановил репетицию и, обращаясь к оркестру, прокричал: «Все ноты, написанные карандашом, не играть!»

Балет на сцене все услышал, и звучание в зале меня тоже устроило. Через три дня была назначена «генеральная».

За день до нее я позвонил Шостаковичу:

— Дмитрий Дмитриевич! Не будете ли вы завтра утром свободны часа на два или на три?

Шостакович ответил, что свободен. Я объяснил ситуацию.

— Очень прошу вас прийти и, если музыка вам понравится, защитить ее!

Д. Д. ответил:

— Я обязательно, обязательно, так сказать, приду и постараюсь сделать все, так сказать, все, что от меня будет зависеть!

Обычно в Большой театр на генеральные репетиции балетов приглашаются не занятые в спектакле артисты, ученики балетной школы, пенсионеры, члены Союза композиторов, пресса.

На сей раз двери театра оказались заблокированными, перед входом в недоумении стояла толпа, а в пустом зрительном зале сидела небольшая группа представителей Министерства культуры, члены худсовета и несколько лиц «второго уровня» из Союза композиторов. Шостакович пришел.

Оркестр играл, как мог,— ошибались то в четных, то в нечетных тактах, иногда и в тех, и в других, но все же понять, какова музыка, было возможно.

Присутствующие отправились в директорский кабинет.

Когда я вошел, там уже сидели, подбоченясь, представители первых скрипок. На их лицах было выражение волков, собравшихся задрать ягненка.

Первое слово было предоставлено Шостаковичу.

Д. Д. встал и сказал чистейшую ложь:

— Я поздравляю, так сказать, от всей души поздравляю оркестр Большого театра, который так блистательно, блистательно справился с этой труднейшей, так сказать, труднейшей партитурой!

Затем он объяснил присутствующим различные свойства моего симфонизма.

Дело было решено.

Руки скрипачей опустились вдоль боков, лица смешались, и все выступавшие вслед за Д. Д. не осмелились ему возражать. Балет разрешили к представлению.

Когда первое представление закончилось, из зрительного зала послышались бурные аплодисменты и крики «браво!».

Занавес поднимали раз за разом, и я выходил кланяться.

Легко представить себе мое состояние в эти минуты: мне тридцать лет, я вошел в Большой театр без протекции, без рекомендации Министерства культуры, выдержал тяжелейшую борьбу с оркестром и вот теперь выходил на поклоны в главном театре Советского Союза! Я победил! Партер, ярусы, ложи, огромная люстра, жители Парнаса, изображенные на потолке, прожекторы — все это рушилось на меня и переполняло тщеславной гордостью.

Отвешивая поклоны, я наконец опустил взор долу и узрел оркестр... Они все стоя аплодировали, кто в ладоши, кто стуча по спинкам инструментов. Их развернуло, как флюгер.

И я подумал: чего стоит такой успех...

Сентиментальное путешествие

В конце летнего сезона выехать из Коктебеля можно, только воспользовавшись услугами экспедитора Дома творчества литераторов. Посему мы попали в вагон, буквально набитый членами Литфонда. Билеты были в разные купе, и я сначала помог устроиться жене. Мистика началась почти сразу. Войдя в ее купе после яркого южного солнца, я не очень различил людей, в нем находившихся. Однако после того, как запихнул чемоданы на багажную полку и повернулся спиной к двери, обнаружил перед собой высокого седоаласого господина, одобрительно на меня взиравшего. Протянув в мою сторону огромную плоскую ладонь, напоминавшую ладонь Шаляпина в гриме дона Базилио, он представился низким басом:

— Князь Мещерский (или Мышецкий, или Лобаиов-Ростовский — я был настолько поражен, что не запомнил его фамилию, помню только, что из самых родовитых).

Я тоже представился. Безо всякой подготовки он продолжил:

— Скажите, вы сотрудничаете с большевиками?

Я промямлил нечто вроде: «Да, иногда случается».

— А вот я сразу вступил в партию!.. Я сразу понял, что иного не дано!

И он, ухватив за пиджак, мгновенно выволок меня в тамбур, где еще минут десять объяснял всю полезность предпринятой им акции. Практически ничего ему не ответив, я смог, наконец, вернуться в купе, где тоже оказалось интересно: его спутницами были две старушки, вначале показавшиеся мне ровесницами. На самом деле одна из них была его женой, другая тещей. У тещи на коленях возлежал огромный кот. (Общеизвестно, что где кот, там не без нечистой силы.) Обе дамы с живейшим интересом глядели в окно и иногда, указывая пальцем на нечто вовне, дуэтом восклицали:

— Ну, это-то земли Голицыных!.. А вот это уж наши!.. А это вроде бы Шереметевых... или нет... это Куракиных?!. А уж тут-то точно наши!..

Решив, что с меня для начала достаточно, я отправился вселяться в свое купе. На пороге я был встречен поблескиванием молотовско-бериевского пенсне, украшавшего переносицу нашего бывшего представителя в Организации Объединенных Наций, а ныне члена ССП Федорейко. Его супруга уже находилась на полке над ним. На другой нижней полке, под моим местом, уютно расположилась Мариэтта Сергеевна Шагиняи. Она, как обычно, беседуя, держала перед собственным носом слуховой аппарат, будто слушала самое себя. Я поздоровался, взобрался на свою полку, лег, раскрыл свое любимое в то время чтение — 2-й том «Курса» Ключевского и приялся с мстительным наслаждением в очередной раз перечитывать лекции про Ивана Грозного — характеристику правления и биографию. Так я читал некоторое время, не обращая внимания на разговор, журчавший на нижних нарах. Книга постепенно опустилась мне на живот, глаза начали слипаться, и я задремал под мирный перестук колес. Сколько продолжался сон — не знаю, но когда я вошел в полуфазу и вновь различил потолок купе, меня обеспокоил визгливый дискант старушки Шагинян:

— А я считаю, что он был гений, настоящий великий гений! И многие из нынешних этого совершенно не понимают, особенно молодые! Они вообще все фашисты! Они ничего не знают и не хотят знать! Конечно, и у него, как

и у всякого человека, были некоторые заблуждения, но чего они стóят рядом с его великими делами!

— Да-да, вы правы, Мариэтта Сергеевна! Я совершенно с вами согласен! — раздался бархатистый баритон нашего «бывшего представителя».— Действительно, молодые ничего не знают и не понимают... Конечно, у него случались отдельные ошибки, но большинство его действий были абсолютно замечательными... Как раз об этом я пишу сейчас в своей книге... Я во всем стараюсь быть объективным...

В моем полусонном мозгу случилась совершеннейшая аберрация; я все не мог взять в толк — о ком это они: об Иване или еще о ком. Меж тем старушка мирно продолжала:

— Когда я в свое время собиралась издавать мою книгу о Гете, то они там, в редакции, всячески заставляли меня вставить в текст его известное высказывание о «Фаусте» и «Девушке и смерти». Я считаю и тогда считала эту фразу как раз ошибочной, поэтому я отказалась вставить ее в книгу. И на большом редсовете в издательстве Академии покойный Вавилов, проходя мимо меня, наклонился и сказал: «Мариэтта Сергеевна, не упорствуйте! Они все равно эту фразу вставят!» И они... ее... вставили. А теперь, когда должно выйти повторное издание, они захотели ее выбросить! Но уж этого-то я ни за что не разрешу сделать.

Объект собеседования уточнился. Оно продолжалось все в том же панегирическом наклонении. Я чувствовал, что еще немного — и я просто взорвусь от ярости. Не желая, чтоб это случилось, я тихонько спустился с полки и начал надевать ботинки. Как раз в этот момент мое лицо оказалось прямо над микрофоном слухового аппарата.

— Вы уходите? — спросила старушка, протягивая мне микрофон прямо в рот. И тут бес меня попутал: вместо того, чтобы промолчать и удалиться, не выдержал и, глядя ей прямо в очки, почти заорал сдавленным тенором:

— Я больше не могу этого слышать! Этот человек стоил нашей стране пятьдесят миллионов жизней!

Лишь я замолк, старушка мгновенно сделалась малиново-красной и дико заверещала:

— Фашист!! Фашист!! Негодяй!! Ступай сейчас же вон отсюда!! Вон!! Фашист!! Фаш...!! — Она начала захлебываться и как-то странно заводить глаза. Я счел за благо поскорее выскочить в коридор. Слава богу, оба ботинка уже были надеты.

Около самого купе, с выражением живейшего интереса на лице, стоял Илья Зверев, тут же спросивший: «Что это ты ей такое сказал, от чего она воит на весь вагон?»

— Да понимаешь, они там Иосифа расхваливали, я не выдержал, сказал кое-что.

— Э-э-э, брось! Плюнь ты на нее и на ее Иосифа!.. Пойдем ко мне. У меня есть вареная курица. Утешишься, потом в шахматы поиграем.

Съели курицу, поиграли в шахматы... Эдак провели часа три. Я затосковал, но потом все же вспомнил, что у меня билет на собственное место, и отправился в логово врага. Как только я откатил дверь, старушка мгновенно завелась:

— Фаш...! — начала она на высокой ноте, но, по-видимому, тоже сообразила, что у меня билет на верхнюю полку и в этом уже иичего не изменишь...

Я вскарабкался на место.

— Что он делает? — проскрипело внизу.

Вопрос был задан «бывшему представителю», который со своей нижне-диагональной позиции мог меня наблюдать. Федоренко ответил:

— Он лежит и улыбается.

Наступило молчание. Некоторое время слушали тишину. Наконец внизу вновь заскрипело:

— А я знаю этого молодого человека... (Она иеоднократно встречала меня у Габричевских, а в более ранние годы много раз бывала иа моих импровизированных концертах в волошинском доме; она всегда сидела в заднем ряду, протягивая слуховое устройство над головами впереди сидящих.) — Я его знаю... Когда я приеду в Москву, я обязательно пойду к Тихону Николаевичу Хренникову и расскажу, какие у него в Союзе молодые композиторы..,— и т. д., и т. п.

С моей стороны не следовало никакой реакции, и это постепенио иакалило старушку. Разъяренно шипя, она выскочила в коридор. Послышался бархатный баритон:

— Молодой человек, я понимаю ваш справедливый гнев, но надо все-таки отвечать за достовериость своих слов: скажите, откуда вы взяли цифру 50 миллионов?!

— И вы, именно вы у меня об этом спрашиваете?! — вскричал я.— Это я должен был бы спросить у вас о ней!!

— Но все же, из чего складывается подобная цифра? — успокоительно вопросил Федоренко.

Тут меня понесло:

— Что ж, давайте считать. Коллективизация — десять миллионов, террор — еще двадцать миллионов, а война разве не двадцать миллионов?!

— Почему же на его счет вы относите войну?!

— И это вы, вы у меня спрашиваете?!!

— Но все же?

— Да вам же куда более известно, почему и какое у этой войны было начало, как она продолжалась и какими методами была выиграна!..

Федоренко не пожелал говорить о войне и предпочел обсудить другую составляющую:

— Однако не все же сидевшие в лагерях погибли!

— Не все! Но в те 10, 15 или двадцать лет, которые они там провели, они были мертвы и для своей страны, и для самих себя. И ведь это миллионы отнюдь не дворников — это были Мандельштамы, Вавиловы и Мейерхольды! — Я дрожал от волнения.

— Однако согласитесь, что цифра, названная вами, немного преувеличена ..

— Хорошо... пожалуйста... я готов уступить... Давайте скажем: сорок миллионов... тридцать миллионов... наконец, двадцать... Пусть будет один!.. Один невинно убитый человек — это вас успокоит?!

Федоренко не подтвердил возможности успокоения по поводу убийства одного-единственного невинного человека. Разговор все более становился похожим на беседу двух глухих и вскоре иссяк. Я, наконец, смог вернуться в нормально-лежачее состояние из состояния висения вниз головой.

Появилась старушка. Оглядев пространство купе взором военачальника, оценивающего боевую позицию, она с порога вопросила Федоренко:

— Ну, что он?

— Мы тут побеседовали с молодым человеком, и он признал, что в полемическом задоре несколько преувеличил цифру. Молодой человек признал также, что не все сидевшие в лагерях погибли...

— Ах-ха..,— примирительно начала Мариэтта Сергеевна.— Ну тогда я ему дам... компоту...

Через некоторое время около моей головы появилась банка, удерживаемая протянутой ладонью, а в ней компот, сваренный ее дочерью Мирелью. Было широко известно, что все, приготовленное Мирелью, изумительно вкусно. Банка, призывно покачиваясь, плавала вдоль моей полки, но я твердо решил, что ее «сталинского» компота есть не буду... Банка опустилась. Снизу опять донеслось уже знакомое скрипение про оскудение умов, молодежь, Хренникова и предстоящий поход к нему: «Я знаю этого молодого человека, я когда приеду...» Но все это уже потеряло энергию боя и, по-видимому, не было рассчитано на ответные действия...

Утром на московском вокзале Шагинян разговаривала в коридоре вагона со встречавшей ее внучкой. Я протискивался мимо них, держа в каждой руке по чемодану. Встречи было не избежать. Когда мое лицо поравнялось с микрофоном, старушка одарила меня сияющим взором (по-видимому, она за ночь сообразила, что вчерашняя баталия происходила не в 1951-м, а в 1961-м году) и, поводя головой из стороны в сторону при каждом слоге, шутливо пролаяла хриплым дискантом: «Гаф! Гаф! Гаф!»

На перроне княжеская фамилия, предводительствуемая котом, ожидала носильщика. Его сиятельство, протянув мне на прощание ладонь дона Базилио, напутствовал оперным басом:

— Вступайте-вступайте!.. Не пожалеете!..

Визит знатного модерниста

Позвонила Мария Вениаминовна Юдина: «Коля! Луиджи Ноно в Москве! Сейчас он в Союзе композиторов. Поезжайте туда немедленно. Он знает о вас и о Денисове и ждет, что вы появитесь. Договоритесь о встрече у меня».

Как выяснилось впоследствии, в Союзе композиторов особо готовились к этому визиту; Хреннпков собрал свое воинство и якобы произнес такую речь:

— Вот теперь бойтесь! Это вам не квкой-нибудь «свой» иностранец, мы их здесь достаточио напринимались... Едет

истинный враг: он член ЦК Итальянской компартии, зять Шенберга и настоящий модернист! Нам всем надо быть бдительными!

К моменту моего входа в приемный зал иностранной комиссии, где Луиджи слушал записи музыки наших корифеев, из этого зала уже были насильственно удалены Денисов и Шнитке. Меня, однако, никто не остановил, и я спокойно уселся напротив Луиджи Ноно между Р. Щедриным и Антонио Спадавеккиа, который был приглашен в собрание, по-видимому, только за свои итальянские имя и фамилию. Язык он давно забыл, кроме «порка мадонна» ни одной итальянской фразы не произнес, да и по своей музыкальной ориентации был в этой компании белой вороной.

Уже слушали какое-то сочинение. Дослушав 1-ю часть до середины, Луиджи попросил остановить музыку и, невзирая на настоятельные увещевания Щедрина дослушать сочинение до конца, потому что «главное еще впереди», наотрез отказался это сделать. Запустили музыку Свиридова. На нее реакция была точно такой же. Вот тут-то Антонио и выказал знание итальянского:

— Порка мадонна! Как может не нравиться Свиридов! — продолжал он уже по-русски.— Сам Свиридов! Это невозможно!!

Щедрин вторил ему, как только мог.

— Мы что же, будем демонстрировать мускулы и доказывать правоту силой? — ответил Ноно через переводчика и показал сначала на свои бицепсы, а потом даже задрал брючину и продемонстрировал мощную мышцу на голени.

В этот момент меня осторожно тронули за плечо, я обернулся. Глава иностранной комиссии прошептал мне на ухо: «Николай Николаевич, вас срочно просит к себе оргсекретарь». Извинившись, я отправился в соответствующий кабинет Союза композиторов СССР.

Бывший мой однокурсник, бывший фронтовик, бывший музыковед и бывший «славный тихий парень» (а ныне еще и бывший оргсекретарь и даже бывший композитор) сидел в своем кабинете бледный как полотно, с совершенно безумным взором, и волосы у него на голове периодически вставали от ужаса дыбом.

Беспрерывно звонили три телефонных аппарата. Схватив трубку, перед тем, как ответить в нее, он ею же указал мне на стул перед своим столом и прижал трубку к уху. Я услышал:

— Да... Да... Сидит... слушает... Да... О-о-о! Это какой-то кошмар!.. Мы здесь не знаем, что делать?!.. Да... Да... Конечно...

Он повесил одну трубку, схватил другую:

— Да-да!.. Да... Сидит, слушает... Да, конечно!.. О-о-о! Но что делать?! Он сказал, что Свиридов..! Он сказал, что Кабалевский...!! Он сказал, что Арам Ильич, сам Арам Ильич Хачатурян...!!!.. Да... Слушаюсь... будет сделано...

Повесил вторую, схватил третью:

— Да... Да... Сидит, слушает!.. Но что мы можем сделать... О-о-о!.. Да... да... Там Щедрин... Здесь... сидит передо мной... скажу... конечно, скажу...

Это продолжалось при мне минут десять. Трезвонили телефоны. Как только одна трубка вышадала из обессилевшей секретарской руки, он хватал следующую и все время смотрел сквозь меня на какой-то далеко за моей спиной происходивший кошмар. Наконец в звонках наступил небольшой перерыв, и секретарь сфокусировал взгляд уже на мне. В состоянии панического ужаса он не соображал, кто, собственно, сидит перед ним...

Умоляюще вглядываясь в меня, он спрашивал:

— Ты сидел там?.. Ну, что он делает?.. Ты думаешь, все спокойно, да?.. Просто сидит и слушает?.. И, по-твоему, ничего?.. И больше не обзывает?.. Ну, ладно, ты иди туда... последи... последи...

Теперь его взгляд сфокусировался на крышке стола, и, по-видимому, там он узрел нечто кошмарное.

Я пошел «следить»...

В зале продолжалась та же мизансцена: Щедрин и Спадавеккиа уговаривали Ноно дослушать еще какое-то сочинение. Тот был непреклонен.

После прослушивания я представился, и мы с Луиджи договорились, что встретимся у Марии Вениаминовны послезавтра.

На следующий день меня срочно потребовал к себе Хренников, чего раньше никогда не бывало. Он встретил меня на середине ковра:

— Вы втираетесь к иностранцам!! Вы всучаете им свои партитуры!!. Существует дисциплина!!. Вы занимаетесь партизанщиной!!. Мы этого не допустим!!. Мы это прекратим!!. Вы предаете Родину!!. Вы поплатитесь за это!!.

Он был в состоянии какого-то первобытного страха. В перерывах между фразами, когда он набирал дыхание для следующего выкрика, я успевал попеременно повторять: «Это неправда! И это неправда! Союз композиторов не военная организация...»

Скандал кончился безрезультатно.

На другой день у Марии Вениаминовны еще один участник драмы, сняв пиджак, в белой нейлоновой рубашке быстро носился по комнате и кричал по-французски, хватаясь за голову:

— Зачем я сюда приехал?! Что здесь происходит?! Это какой-то кошмар, сумасшедший дом!! Я ничего не понимаю!! Сидел бы в Венеции и не знал бы горя!! Какие потери времени!! Зачем мне все это?!!

Я попросил жену, говорившую с Луиджи на французском, передать ему, что он здесь всего третий день и уже сорвался в отчаяние, а мы здесь живем всю жизнь...

— Но я же ничего не понимаю! Я прошу Хренникова о встрече с Шостаковичем — тот говорит, что Шостакович уехал в Ленинград. Потом в Союзе композиторов я случайно открываю какую-то дверь и наталкиваюсь на сидящего Шостаковича... Я прошу о свидании с Рождественским — Хренников говорит, что Рождественский сломал ногу и лежит в больнице. На всякий случай я позвонил, и Рождественский оказался дома... Зачем все это?! Почему?!

«Твой современник»

После разговора о музыке Дмитрий Дмитриевич неожиданно спросил меня:

— А вот, Николай Николаевич, не видели ли вы, так сказать, вот этого фильма, этого фильма, которым все, так сказать, все очень, очень увлекаются?

— Какого фильма, Дмитрий Дмитриевич?

— Так сказать, «Твой современник», вот «Твой современник»?

— Видел, Дмитрий Дмитриевич.

— Очень интересно, что вы скажете, что вы скажете, очень интересно!..

— Ну, я не знаю, Дмитрий Дмитриевич! Наверное, вам его смотреть будет скучно...

— А почему, так сказать, почему?

— Дело в том, что главным героем в этом фильме является некий газ «каэтан», а нравственные истины, утверждаемые в нем, не выходят за рамки тех, о которых нам всем мамы в детстве говорили: не воруй, не лги, уважай старших...

— Это замечательно! Это замечательно! Как раз сейчас, так сказать, настало, настало то время, когда это надо, так сказать, надо повторять. Должно быть, замечательный, так сказать, замечательный фильм. Обязательно пойду, обязательно, так сказать, пойду посмотрю!

Наталья ИВАНОВА

ПОТАЕННЫЙ ТЕНДРЯКОВ

Лето 1933 года. Голод. На пристанционный скверик в небольшом городке, где живет десятилетний мальчик Володя, приползают умирать люди. Крестьяне, выброшенные, вычеркнутые из жизни. Страна, активно продающая зерно на экспорт, оставила без корки хлеба миллионы своих сограждан, этот хлеб добывающих. Над поселком по утрам гремит рупор радио:

Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звенят,
Страна встает со славою
Навстречу дня,—

а по утрам погромыхивает телега, собирающая трупы.

«...Я увидел истощенных людей с громадными кротко-печальными глазами восточных красавиц...

И больных водянкой с раздутыми, гладкими, безликими физиономиями, с голубыми слоновьими ногами...

Истощенных — кожа и кости — у нас стали звать шкилетниками, больных водянкой — слонами».

Мальчик — добрый. Ему стыдно быть сытым, если вокруг умирают люди (сытые взрослые обходят скверик стороной). Мальчик — из благополучной семьи. Он гордится своим отцом — о таких, как он, «сейчас поют песни и складывают сказки». Отец слышал Ленина на Финляндском вокзале; отец был в гражданскую комиссаром; у него на шее рубец от колчаковского осколка; он всю жизнь воюет с врагами. Отец объясняет сыну, что у страны не хватит хлеба на всех. Но дома хлеба много — и мальчик начинает потихоньку подкармливать умирающих. Но постепенно к нему приходят все новые и новые, и они ему неприятны; он кричит и отказывает. Но совесть продолжает точить его сознание, и для того чтобы ее успокоить, он кормит бродячего пса. «Это своего рода плата, а мне вполне было достаточно, что я кого-то кормлю, поддерживаю чью-то жизнь, значит, и сам имею право есть и жить. Не облезшего от голода пса кормил я кусками хлеба, а свою совесть».

Рассказ называется «Хлеб для собаки».

Рассказ документирован — не только авторским честным свидетельством (Тендряков говорит о своей памяти как о «памяти надежной, за которую я готов нести прямую ответственность»), но и историческими данными, «документальной репликой» историка Р. Медведева, а также ежегодника 1935 года «Сельское хозяйство в СССР» (М. 1936, стр. 222): «В 1933 году в Западную Европу было вывезено около 10 миллионов центнеров хлеба».

Если разделить эту цифру на примерное число погибших в результате организованного голода, этого крупнейшего государственного преступления против своего народа (жертвы, по предварительным подсчетам, составили 10 миллионов человек), то получится по 100 килограммов зерна на погибшего. Вот чьей кровью, чьей жизнью реально торговали. Вот такая арифметика.

Да, мальчик кормил не собаку, а свою совесть.

★ ★ ★

Его книги были широко известны, они выходили большими тиражами, по ним снимались фильмы. Писатель Тендряков боролся с «религиозным дурманом», писал о двойной морали людей старшего поколения, искал причины разлада между ним и молодыми, внимательно анализировал зарождение и расцвет конформизма внутри юного существа эпохи «застоя». Это был крепкий профессионал, писатель рассудочный, довольно схематичный, ограниченный и в своих художественных возможностях, и в своей гражданской смелости. Поэтому я, помню, несказанно удивилась, когда на мои слова об этой репутации Тендрякова немецкий критик Ральф Шредер, критик глубокий и замечательный человек, близкий друг Ю. Трифонова и В. Тендрякова, заявил резко и горячо: вы не знаете писателя Тендрякова (тот разговор со Шредером состоялся после кончины писателя). Приведу его самооценку, в высшей степени трезвую: «Я стал литератором, не считал себя приспособленцем, но всякий раз, обдумывая замысел новой повести, взвешивал — это пройдет, это не пройдет, прямо не лгал, лишь молчал о том, что под запретом... И я почувствовал, как начинает копиться неуважение к себе» («Люди или нелюди»).

И только теперь, после того как мы смогли прочитать такие его вещи, как «Пара гнедых», «Параня», «Хлеб для собаки», «Доина Анна» («Новый мир», 1988, № 3), «Охота» («Знамя», 1988, № 9), «На блаженном острове коммунизма» («Новый мир», 1988, № 9), «Люди или нелюди» («Дружба народов», 1989, № 2), помеченные соответственно декабрем 1969-го — мартом 1971 года, августом — ноябрем 1971-го, мартом 1974-го, 1975—1976 годами, я поняла, насколько Шредер был прав.

То, что мы знали про Тендрякова при его жизни — это «хлеб для собаки», это искренняя, честная работа писателя, которой он пытался успокоить свою воспаленную совесть. То, что узнали сегодня по рукописям, над которыми Тендряков работал упорно и практически без надежды на публикацию,— это безоглядная жажда в конце концов сказать правду — без всяких компромиссов со своей совестью.

И то, что было слабостью Тендрякова-известного — рассудочность, идеологическая закрепощенность, художественная ограниченность, непластичность — преодолено здесь.

Можно ли сказать, что перед нами два писателя, две творческие индивидуальности внутри одного Тендрякова?

Нет, я так не думаю. Я полагаю, что это свидетельство драматического роста, трудной эволюции, высвобождения истинного творческого ядра.

Ведь вот что важно — «новый» Тендряков рождается не на пустом месте, а из прежнего, да еще в самые неблагоприятные годы: после 1968-го, после того как с общественными иллюзиями дальнейшего очищения, десталинизации страны было покончено. Под гусеницами советских танков в августе 1968-го была раздавлена не только «пражская весна», но и наши собственные надежды. Олег Чухонцев в стихах, тоже опубликованных лишь в начале 1989 года, а написанных еще в 1971 году, определял мироощущение интеллигенции того времени как тяжко «похмельное»:

Опустошенность и тоска.
Пора ли минула,
или надежда, как река,
с разливом схлынула?
(«Дружба народов», 1989, № 1.)

Поэт в полных горечи стихах говорил о времени, как о «тупике, сжатом мертвым узлом», об обреченности («А день так и метит в висок. А темь так и дышит в затылок»), о «прикушенном языке». Приведу и свидетельство, о том же времени, ленинградского композитора С. Слонимского, чья опера «Мастер и Маргарита» (по роману М. Булгакова), написанная в начале 70-х, прозвучала впервые лишь в 1989 году: «Вообще весна 1972 года была очень тяжелой. Представьте, ровно через месяц после скандала с «Мастером и Маргаритой» я на улице встречаю Иосифа Бродского. Он был в не менее, если не в более мрачном настроении, нежели я. Мы пошли вместе... в милицию, куда Иосиф шел за какими-то документами на отъезд. Я долго не мог забыть этой «прогулки», того, как не хотел он уезжать... Моя опера, причем только первая часть, прозвучала на закрытом прослушивании в ленинградском Союзе композиторов. Реакция чиновников была устрашающей. Вето было наложено и на запись, и на партитуру» («Известия», 1989, 7 мая).

Уж несколько лет идет спор: «времена» виноваты или все-таки люди — в молчаливом попустительстве «времеиам», а то и в громких «звуках одобренья»? Стихи Чухонцева «Общие стены», «новый» Тендряков прежде всего свидетельствуют о духовном сопротивлении — как и фильм А. Германа «Проверка на дорогах» (1972 год), и дальнейшая творческая судьба кинорежиссера.

...Еще будут напечатаны и воспоминания о работе Тендрякова над этими произведениями, и будут сказаны слова о его душевном состоянии, приведены факты, обнародованы его собственные заметки и записи. Но ведь и сами эти вещи, воскресшие для нас сегодня, тоже документ.

Тендряков в иих воссоздает историю нашего общества в цепи переломных точек времени: действие его «авторской прозы» происходит в 1929, 1933, 1937, 1942, 1948, 1960 годах. «Великий перелом» и великий голод, террор и первый год войны, борьба с «космополитами» и взаимоотношения власти с творческой интеллигенцией в «хрущевские» времена. Можно ли назвать Тендрякова летописцем? Нет, это определение будет неточным и неполным. Во-первых, он страстен, во-вторых, он включает себя в анализ. Свое собственное сознание, поведение, свою оценку — тогдашиюю. Оп ие отделяет свидетельство о времеии от собственного в нем, времени, участия. Именно поэтому его вещи ломают все жаировые перегородки: горькая исповедь соединяется с художественным рассказом, эссе сплавляется с документом, ироиический мемуар — с жесткой публицистикой.

Тендряков пишет свою прозу, как бы соединяя две точки зрения: оттуда, из того времени (времени действия, происходящих событий), и — отсюда, из уже нашего времени, времени раздумья, размышления, написания. Там — мальчик, юноша, молоденький сержант, студент Литинститута; Там — пылкий, влюбленный взгляд на отца, на прекрасных, сказочных лошадей, которых даром отдает деревенский «богатей», красавец Антон Коробов бедняку Мирошке Богаткину (о фамилия, в насмешку, видно, когда-то даиная), у которого одио богатство — оциикованное корыто; Там — хлеб для собаки, романтический юноша на передовой, молодое, полное энергии дарование; здесь — усталый, тяжелый взгляд, «проклятые» вопросы, ощущение зыбкой, засасывающей почвы, в которой исчезли и кони-лебеди, и дурочка Параня, и храбрый лейтенант Ярик, юноша храбрый со взором горящим, исчез и Эмка Мандель, арестованный в сорок девятом, и оптимистические надежды первой оттепели — все, все поглотило это историческое варево, и почва эта — обескровленная, и пропитанная кровью. Все вместе. Взгляд — тяжелый, знающий, безнадежный, ибо ноша уж слишком нелегка. И звук телеги, собирающей урожай своих потерь — вот истинный хронометр этой прозы.

При этом надо отметить следующее: Тендряков останавливает мгновение в напряженной точке, но как бы на периферии центральных событий. Он не пишет о самом раскулачивании — он пишет о еще сравнительно мирной минуте, о минуте предгрозовой.

Героям «Пары гнедых» еще все предстоит вынести — и выселение из своей деревни, и эшелоны со спецпереселенцами, и смертный путь на Север или в Сибирь. Они еще балагурят, шутят, еще намерены обмануть судьбу, как хочет обмануть ее Антон Коробов, добровольно сдавший свое нажитое честным трудом (уже после установления Советской власти) имущество. «Ленин тоже навстречу нашему брату шел,— спорит Коробов с отцом Володи,— нэп утвердил». На что отец отвечает: «Ох и скользкий ты враг, Антон! Та глиста, которая изнутри точит». Над деревней словно ураган пронесся: бедняки победно переезжают в дома «богачей», «богачи», в свою очередь, должны перейти в бедняцкие избы. Мечутся по деревне на закате коровы и овцы, не знают, куда идти, звенят «остервенелые бабьи голоса». Идет передел, нарушены связи, крестьяне натравливаются друг на друга. И только Коробов предвидит грядущее: «По твоим костям пройдут и хруста не услышат»,— апокалипсически замечает он несказанно обрадованному свалившимся на него богатством Мирону.

Тендрякова интересуют не столкновение сил принуждения с крестьянами, не взаимоотношения власти и народа — он пишет о том, что творится внутри крестьянства в «сумасшедший час» перераспределения благ. Лентяй все равно останется бедным — он быстро пустит по ветру и то новое хозяйство, которое досталось ему не от трудов праведных,— так Ваня Акуля, не успев как следует расположиться в крепком коробовском доме, уже продал железо с крыши, да и загулял. А Мирошка Богаткин, напротив, купить стремится, умножить свое добро (красавцы кони гонору подбавляют). Переворошилась деревня. Непонятное, новобиблейское время! Новые пророки, новые порядки, новые апостолы. Вот и дед Санко Овин, с «апостольской лысиной», пророчествует, да и кони Антоновы, искушающие душу, не провозвестники ли они тех, апокалипсических коней, несущих мор и глад и горечь в источниках? Все пошло наоборот, повернулось изнанкой своей: мыслителей, философов из страны изгнали; крестьянина крепкого, работящего уничтожили — сиачала землю отобрали, а потом и хлеб. «И лошадей мужик скоро выгонит в леса — живите себе, дичайте. И сам мужик будет наг и дик, на Адама безгрешного похож. Птицы божии не сеют, не жнут — сыты бывают... Сыты и веселы...» И следующий по журнальной публикации рассказ — «Хлеб для собаки» — повествует о трагической судьбе этих мужиков, новых Адамов: «Кто-то задумчиво грыз кору иа березовом стволе и взирал в пространство тлеющими, иечеловечьи широкими глазами... Кто-то расплылся по земле студием, не шевелился, а только клекотал и булькал нутром, словно кипящий титан. А кто-то уныло запихивал в рот пристанционный мусорок с земли... Больше всего походили на людей те, кто уже успел помереть». Каким же словом можно назвать, обозначить тот строй, что восторжествовал в стране? Феодальный социализм — так определяют его иные историки и социологи; феодальиый — не слишком ли облегченным определение это будет? Однако черты средневековья присутствуют в мире, изображенном Тендряковым. В рассказе «Параня» недаром центральным стал образ местной юродивой, объявившей себя невестой, но не Христовой, а Сталиновой: «Параня сипло ревет, трет костистым кулачком лицо, дрожит под мешковиной своим грязным, тощим, перекошенным телом», а ревет она — «Вот ужо», ио это отнюдь не «Ужо тебе!», вырвавшееся против властителя у бедиого, помутившегося разумом Евгения из «Медиого всадника»... Как, кстати, звали его невесту? «Параше препоручу хозяйство наше и воспитание ребят...»

Кругом подножия кумира
Безумец бедный обошел
И взоры дикие навел
На лик державца полумира.
...«Добро, строитель чудотворный! —
Шепнул он, злобно задрожав,—
Ужо тебе!..»

Погибла пушкинская Параша, погиб бедный безумец; Тендряков — сознательно, нет ли — ставит свою Параню на площадь, где место бронзового кумира занимает столб, и «бодро кричит со столба радио» о новом «державце полумира»:

Он пишет законы векам и народам,
Чтоб мир осветился великим восходом.
О Сталине мудром я песню слагаю,
А песня — от сердца, а песня такая...

Пушкинский «мощный властелин судьбы» переродился в нового «истукана», но Параня не его винит, не его обличает, а врагов его: «Сверженье-покушенье!.. На родного и любимого!» Безумие пушкинского Евгения благородно, это безумие бессильного сопротивления; безумие Парани — губительно, и свидетельствует оно о распаде, растлении духовности — если уж юродивая, «святая» доносит... Тендряков верен себе: он ищет корень зла не в верхних эшелонах власти (это увлекательное занятие он оставляет для В. Белова, изобразившего Сталина несчастной игрушкой в руках неких темных сил, которые стращают бедного самодержца тем,

что держат его страшную «тайну» — якобы он являлся сотрудником царской охранки; бедный Сталин ужас как боится разоблачения и во всем подчиняется зловещим силам, а им того и надо, главная их цель — крестьянина уничтожить. Именно им, силам зла, Сталин, по В. Белову, «швырнул под ноги сто миллионов крестьянских судеб», так как «за все надо было платить», особенно за «мономахову шапку»), а в том, каковы мы сами, что сталось с народом, почему он не только всего боится, не только все терпит,— дурочкин суд готов принять за высший указ! В. Белов в «Канунах» устами доктора Преображенского уверяет, что борьба в России идет «отнюдь не классовая», а «скорее национальная, а может, и религиозная». И вот уже другой российский интеллигент, Прозоров (прозревая?), задается риторическим вопросом: «Но кто дирижирует всей этой свистопляской? Кто покорил страну?.. Неужто опять, неужто новое иго?..»

Между тем вопрос об исторической вине — существенный вопрос. Интеллигенция русская всегда страдала чувством вины перед народом, за исключением, может быть, Пушкина, всегда неожиданного?

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы? —

эти строки цитирует Тендряков в другом произведении, «Люди или нелюди», и противопоставляет их стихам Некрасова, романам Достоевского, поискам Льва Толстого, в основе народолюбия которых лежит «развитие и углубление стариной притчи о добром самаритянине, простонародном носителе бесхитростной и спасительной для мира человечности». «В меру своих сил,— замечает писатель,— я старался быть верным учеником наших классиков, и меня всегда властно тянуло на умиление перед милосердием самаритян из гущи народной, но жизнь постоянно преподносила мне жестокие разочарования». Почва может быть не только плодоносной, но и агрессивно-засасывающей, тем более тогда, когда людей захватывает темный инстинкт толпы — так жестоко захватывает тех, кто на фронте только что подкармливал немецкого пленного, молоденького солдата вермахта, и расправляются с ним те же, кто добродушно подшучивал над ним пару часов назад.

Так же юные, одухотворенные лица китайских студентов, тянущихся к познанию, дружелюбные, искренние искажаются жестокой злобой, и те же самые юноши избивают профессоров и требуют смерти. Те же самые люди, что ненавидяще унижают освобожденную из лагеря женщину, вдруг светлеют и готовы последним с нею поделиться. «Я горжусь своим народом (заметьте: не тем, что я — русский, узбек, татарин и т. п., а — своим народом.— Н. И.), он дал миру Герцена и Льва Толстого, Достоевского и Чехова — великих человеколюбцев. И вот теперь (после криков толпы: «Живым его!».— Н. И.) впору задать себе вопрос: мой народ, частицей которого я являюсь,— люди или нелюди? Как тут не отчаиваться, не сходить с ума!» Припоминает Тендряков свой давний и незаконченный спор с Валентином Овечкиным. Тендряков осмелился заметить, что, может, не «черные вороны» Сталина — причина испорченности народа, а и «черные вороны» «стали рыскать оттого, что сам народ был подпорчен — покорностью, безынициативностью...». На что Овечкин закричал: «Списывать на народ!.. На на-род!! Все равно, что кивать — стихия виновата, на то воля божья! Как можно жить с таким бессильем?»

«Он был прав — жить трудно,— заключает Тендряков.— И сам скоро подтвердил это, пустив себе из ружья пулю в голову».

Но не завершившийся при жизни Овечкина спор Тендряков продолжил уже сам с собой. Можно ли опереться на личность, выдержит ли она? Вернемся опять к дням военным, к рассказу «Донна Анна».

Действие его происходит летом 1942 года на фронте. Действующие лица — рассказчик и его фронтовой приятель, младший лейтенант Ярик Галчевский. Тендряков строит рассказ контрапунктно: сцена расстрела дезертира («нелепая домашне-постельная фигура») «разрезается» другими эпизодами и разговорами, проходит в начале как фон, чтобы в конце отозваться еще одним расстрелом — расстрелом Галчевского, восторженного романтика и идеалиста, читавшего рассказчику по ночам стихи Блока о прекрасной доне Анне, идеалиста, презиравшего приземленных и, по его мнению, даже трусливых командиров (которые берегли солдат, не открывая огонь). Из-за Галчевского, застрелившего командира, романтика Галчевского, поднявшего роту в бессмысленную атаку, погибли все.

Тендряков подчеркивает принципиальное различие между неплодотворным «романтизмом» с его эффектной фразой — умереть красиво! — и реальностью, трудным бытом-войной обычных солдат, для которых смерть отвратительна. Галчевский не принимает и не понимает этой реальности, «неуютной бесконечности степной равнины». Для младшего лейтенанта с капризным изломом губ, испепеляюще ненавидящего Есенина («Кабацкая душа! Быть нытиком во время революции!»), близка идеология жертвенности, героизма, не жалеющего ни себя, ни других. Особенно он любил «революционные и военные фильмы», «бредил сценой расстрела моряков из «Мы из Кронштадта». Если умирать, по его мнению, то «чтоб в глаза врагу, чтоб смеяться над ним!». Для Галчевского опора — «Дева Света! Где ты, донна Анна?..». Солдаты же «говорили о бабах. О бабах и о жратве — извечные, неиссякаемые темы». Галчевский презирает такую реальность, но и реальность ему страшно мстит за его романтическое презрение. Галчевский Тендрякова — это продолжение типа российского «идейного» человека, который готов «провоцировать окружающих и себя самого на жертвенные подвиги вплоть до крайней черты, до костра» (из беседы С. Яковлева с И. Клямкиным «Испытания и надежды» — «Литературное обозрение», 1989, № 4).

Рассказчик (автобиографический, как и в других произведениях «нового» Тендрякова) относится к этому типу поведения более чем сдержанно, точнее сказать — неприязненно. Недаром при первом появлении Галчевского в рассказе повествователь иронизирует: «Перо его (Галчевского.— Н. И.) шуршало в тишине, словно стая взбесившихся тараканов». И это сравнение, и другие детали облика Галчевского — его возбужденность, эйфорическая приподнятость, экзальтированность, «книжный пафос», «тревожная наэлектризованность», «захлебывающийся галопирующий голос» — сигнализируют о непредсказуемости его поведения, которая и завершилась столь тяжкими потерями людей, да и его собственной позорной смертью.

Да, это все так, скажет иной читатель, но при чем тут революционные и военные фильмы, сцены расстрела моряков («Мы из Кронштадта»)? Но для Тендрякова драматическая правда о *связи* романтической идеологии, идеологии революционной жертвенности и равнодушия к почве, к реальности несомненна. Еще раз вспомним, что рассказ был написан в 1969—1971 гг., и отметим, насколько мысль Тендрякова опережала свое время. Опережала и одновременно перекликалась с драматическими размышлениями других литераторов, например, Анатолия Якобсона, чья статья «О романтической идеологии», написанная в 1968 году, увидела свет на родине только в апреле 1989-го («Новый мир»).

Прослеживая одну из тенденций революционно-романтической поэзии 20-х годов, Якобсон замечает: «В самоотречении... поэт-романтик видит высочайший нравственный подвиг. На такой подвиг способен не всякий человек, а лишь человек стальной, кристальный, сильная личность, истинный революционный тип. Простые, мелкие людишки, обыватели должны трепетать перед такой сильной личностью, а она призвана вселять в них ужас». Поэзия этого направления формировала образ «сверхчеловека нового типа, супермена революции, поистине сильную личность». При этом она была «искренней, а потому настоящей литературой, и тем заразительней она была». То же самое можно проследить и по кинематографу: например, чувство классовой неприязни и более того — ненависти к интеллигенции формировалось и такими фильмами, как «Чапаев», где психическая атака белых комментируется так: «Красиво идут... интеллигенты!» Самое страшное, что все это, так сказать, дело рук самих творческих интеллигентов, изживавших подобным образом комплекс классовой неполноценности.

Я не хочу сказать, что создатели сцен «Чапаева» и «Мы из Кронштадта» несут ответственность за Галчевского; но то, что они *сформировали* его идеологию,— для меня несомненно.

Предположим, что так, согласится читатель, но при чем тут Блок? Это отдельная, огромная, трудная тема, но с «блоковскими» мотивами в рассказе Тендрякова перекликаются слова И. Роднянской в послесловии к статье А. Якобсона: «...Идеологическая романтизация насилия, очевидная в одном из срезов поэзии 20-х годов, — только «вершки». «Корешки» нужно искать в предшествующем десятилетии (или десятилетиях) — в эпохе «крушения гуманизма», сотрясения тысячелетних ценностей и идеалов».

Еще ждет издания на родине книга А. Якобсона «Конец трагедии», посвященная «Двенадцати» Блока (статья «О романтической идеологии» входит в уже вышедшее в 1973 году нью-йоркское издание книги как продолжение разговора о Блоке). Но в том же апрельском номере «Нового мира» опубликована работа И. Золотусского «Гоголь и Блок», где говорится о том, что «два чувства разрывают Блока: желание остановить, направить бег тройки — и броситься ей под копыта». Гибельность, пожар — вот что в 1918 году приветствует Блок. «Между «остановить» и «направить»,— замечает Золотусский,— Блок выбирает последнее», и ставит фигуру Христа перед «Двенадцатью» («идут без имени святого... Ко всему готовы, Ничего не жаль...»).

Из трагической глубины Блока поэтами революционной идеологии была вычерпнута лишь идея «крушения гуманизма». И именно поэтому Галчевский Тендрякова, наследник революционных романтиков, если можно так выразиться, идейно «замешен» и на Блоке.

И страшен крик Галчевского, прозревшего ценою стольких чужих жизней: «Убейте меня! Убейте его!.. Кто ставил «Если завтра война»! Убейте его!»

Виновата ли интеллигенция? Ответственна ли она за судьбу двадцатилетнего Ярослава Галчевского, который так любил стихи и кино? Если да, то кто же тогда ответствен за судьбы интеллигенции, изломанные поворотами государственной идеологии? Или, поэтически (сценически, кинематографически и т. п.) благословив насилие, она не смеет в дальнейшем жаловаться, если «пролетарская секира» обрушится и на ее голову?..

Об идеологическом насилии, совершаемом над интеллигенцией руками и «интеллигентов», да еще от имени народа (как, впрочем, и осуществлялись все акции подобного рода — недаром ведь создавали образ «врага народа», а не партии, скажем), повествует тендряковская «Охота». И опять Тендряков начинает повествование с документально точной даты: «Осень 1948 года». Студенты Литературного института, чьи имена называет Тендряков, тоже бывший тогда одним из студентов,— свидетели широко развернутой кампании против «космополитов» — прямой шовинистической акции, последовавшей вскоре за Победой, с которой многие фронтовики связывали надежды иа раскрепощение общества. Акция была идеологически изощренной — победителям льстили, и от имени «наиболее выдающейся нации из всех наций, входящих в состав Советского Союза» (тост «великого вождя») началась антисемитская травля. «Давно замечено,— пишет Тендряков,— победители подражают побежденному врагу». Подражание это вылилось не только в насаждение лип по всей улице Горького («Разгромив «Унтер ден Линден» в Берлине, мы старательно уprятывали под липы центральную улицу своей столицы»), но и в «повальную охоту» на «тех, кто носил псевдонимы...». Газеты «подымали русский приоритет и бичевали безродных космополитов». Начали насаждаться идеи правого шовинизма имперского толка — на смену идеям левого радикализма, торжествовавшим в конце 20 — 30-х годов, в довоенное время. Леворадикальная интеллигенция, выработавшая в свое время в качестве побочного интеллектуального продукта и то, что можно обозначить как трихины (воспользуюсь словом Достоевского) аморальности, была физически уничтожена, но сами эти трихины не исчезли, а продолжали разлагать общество. Крестьяне, нарушая правовую систему уже в 1917 году, отчасти предрешили ситуацию — народ стал и жертвой сталинизма, и его почвой; то же самое можно сказать и об интеллигенции. Естественно, не обо всей. Но жертвенно-насильственный лозунг «общественное выше личного» захватил и ее.

В новой, послевоенной ситуации, когда власти нужно было срочно «подморозить» страну, закрепостить освобождающуюся мысль, на смену классовому лозунгу был выработан национальный, на смену классовой вражде готовилась вражда национальная.

При этом деятели, через которых начала осуществляться эта кампания, уже действовали по двойной морали. Так, известно, что К. Симонов, произнесший установочный доклад по разгрому «космополитов», тут же поддержал разгромленного А. Борщаговского материально (см. об этом: А. Борщаговский. «Записки баловня судьбы».— «Театр», 1988, №№ 10—12, 1989, №№ 1—3). А. Фадеев из тендряковской «Охоты» предупреждает своего друга, Юлия Искина, о готовящейся акции. Что отнюдь не помешает ему, Фадееву, гневно заклеймить идеологических «диверсантов» и «преступников».

Но Тендряков пишет не только об этом, он спускается от литературных тревог ниже, на землю. И показывает, как идеологически «обоснованный» антисемитизм, попавший на благодатную почву, может смыкаться с бытовым чувством национального преклонения, кстати, первоначально культивируемого не кем иным, как самим Юлием Искиным...

«Тихий прохожий», «случайный человек», вступивший в беседу со студентами во дворике Литинститута, замечает: «Вас учат ненавидеть, молодые люди». По школе ненависти разных ступеней и степеней проводит Тендряков в «Охоте» — школе ненависти, объединенной единомыслием: «Весь советский народ, как один человек!» И если охота будет пущена не на «фабриканта», не на «дворянина», а на еврея, то не проголосует ли опять «весь советский народ, как один человек»? Ведь обнаруживать отступников, еретиков, «врагов» не по мысли (ее можно утаить), не по происхождению (о нем можно молчать), а по... разрезу глаз или форме носа — не проще ли будет? Проще, доступнее, очевидней? Тем более если в обществе насаждается патерналистская идеология (с «отцом» во главе)? В семье (в том числе и народов, по Сталину) разве не без урода (если развивать его же лозунг)? При этом допускается маленькая неточность: Сталина «славят за эту безродность» (он «предпочел» чужую нацию своей, чужой народ своему кровному — космополитический акт, безродный по духу), а «Юлия Искина клянут: не имеешь права считать своей родиной Москву, всю Россию! Неудачно родился, не там, где следует».

Но знаменательна и поучительна не только сама печальная история, блестяще рассказанная Тендряковым. Крайне поучителен документ, которым он ее завершает,— докладная записка доктора философских (!) наук, профессора МГУ (!), старшего научного сотрудника Академии наук, датированная 10 октября 1970 года. Философ-гуманист в ней обиженно доказывает, что кровь-то у него исключительно русская. С сибирским уклоном. А если кто подумает, не дай бог, иначе, то «указанные утверждения и слухи носят клеветнический характер» (разрядка моя.— Н. И.). Живы трихины антисемитизма в 1970 году, живехоньки они (и даже махровым цветом распускаются) и сегодня, агрессивно вытесняя место подлинного русского патриотизма, глубокой любви к своей земле и страдания за полуразрушенную культуру, благородиой работы по ее возрождению.

«Новая» проза Тендрякова идеологична. Но не в том примитивном смысле, в котором этот эпитет применялся (и насаждался) десятилетиями. Тендряков заново продумывает (и логика его работает замечательно) те клишированные идеологемы, те стереотипы, которые мы уже и не замечаем. Он же останавливается на них. Например, «безродные космополиты» — и сам Сталин, с его отказом от грузинского. Или — коммунизм. Скажем, «в глубоком детстве, еще до школы, мы услышали фразу: «Коммунизм на горизонте!»... А что, собственно, это такое — коммунизм? Как он должен выглядеть?»

Тендряков реализует, развертывает, заземляет идеологическое клише. Для того чтобы «попробовать» реальный кусочек «коммунизма», он в подробностях рассказывает о летнем дне, точнее, 15 июля 1960 года, проведенном им (и еще двумя-тремя десятками «творческих интеллигентов») на правительственной даче. Если определять коммунизм по тому признаку, что это существование вне денег в обиходе, то здесь он уже наступил. Здесь дорогих гостей встречают «старожилы коммунизма». Но не на них все-таки сосредоточено внимание Тендрякова, а на своем брате-литераторе да композиторе, художнике да певце, на их «мелких телодвижениях»: «лезли и лезли (к Хрущеву.— Н. И.), заглядывали в глаза, толкались, оттирали, теснились и улыбались, улыбались...»

У Фазиля Искандера в «Кроликах и удавах» есть саркастический термин: «Допущенные к столу».

Взаимоотношения власти и интеллигенции — вот что остро волнует Тендрякова. Сможет ли она, творческая интеллигенция, уже на новом этапе истории, после XX съезда, обрести чувство собственного достоинства, стать свободной? И «истину царям с улыбкой говорить»?

Смогла. Но не «на блаженном острове Коммунизма», вернее, островке, а за своим письменным столом. Свидетельством чего и явился неожиданный, потаенный Тендряков, который справился с искушением понемножку «подкармливать собаку». Он отдал нам весь хлеб своей совести.

ПРОЦЕНТ ВЕЛИЧИЯ?

«...думал, думал, да ни с того, ни с другого заворотил в кабак...»

Н. В. Гоголь, «Мертвые души»

Алкогольная тема, столь горячо дискутировавшаяся в недалеком прошлом, сегодня практически исчезла с газетно-журнальных полос, уступив место более важным и острым социально-политическим вопросам. Но оправданно ли забвение, пусть даже временное, проблемы, десятилетиями мучающей, если не сказать терзающей наше общество? Давайте обратимся к мнению человека, уже не один год специально изучающего этот вопрос,— заведующего кафедрой статистики Московского института народного хозяйства имени Г. В. Плеханова, доктора экономических наук, профессора Б. И. Искакова. Тем более что Борис Иванович в своих научных изысканиях утверждает: массовое и регулярное употребление алкоголя ведет народы нашей страны к генетической катастрофе.

КОРР.: Как вы пришли к столь удручающему выводу, профессор?

Б. И.: Начну с небольшого исторического экскурса. В прошлом веке французский психиатр Морель установил, что алкоголики вырождаются в четвертом поколении. Открытие Мореля было, я бы сказал, предчувствием социального закона, над обоснованием которого мы (я и мои коллеги) сейчас работаем и заключающегося в следующем. «Генетическая прочность» любого народа может быть, образно говоря, «спрессована» в три поколения. Если в течение этого периода на генофонд нации оказывается какое-либо достаточно интенсивное разрушающее воздействие, ей грозит генная деградация, а следовательно, и общий упадок. Однако за тот же срок, при особо благоприятных условиях, народ в состоянии подняться на вершину генетического здоровья, а значит, и социального процветания. Как в первом, так и во втором случае характер нации изменится до неузнаваемости. Разумеется, в стороны полярно противоположные. С такими же последствиями эти процессы при меньшей интенсивности разрушающих влияний могут происходить на протяжении жизни четырех и более поколений. А в случае сверхэкстремальных воздействий, по мнению, например, академика АМН СССР Ф. Г. Углова,— даже двух.

Прогресс и регресс общества протекают в прямой зависимости соответственно от богатства или бедности его генофонда. А точнее — от количественного соотношения больных и здоровых граждан. И если половина детей в стране рождается ослабленными и число их в следующих поколениях увеличивается, то налицо, на наш взгляд, подрыв генофонда.

КОРР.: Здесь у читателя, наверно, возникнет вопрос: что подразумевается, в частности, под термином «ослабленный» и вообще под понятием «здоровье»?

Б. И.: В соответствии с новейшими идеями, здоровье — это синтетическая категория, включающая в себя нравственную, интеллектуальную, психическую и соматическую (физиологическую) составляющие. При таком подходе не может считаться здоровым человек, имеющий, скажем, нравственную патологию, или ослабленный интеллект, или неустойчивую психику, наконец, хроническую болезнь либо физические дефекты. Во всех перечисленных случаях это ослабленный человек, не способный наравне со всеми полноценно выполнять свои социальные функции, как известно, стремительно усложняющиеся в наш век научно-технического прогресса.

КОРР.: Стало быть, по состоянию здоровья мы делимся на...

Б. И.: Пять групп. Такая классификация, на мой взгляд, представляется наиболее целесообразной.

Во-первых, здоровые. То есть те, у кого все параметры (медицинские, физиологические) в норме. Вторая группа — так называемые пограничные: предрасположенные к болезням, то есть со скрытыми дефектами в организме. Третья — хронически больные в стадии компенсации: организм приспособился к болезням. Четвертая — хроники с частичной компенсацией: организм ощущает изъян. Пятая — уже без компенсации плюс лица с физическими дефектами. Таким образом, все, кроме здоровых,— ослабленные. А третью, четвертую и пятую группы составляют так называемые маргиналы (замыкающие).

Обратимся к цифрам. Доля ослабленных (больных и предрасположенных к болезням) в Советском Союзе уже превысила упомянутую половину. Она составляет, по оценкам различных ученых, от 53 до 60 процентов. А в Москве, по данным ВНИИ гигиены детей и подростков Минздрава СССР, достигла 58—60 и более процентов. Среди детей и молодежи эта доля колеблется от 53 до 70 процентов (данные институтов ГКНО и Минздрава СССР). То есть выше, чем в целом по стране, что указывает на тенденцию к ухудшению генофонда нашего народа.

Увеличивается число учащихся с ослабленной мотивацией к учебе, а значит, с пониженным интеллектуальным потенциалом. Количество не сумевших до 18 лет получить дневное полное среднее образование возросло с 2/5 в начале 60-х годов до 3/5 в настоящее время.

К 14—17 годам каждый третий подросток страдает хронической патологией. Одних лишь отягощенных тяжелыми наследственными недугами в стране рождается до 100 тысяч ежегодно. Из 117 миллионов детей и молодежи до 24 лет — лишь 40—45 миллионов здоровых (первая группа). А из остальных 72—77 миллионов ослабленных: 30—40 миллионов — хронически больные и лица с физическими дефектами. Среди московских детей, родившихся на рубеже 70-х годов, ослабленные составили около 55 процентов. А среди появившихся на свет на рубеже 80-х — 70—90 процентов. Из них 20—25 — дебилы.

В целом по стране из 287 миллионов населения здоровая часть составляет всего 130—135 миллионов человек. Остальные 150—155 миллионов — ослабленные, среди которых 70—80 миллионов хронически больных и лиц с различными физическими и психическими дефектами. Скажем, количественный рост глухонемых сделал необходимым даже известную «модернизацию» программы «Время». По одним оценкам их 5 миллионов, по другим — 10, а в специальной литературе мне встречалась и цифра 17.

Все эти данные не являются ни ДСП («для служебного пользования»), ни НДП («не для печати»). Из публикаций институтов ГКНО и Минздрава СССР они потихоньку перекочевывают на страницы центральной прессы. Правда, основаны на приближенных оценках, ибо официальных исследований никто не проводил. А надо бы. Перед нами стоит срочная задача своего рода инвентаризации генофонда: ведь в нем заключена перспектива будущего всего общества.

КОРР.: Какими же причинами вызваны к жизни эти явления, обозначаемые вами столь жуткими цифрами и фактами?

Б. И.: На генофонд воздействует целый комплекс ослабляющих факторов. Таких, как: легальные наркотики (алко-

голь, никотин); нелегальные наркотики (соответственно все то, что принято называть наркотиками); промышленное загрязнение окружающей среды; различного рода стрессы; нерациональное питание; низкое качество медицинского обслуживания; сексуальное невежество; социально-экономические, бытовые и многие другие причины. Причем доля легальных наркотиков (главным образом алкоголя) в воздействии всех ослабляющих факторов на генофонд некоторыми учеными оценивается в... 98—99 процентов. Лично я придерживаюсь оценки академика Ф. Г. Углова — 90 процентов. Но даже если эта доля — 70 процентов (есть и такое мнение), все равно она будет решающей.

Итак, основным врагом генофонда нации, несомненно, является алкоголь. Достаточно обратиться к истории и вспомнить, что от него погибли целые цивилизации.

КОРР.: Я как-то слышал выражение: «Сходя с исторической арены, народ... спивается».

Б. И.: Я бы так не сказал, конечно. Мы не должны подходить категорично к столь многогранному вопросу. Однако, по логике вещей, именно из-за нерешенности социальных проблем энергия общества, не находя творческого выхода, обращается в саморазрушительные формы. И любое крупное социальное замешательство, как свидетельствует история, оборачивается алкоголизацией населения. И если кризис продолжается достаточно долгое время, может начаться «цепная» реакция ухудшения генофонда нации. Вплоть до вырождения ее на протяжении жизни всего нескольких поколений. Как и произошло, например, с античными народами, на территории проживания которых впоследствии сложились совершенно новые этносы. В том же контексте можно упомянуть и о печальной участи североамериканских индейцев.

Теперь давайте посмотрим, как шло затухание темпов экономического роста СССР и как происходила алкоголизация страны. С конца 40-х до начала 80-х годов алкопотребление у нас выросло в 7—8 раз! За тот же период темпы прироста валового национального продукта упали с 10 до 0,5, а производимого национального дохода — с 10 до 0 процентов. Взаимозависимость этих процессов представляется очевидной. Мы выдвинули концепцию трех коллапсов. Первый из них, **алконравственный,** характеризуется усилением в обществе тенденций к аморальности, бездуховности, иждивенчеству и так далее.

КОРР.: Извините, я перебью вас. У меня здесь возникают два замечания. Во-первых. Видимо, мы не должны путать алкоаморализацию с массовым безнравственным поведением людей под воздействием психологических факторов. К примеру, в эпоху террора доносить друг на друга подвигал граждан не алкоголь, а страх, идеологические деформации общественного сознания и тому подобное.

Б. И.: Несомненно. Алконравственный коллапс имеет сугубо физико-химическую природу. В его основе — органические нарушения, а не психические сдвиги.

КОРР.: А во-вторых, как мне кажется, говоря об алкоголизации общества **вообще,** нельзя забывать, что она охватывает определенные социальные слои **конкретно.** Поэтому алконравственные деформации первоначально характерны только для спивающейся части общества. А если в дальнейшем получают распространение во всей массе народа (через посредство генетических механизмов), то проявляются не раньше, чем сменится хотя бы одно поколение.

Б. И.: Согласен с вами.

Демогенетический же коллапс выражается в увеличении среди новорожденных числа маргиналов и вообще физически и психически ослабленных. А также в снижении творческого потенциала общества. И в этом смысле я бы рискнул сказать о начинающемся процессе его дебилизации. Даже наука (прямо по Свифту) олапутянивается. В ней уже возникают споры о том, с какого конца бить яйца. Создаются и осуществляются проекты, которые, мягко говоря, разумными назвать нельзя. И еще вот такой красноречивый факт: все Нобелевские премии, полученные советской наукой, были присуждены за работы, сделанные в период, предшествовавший бурной алкоголизации народа.

КОРР.: Позвольте тут с вами не согласиться. «Дебильные» проекты века рождаются, я думаю, по другим причинам, связанным главным образом с монополией министерств и ведомств на научную мысль. Почему-то, скажем, во Франции, где алкопотребление тоже довольно велико, не возникает проектов, подобных тем, какими печально знаменит Минводхоз.

Не наблюдается в этом развитом государстве и усиление тенденций к аморальности, бездуховности и т. п. По всей вероятности, в нем злоупотребляют спиртным в основном безработные, неустроенная молодежь, неудачники и т. д. Но не производители, как у нас.

Что же касается советской научной интеллигенции, вряд ли ухудшение качества ее деятельности как-то связано с пьянством народа в 60-х, 70-х и 80-х годах: вырошее за это время поколение ученых «уходит генами» в довольно трезвый период нашей истории. Но очень даже может быть, что будущее советской науки уже сейчас находится под угрозой. Ведь биологически интеллигенция сама себя не воспроизводит. Крепкие генетические узы связывают ее со своим народом, из которого она вышла и выходит. Поэтому завтрашняя судьба наших наук и искусств зависит от сегодняшнего генетического здоровья всего общества.

Б. И.: Увы, уже нездоровья. И, как вы верно заметили, спивается в первую очередь та часть нашего народа, которая непосредственно создает материальные ценности.

Наша экономика алкозависима. И не только финансово, но и... «органически»: ведь на производстве заняты люди, у большинства из которых организм в той или иной степени «ориентирован» на алкоголь. Это уже **алкоэкономический** коллапс.

КОРР.: А в какой именно степени организм бывает, как вы сказали, «ориентирован» на алкоголь?

Б. И.: По отношению к спиртному люди делятся на пять категорий. Во-первых, это **трезвенники.** Во-вторых, **умеренные:** неалкозависимы даже подсознательно, индифферентны, выпивают несколько раз в году. В-третьих, **средние:** употребление от ежеквартального до полумесячного-месячного; неявная психологическая (подсознательная) алкозависимость. В-четвертых, **пьяницы:** от двухнедельного до полунедельного; явная психологическая алкозависимость. В-пятых, **алкоголики;** биохимическая алкозависимость. Последние две группы относятся к **алкоманам** — людям, имеющим патологическое влечение к спиртному. Так вот только алкоманов у нас 50—60 миллионов! Из них 15—20 — алкоголики. Цифры, дающие пищу не только для размышления, но и научного исследования.

Так, поразмыслив над ними, я взялся за разработку нового понятия, назвав его **демографический потенциал.** Это — количественное отношение неалкозависимой части данной нации к населению всей земли. Оценки показывают, что народ, у которого этот показатель составляет не менее одного процента,— великий. Точнее: уже великий или еще великий. Или же в состоянии стать великим. То есть таким, который может существенно влиять, как говорится, на судьбы мира, на ход истории.

По нашим расчетам, советский демопотенциал в период ленинской администрации был 5 процентов, при Сталине упал до трех, при Хрущеве — до двух, а при Брежневе — до полутора. Таким образом, у нас остался запас прочности всего в каких-нибудь полпроцента. Утратив их, мы перестанем быть великим народом и отойдем на второй план современной цивилизации.

КОРР.: Чарльз Дарвин писал о том, что расцвет цивилизации находится «в зависимости... от увеличения числа людей, одаренных высокими умственными и нравственными качествами, равно как и от степени их дарований». И наоборот: если в народе складывается «перевес беспечных, порочных и вообще худших членов общества над лучшим классом людей, то нация, очевидно, начнет регрессировать, как и случалось столько раз в истории мира».

Взять, положим, Древний Рим. Историки утверждают, что среди причин его гибели было и так называемое «искоренение лучших», к которому прибегали многие императоры. А по поводу того, что Испания, долгое время развивавшаяся на уровне других европейских государств, «вдруг» — на несколько веков — задержалась в развитии, тот же Дарвин предполагает, что это явилось следствием «усердий» испанской инквизиции. Охотившейся, как и всякая другая, «за мыслями».

И мне кажется, что корни советской алкопроблемы уходят в сталинскую эпоху. И первый мощный удар по генам нашего народа был нанесен репрессиями. Алкоголь бьет по уже ослабленному генофонду. При усугубляющем воздействии промышленного загрязнения окружающей среды.

В этой связи весьма примечателен следующий факт. Советские ученые провели на крысах эксперимент, показавший, что загрязненная атмосфера провоцирует живой организм к потреблению алкоголя. В нормальных условиях крысы предпочитали обычную воду смешанной со спир-

том. Помещенные же в загазованную камеру тянутся к «коктейлю».

Б. И.: Поэтому, думается, вполне резонно шире употреблять пока еще мало распространенный у нас термин — алкоэкологический кризис. И даже — алкоэкологическая катастрофа.

Но позвольте мне завершить вашу, так сказать, историческую параллель. Мы подняли статистику по Испании. Оказалось, что после своих великих открытий она испытала столь же великий рост алкопотребления. И уже после этого по ней прокатилась мощная волна инквизиции. А вскоре испанское государство стало играть лишь вторые роли в европейской истории. Как видим, в нашей стране временная последовательность воздействия упомянутых факторов (террора и пьянства) иная, однако результата следует ожидать того же. И есть все основания, чтобы тревожиться по этому поводу.

Из-за алкоголя у нас сейчас детей-сирот, одиноких женщин, вдов и разведенных больше, чем было после Великой Отечественной. Наиболее алкоугнетаемой республикой стала РСФСР — становой хребет державы. Смертность по алкопричинам в ней в 15 раз выше, чем, например, в Азербайджане, и в 53 раза, чем в Армении. Высокая алколетальность (смертность вследствие употребления алкоголя) также в прибалтийских республиках, Молдавии, Белоруссии, на Украине.

В деревнях Российской Федерации мужчины доживают в среднем лишь до 45—50 лет! И можно с полным правом утверждать, что в значительной степени из-за чрезмерного потребления спиртного. В ряде областей РСФСР наблюдается даже депопуляция, то есть вымирание населения.

КОРР.: Что же ждет наш народ, по вашему мнению, если перестройка не решит алкоэкологическую проблему?

Б. И.: За перспективами далеко ходить не надо. Достаточно взять в руки книгу «Психогигиена детей и подростков», выпущенную в свет издательством «Медицина» в 1985 году. Читателю преподносится теория так называемого стереотипа дебильной личности. Звучит устрашающе, не правда ли? Но взгляните, что в ней написано:

«Появились благоприятные возможности для постепенной адаптации дебильных граждан в условиях развитого социализма»;

«Дебильный гражданин, как культурный человек, воспринимает плодотворные традиции, обычаи и представления о жизни в социалистическом обществе»;

«уверенно чувствует себя в своем социалистическом отечестве. Выполняя несложные обязаиности, он принимает посильное участие в социалистическом строительстве на работе и по месту жительства»;

«знает и уважает законы, постановления и другие нормативные акты»;

«участвует в защите мира, своего личного благополучия и социалистических завоеваний нашего народа»;

«Дебильный гражданин знаком с принципами гигиены»;

«Он разумно (!) организует досуг в соответствии со своими возможностями, поддерживает и укрепляет эмоциональные семейные связи, включая и удовлетворение эротических потребностей супругов»;

«он выполняет советы воспитателей своих детей, в необходимых случаях советуется с работниками консультационных пунктов и органов по работе с молодежью»;

«Дебильный учащийся приобретает знания, умения и навыки по программе профессионального обучения. Это дает ему квалификацию, позволяющую со знанием дела (!) работать по профессии, выполняя простые, главным образом ручные операции»;

«Социалистическое общество добьется того, чтобы ликвидировать предрассудки и ускорить социальную интеграцию физически и умственно неполноценных людей».

В последней цитате, в сущности, содержится призыв перевести дебила из статуса исключительного явления в статус массового гражданиа. Правда, это будет гражданин типа манкурта, описаниого Айтматовым.

КОРР.: Интеграция... манкуртов? Но это же фашизм! Точнее, его иовая — алкогольная — разновидность.

И у нас уже есть ее зачатки — в лице тех же ЛТП, тех же нормативных актов, которыми руководствуется милиция в своей «борьбе» с пьянством (да ее ли это дело?) и в соответствии с которыми она самым беспардонным образом нарушает конституционное право неприкосиовенности личности и жилища советских граждан. Стоит только «нажать киопку» — и включается репрессивная машина, осуществляя на практике упомянутую теорию «стереотипа дебильной личности».

Б. И.: Думаю, до этого дело не дойдет. А вот до начальных проявлений генетической деградации народа, похоже, уже дошло. Поэтому я утверждал и утверждаю: нужны экстренные меры по отрезвлению общества.

КОРР.: Наш собственный опыт свидетельствует о том, что эти меры не должны исчерпываться сугубо запретительными.

Б. И.: Безусловно. Но, прежде чем высказаться по этому поводу, хочу обратить ваше внимание на одну примечательную деталь.

За последние полтора века крупнейшим социально-полнтическим прорывам России всегда предшествовали или же сопутствовали кампании по отрезвлению общества. В середине прошлого столетия это совпало с реформой 1861 года. Отрезвление начала века сопровождало революционное движение. Противоалкогольная политика 1919—1925 годов при всех трагических минусах последующей эпохи способствовала индустриализации и победе над фашизмом. Борьба с пьянством 1985—1987 годов при всей своей непродуманности и непоследовательности притормозила стремительную алкоголизацию страны.

Исторические катастрофы происходили, с другой стороны, не без помощи алкоголя. Яркий пример — Франция. Перед сокрушительным поражением, нанесенным ей Бисмарком в 1871 году, в этой стране алкопотребление резко шло в гору. Глубокий алкогольный кризис французский народ переживал также перед началом второй мировой войны.

В связи с этим уместно будет вспомнить концепцию Л. Н. Гумилева о пассионарности развития народов. Согласно ей, каждая нация переживает пассионарные периоды (взрыв творческой энергии) и спады. Причем с удивительной скрупулезностью им предшествуют или сопутствуют соответственно эпохи трезвости и пьянства.

КОРР.: Однако при всем при том еще раз подчеркнем, что алкопроблема во всех случаях является производным от социально-экономических кризисов. Она углубляет их по принципу обратной связи, но не порождает. Представляется правильной такая логическая цепь событий: экономическая стагнация — алкоголизация общества — и только затем следует генетическая стагнация. По-видимому, в настоящее время мы находимся на промежуточном этапе. Ибо перестройка показала и продолжает показывать, что творческий потенциал советского народа еще очень высок.

Итак, очевидно, что борьба с пьянством должна заключаться в чем-то, направленном на ликвидацию его социальных предпосылок. В чем же?

Б. И.: Я и мои сторонники ориентируемся на комплексный подход: придерживаемся принципа корреляции (взаимодействия) психологических, административных и экономических противоалкогольных мер.

Кроме этого, мы предлагаем ввести так называемую советскую десятину. Что это значит? Одна десятая часть валовой продукции будет поступать в местные бюджеты. А прибыли с продажи спиртного, которые в настоящее время наполовину остаются на местах, наоборот, должны полностью направляться в госбюджет.

По нашим расчетам, «советская десятина» превысит сумму, поступающую сейчас в местные бюджеты с алкоторговли. Таким образом, с ее помощью могут быть достигнуты сразу три цели. Во-первых, местные бюджеты избавятся от алкозависимости. Во-вторых, они укрепятся финансово. В-третьих, будет подорвана социальная база алкомафии, которая в результате спекуляций получает, по нашим оценкам, нетрудовых доходов до 10—20 процентов от государственной алковыручки. На рубеже 80-х годов это составляло от 5 до 11, а в 1988-м — от 3 до 7 миллиардов в год! Введение «советской десятины» сократит круг лиц, имеющих управленческое отношение к алкообороту, от общего числа в 18 миллионов до нескольких тысяч. И, следовательно, существенно снизит потери от воровства и спекуляций в сфере алкопроизводства.

Лично я за то, чтобы при этом сокращать и его. Но при условии, что дефицитных товаров должно быть продано по меньшей мере на такую же сумму, на какую уменьшится реализация спиртного.

КОРР.: Иначе говоря, активно воздействовать на этот процесс. Но не исключительно административно-волевыми, а пропагандистскими и экономическими методами на научной основе.

Беседу вел Алексей НИКОЛАЕВ

ИСТОРИЯ ОРДЕРА НА АРЕСТ БЕРИЯ

Недавно я прочитал в «Юности» журнальный вариант книги А. Антонова-Овсеенко «Берия».

Рассказывая о трагической судьбе одного из руководителей ВЧК, М. С. Кедрова, автор ищет и не находит ответа на важный вопрос: почему в 1921 году Дзержинский оставил без последствий докладную Кедрова?

Наверное, одному мне известно, чем закончилось рассмотрение докладной и как много лет спустя, в 1939-м, то благодушие по отношению к Берия, а возможно, и укрывательство повлекли за собой трагедию Кедрова и его близких, нашей семьи, а в конечном счете обернулось всенародным горем.

Об этом рассказал в 1956 году мой отец Я. Д. Березин — секретарь МЧК в 1918—1921 годах и начальник административной части ГПУ — ОГПУ в 1922—1924 годах.

Тогда, в декабре двадцать первого, Дзержинский вызвал Березина и вручил ему ордер на арест Берия. При этом Феликс Эдмундович сказал, что Кедров написал докладную, в которой есть факты о провокаторской деятельности Берия — ответственного работника Азербайджанской ЧК.

Березин хорошо знал Кедрова по совместной работе в ЧК; в нашем семейном архиве сохранилась фотография руководителей ВЧК и МЧК в 1919 году, где Кедров и Березин запечатлены в одном строю. Что касается Берия, то тогда отец впервые услышал эту фамилию.

Для задержания и ареста Берия был назначен наряд из четырех чекистов. Ни старший по наряду, ни трое бойцов не знали, кого они должны арестовывать.

За несколько часов до прихода ночного поезда из Баку Дзержинский вновь вызвал Березина, сказал, что арест Берия отменяется, попросил сдать ордер и резко порвал его.

«Что случилось?» — спросил Березин.

«Позвонил Сталин и, сославшись на поручительство Микояна, попросил не принимать строгих мер к Берия»,— ответил Дзержинский.

Докладная Кедрова осталась у Дзержинского, он не передал ее в аппарат ЧК. Что стало дальше с докладной — неизвестно.

Берия в ту ночь не прибыл в Москву, за неявку в ВЧК он не получил упреков. Выходит, на то была санкция Дзержинского или Сталина.

Этот случай запомнился отцу навсегда. Он говорил мне, что Берия не мог получить в двадцать первом году от работников МЧК информацию о готовившемся аресте. К этому времени Березин знал о Берия практически все и считал, что он шкурой почувствовал нависшую над ним опасность ареста после проверки, проведенной Кедровым в Баку.

Сегодня все сходятся во мнении, что Сталин лишь в 1924 году узнал Берия. Получается, что главным ходатаем за этого подонка выступил Микоян, который знал его с 1919 года. Что это? Благодушие или расчетливое укрывательство провокатора, с которым они были «повязаны одной веревочкой»? Отец считал, что и на этот вопрос в свое время должен быть получен ясный ответ.

В конце 1931 года Берия неожиданно для многих возник на посту первого секретаря ЦК Компартии Грузии.

Ровно через год, в 1932-м, Березин был награжден вторым знаком Почетного чекиста. На торжествах, посвященных 15-летию органов ВЧК — ОГПУ, он в узком кругу чекистов рассказал о былых намерениях Дзержинского арестовать Берия и о роли Сталина и Микояна в этом деле.

В то время Менжинский был болен, а исполнявший обязанности председателя ОГПУ Ягода полностью ориентировался на Сталина. Порочный дух доносительства проник в ряды чекистов. Нашелся доносчик и на Березина.

В ноябре 1938 года Сталин назначил Берия наркомом внутренних дел. Он не стал арестовывать Кедрова и Березина, более того, терпел в центральном аппарате НКВД на руководящей должности сына Михаила Сергеевича — Игоря Кедрова.

На первый взгляд Берия добряк: кто старое помянет — тому глаз вон. Березин считал по-другому. На первых порах Берия был обязан выполнять установку Сталина: судьба людей, известных ему лично, решается только им самим. Обстоятельства заставляли Берия выжидать.

В начале 1939 года Кедров встретился с Березиным и сообщил, что он решил первым пойти в неравный бой с Берия. Он считал, что потом будет поздно.

Березин ответил: наивно думать, что Сталин не знает истинного лица Берия. Рассказал о неприятном объяснении с Ягодой по доносу в 1932 году. По мнению отца, у Кедрова не было шансов на успех. На это Михаил Сергеевич заявил, что лучше умереть в открытом бою, чем ждать, когда Берия убьет из-за угла.

В конце встречи Березин дал слово Кедрову, что в случае чего не выдаст его.

Вслед за сыном и отцом Кедровыми в июле 1939 года арестовали Березина — последнего оставшегося на свободе дважды Почетного чекиста.

О том, что было дальше, больно рассказывать и трудно писать. Но я все же пишу — это мой долг перед светлой памятью моих родителей.

Березину предъявили обвинение в попытке покушения на Ленина.

Здесь я должен сделать небольшое отступление. В 1919 году в районе Сокольников шайка вооруженных бандитов остановила и угнала автомобиль, в котором ехал Ленин. К счастью, Владимир Ильич при этом не пострадал. Грабители лишь забрали у него личные вещи. Вскоре московские чекисты настигли и в перестрелке смертельно ранили главаря шайки Якова Кошелькова. При обыске у него были изъяты документы убитого сотрудника МЧК Королева, 63 тысячи рублей, бомба, два маузера и браунинг. По номеру чекисты установили, что браунинг — личное оружие Ленина. Дело по уничтожению банды было за МЧК, операцией руководил Березин, поэтому Дзержинский поручил ему возвратить браунинг Ленину. Кстати, дело по ликвидации банды сохранилось в архиве, его отнесли к разряду уголовных.

Теперь возвращаюсь к основной теме. Бериевские следователи обвинили Березина, что браунинг был заряжен и когда он передавал его Ленину из рук в руки, то лишь бдительность личной охраны не позволила отцу исполнить «коварный замысел».

Предел кощунства? Да, но на это и был расчет: ошеломить Березина чудовищной ложью.

Через несколько суток после изнурительных допросов следователь открыто предложил Березину сделку: «Дайте показания на Михаила Кедрова, и мы снимем обвинение в попытке покушения на Ленина». Отец категорически отказался.

Бериевцы решили применить пытки. Одна из них — «пятый угол». Небольшая комната окрашена в темно-зеленый цвет, пол коричневый. С потолка свисает электролампа, прикрытая колпаком так, что высвечиваются лишь галифе и сапоги палачей, выстроившихся спиной к стене. Измученного допросами и бессонницей Березина надзиратели вталкивают в комнату. Садисты швыряют его от стены к стене, бьют сапогами и цинично выкрикивают: «Мы больше не будем, если ты, фашистская сволочь, найдешь здесь пятый угол».

На втором «сеансе» он уловил среди выкриков голос следователя. Собрал остаток сил и выждал, когда его толкнули в нужную сторону. Выпрямился как пружина, схватил палача за грудки, оторвал от пола и кулаком нанес сокрушительный удар в подбородок. Сам слышал, как затрещали кости; следователь затих на полу. На несколько секунд воцарилась мертвая тишина...

После жестоких побоев отец очнулся в карцере. Невыносимо болело сломанное ребро. Надели наручники, от которых отекали и не переставая болели руки. Новый следователь завел на Березина еще одно — уголовное — дело за нанесение телесных повреждений офицеру НКВД при исполнении им служебных обязанностей. И участие в пытках считалось у них исполнением служебного долга.

Ни сам Берия, ни его ближайшие сподручные не вызывали Березина на допросы. Моей матери А. И. Фатеевой «повезло» гораздо больше. Отчаявшись выбить показания из отца, Берия прислал за ней своих порученцев. Ее привезли в час ночи. Разговор он начал ровным голосом: «Ваш муж — враг народа. Мы Вам доверяем, как бывшему работнику ОГПУ и заместителю областного прокурора. Откажитесь от него. Я обещаю благополучие Вам и детям».

При первой же возможности вставить слово в размеренную речь Берия, мать заявила, что она ни за что не откажется от своего мужа, не верит, что он враг народа.

Берия по-прежнему спокойно ответил: «Ты сама выбрала свою судьбу».

Ее вывели из здания на Лубянке, сопроводили на другую сторону улицы и оставили. В то время мать была беременна на девятом месяце, мне не было еще двух лет, а старшей сестре Майе исполнилось четыре.

На следующий день у матери начались преждевременные роды и ее увезли в родильный дом. Службистый комендант нашего дома Нелькин уже успел «уплотнить» нас из четырех комнат в одну и маленькую.

Когда мать рожала младшую сестру Надежду, опять приехали на квартиру с вызовом на допрос. Опоздали на полсуток.

Как только мать вернулись домой, ее подняли с постели и в середине ночи увезли в НКВД. С ней «беседовал» кто-то (он не счел нужным представиться) из близких помощников Берия. Этот стал сразу кричать и угрожать. Ослабленная родами, подавленная морально, мать успела сказать, что отец коммунист с дооктябрьским стажем, один из любимцев Дзержинского, и... потеряла сознание.

Она упала грудью и лицом на стол. Очнулась через несколько секунд и, не поднимая головы, услышала, как хозяин кабинета спрашивает: «Что она мне здесь наделала?» Дежурный офицер обмакнул указательный палец в разлившуюся по столу белесую жидкость, понюхал, попробовал на вкус и ответил: «Да это же грудное молоко».

Хозяин с пренебрежением сказал: «Немедленно уберите ее».

Опять перевели на другую сторону улицы и велели идти домой.

Отец решил пойти на крайность: дал отвод новому следователю, молчал на допросах, при пытках стал отвечать ударом на удар.

И вдруг в конце марта 1940 года Березина переводят в сравнительно неплохую камеру, не вызывают на допросы, дают отоспаться. Еще через несколько дней следователь вызывает Березина и объявляет постановление наркомата внутренних дел о прекращении следствия по его делу за недоказанностью предъявленных обвинений и об освобождении из-под стражи. Он не поверил, насторожился.

Но вот его опять вызывают и говорят, что ему сегодня вернут носильные вещи и он может идти домой.

Березин снимает тюремную робу, надевает гимнастерку, на которой лишь дырки от наград.

«Где партбилет, где орден Ленина, где знаки Почетного чекиста?» — спрашивает он.

«Получите позже, а сейчас идите домой»,— отвечают ему.

«Пока не вернете, я не уйду отсюда»,— заявляет Березин.

Его опять переодевают в казенную одежду, водворяют в камеру. Проходят пять длинных дней. Ничто не меняется.

На шестой день приносят вещи и все, что требовал вернуть. Березин внимательно просматривает документы. Партбилет, орденская книжка и грамота к знаку Почетного чекиста от 1932 года — все в дубликатах. Лишь грамота к знаку Почетного чекиста № 28 от 1922 года, подписанная Дзержинским, в подлиннике.

Значит, был подготовлен к уничтожению, но освобожден. Почему?

Первое, что узнал после выхода из тюрьмы,— это Г. М. Кржижановский обращался с просьбой за него лично к Сталину. Второе — в 1939 году работала комиссия под председательством члена Политбюро Андреева по проверке НКВД на предмет выявления невинно осужденных. Наконец, дознался, что было постановление Верховного суда СССР, оправдавшее М. С. Кедрова. Но его нигде нет и никто не знает, где он.

Березин считал, что всего этого было недостаточно для его освобождения. Каждый день ждал нового ареста. Через несколько лет он пришел к умозаключению, что НКВД мог освободить его, а Верховный суд оправдал Кедрова только по личному указанию Сталина. Зачем же это нужно было Сталину? Такая уж у него была повадка «держать на крючке» людей из своего ближайшего окружения. У Сталина была редкостная память, и он, конечно же, помнил о разговоре с Дзержинским в двадцать первом. Он знал и о доносе на Березина в тридцать втором. М. С. Кедров и Я. Д. Березин были нужны Сталину как обладатели и живые свидетели компромата на Берия.

Судя по всему, Берия разгадал этот ход Сталина и втайне от него подписал постановление НКВД о расстреле Кедрова. Берия так и не освободил Кедрова из-под стражи вплоть до убийства. Уж слишком его боялся. Сделал он это грязное дело в 1941 году, когда началась война и Сталину было не до Кедрова. Для советского народа была Великая Отечественная война, а для провокатора Берия — удобный повод для сведения личных счетов. Конечно, он сильно рисковал: узнай о его самоуправстве Сталин, ему бы не поздоровилось. Но расчет опытного провокатора оказался для него верным.

Березин же не читал докладную Кедрова и не знал подробностей и конкретных фактов, т. е. представлял меньшую, чем Кедров, угрозу для Берия. К тому же секретариат ЦК утверждал Березина руководителем строительства различных энергетических объектов имени Сталина (ТЭЦ Завода им. Сталина, Сталиногорская ГРЭС и другие). Одним словом, он был на виду и даже имел рабочие контакты непосредственно со Сталиным.

Видимо, Берия высчитал, что физическое уничтожение Березина — это неоправданный риск.

Березину пришлось домысливать некоторые выводы по своему делу и делу М. С. Кедрова, т. к. все было покрыто плотной пеленой секретности. Хочется надеяться, что время внесет большую ясность в яркий эпизод борьбы здоровых сил в партии и органах государственной безопасности с Берия — этим безобразным порождением сталинизма.

Вместе с тем мне не хотелось бы, чтобы на основании моего письма можно было сделать вывод, что в НКВД работали только подонки. Мать рассказывала мне, что один из офицеров, делавших обыск у нас на квартире во время ареста отца, сказал своему напарнику: «Ты только посмотри, кого арестовали! Да как же это так! Что творится на белом свете?»

Тюремный парикмахер, что брил Березина, кормил его черносливом. Этот удивительный человек заранее вынимал косточки из сушеных слив и складывал их в карман халата. Во время бритья из своей руки скармливал отцу 10—15 слив, чтобы, как он говорил, не заклинивало желудок. Парикмахер сильно рисковал: в случае доноса на него получил бы лет пять лагерей.

История постепенно расставляет все по своим местам. Юные москвичи назвали именем Михаила Сергеевича Кедрова пионерскую дружину средней школы № 21 в Севастопольском районе. На родине моего отца, в районном центре Рышканы Молдавской ССР, земляки Якова Давидовича Березина присвоили его имя одной из улиц: они чтут его память и как заместителя председателя Бессарабского ЦИК Советов в 1917—1918 годах.

Ф. Я. БЕРЕЗИН.

г. Москва

Спорт

Владимир ЛУКЬЯЕВ

ПОДРЯДЧИКОВ-МЛАДШИЙ И ДРУГИЕ

Как вы думаете, сколько человек побывало на Северном полюсе после того, как восемьдесят лет назад туда впервые добрался американский полярный исследователь Роберт Пири? Я читал, что в Америке есть даже туристская компания, которая доставляет состоятельных «любителей приключений» на полюс, где они фотографируются на память и без хлопот возвращаются домой — в Калифорнию или Техас.

Но тех, кто в самом деле достиг полюса, не так уж много.

В прошедшем мае достигла Северного полюса — от берегов Канады — международная экспедиция под руководством знаменитого полярного путешественника Роберта Свана. Успех этой экспедиции имел большой резонанс — Сван был принят Маргарет Тэтчер.

Но за неделю до Свана достигла на лыжах полюса наша экспедиция «Арктика». И успех «Арктики» пока что не оценен по достоинству. Прибегая к горной терминологии, я бы сказал, что семеро из «Арктики» шли на полюс в «альпийском стиле», который отличается от общепринятого «осадного стиля» тем, что альпинисты берут с собой провиант, снаряжение и идут на вершину восьмитысячника и возвращаются вниз без предварительной установки промежуточных лагерей. В Арктике роль промежуточных лагерей выполняют авиазабросы. До мая этого года все лыжные экспедиции «осаждали» полюс с помощью... неба. Семеро из «Арктики» первыми в мире покорили полюс в «альпийском стиле».

Начальная попытка дойти на лыжах до полюса «автономно», то есть без авиазабросок, без собак и, что самое важное, без подсказки с воздуха о выборе наиболее легкого, малоторосиого азимута движения, была предпринята еще в 1964 году норвежцами. Эта задача оказалась настолько трудной, что следующая попытка была предпринята четырьмя канадскими лыжниками только двадцать лет спустя. В 1986—1988 годах рвался на полюс в «автономном режиме» и англичанин Рональд Файнес. Все они возвращались, не дойдя до полюса.

Два года назад с этой целью с западной оконечности острова Шмидта (архипелаг Северная Земля) стартовала впервые наша «Арктика». Все было нормально, погодные и ледовые условия хорошие, группа шла замечательно. До полюса оставалось 280 километров, десять дней хода — и цель достигнута. Но неожиданно случилось несчастье — скончался ветеран команды и один из ее «моторов» Юрий Никифорович Подрядчиков. Диагноз — прободная язва... Экспедиция была свернута.

Андрей Подрядчиков, 24-летний учитель 712-й московской школы, дошедший в этом году до полюса, говорит мне:

— Отец для меня всегда был личностью высшего порядка. Полковник, инженер, кандидат наук, имел несколько высших разрядов по различным видам спорта — как он все успевал...

— Андрей, а когда и как ты вошел в состав «Арктики»?

— Ребята из команды пришли к нам на поминальные сорок дней, и там я попросил Владимира Семеновича Чукова, руководителя экспедиции, принять меня в команду и дать возможность достичь той цели, к которой стремился отец.

— А ты был готов к этому?

— В общем, до 1987 года у меня уже были лыжные походы по Северу. Я ходил на Таймыре и Полярном Урале. Конечно, для тех задач, которые перед собой ставила «Арктика», моя подготовка была недостаточной. Но ребята поверили в мою решимость, и я занял место отца.

К повторному выходу по тому же маршруту и в том же режиме «Арктика» готовилась в прошлом году. Но за два дня до вылета команды из Москвы маршал Куликов отдал приказ запретить руководителю экспедиции полковнику Чукову проводить очередной отпуск в Арктике, оставаться в Москве и заниматься «восстановлением организма»!

— Этот запрет,— сказал мне Владимир Семенович,— как я узнал потом, был связан с тем, что маршалу сообщили, что на полюс пойдет группа, у которой большие международные задачи, и что ее выход согласован со многими высокими инстанциями, а тут какая-то «Арктика».

Помните, в прошлом году действительно состоялся грандиозный лыжный переход из СССР через Северный полюс в Канаду. Но разве успех «Арктики» отвлек бы внимание общественности от высоких миротворческих задач международной экспедиции?

— Я, конечно, очень был расстроен,— признался Андрей Подрядчиков.— Мы столько готовились, копили деньги, договаривались насчет отпусков, уже купили билеты — а тут одним приказом разрушили все наши планы. Владимир Семенович Чуков из той категории людей, которых я называю незаменимыми. Без него не было бы «Арктики» и, в конечном счете, не было бы и победы. Но прошлый год лично для меня не прошел даром. Помимо основной задачи — достижения полюса — у «Арктики» была и более широкая программа, частью которой был поход вокруг архипелага Северная Земля. Я в нем участвовал и набрался опыта, который пригодился год спустя.

В начале этого года о своем намерении идти на лыжах на Северный полюс в «автономном режиме» заявил и англичанин Роберт Сван, который три года назад вместе с Роджером *Миаром первым достиг на лыжах Южного полюса в «автономном режиме». На этот раз Сван организовал международную экспедицию, членом которой стал и участник команды Дмитрия Шпаро врач Михаил Малахов. Предстояло серьезное соперничество. Надо было усиленно тренироваться, а основное время, как и в предыдущие годы, уходило на поиски денег, снаряжения...*

— Когда я обращался за помощью в инстанции,— рассказывает Чуков,— у меня обычно спрашивали, какое народнохозяйственное значение имеет наша экспедиция. Мои доводы, что сам по себе такой переход уникален, не находили понимания.

Андрей Подрядчиков вспоминает:

— Тем временем наша с мамой квартира превратилась в пошивочное ателье, а мне самому пришлось научиться и шить, и кроить. В доме ступить порой было негде. На полу лежали части громадной палатки, чертеж которой сделал Владимир Семенович, выкройки курток, жилетов... Каждое утро, вне зависимости от погоды, я пробегал около десяти километров, а в выходные дни мы всей командой делали кольцевые марши — по 80 километров пешком или по 50 на лыжах. Вот, наверное, потешались те, кто мог наблюдать за нами во время этих тренировок! Идут люди с громадными рюкзаками и выбирают самые сложные участки — через овраги, болота, кустарники...

И все же «Арктика» обрела в конце концов статус экспедиции московского филиала Географического общества СССР. За несколько месяцев до старта были найдены и спонсоры: п/о «Электрон» из Львова, совместное советско-люксембургское предприятие «Отема», «Фонд социальных инициатив» из Находки, Главкосмос. Патроном экспедиции стала «Экономическая газета».

За несколько дней до старта стало известно, что Роберт Сван отказался от своих намерений идти на полюс автономно. И четвертого марта «Арктика» в составе 13 человек вышла на маршрут с западной оконечности острова Шмидта. Предстояло идти, если считать по меридиану, ровно 1000 километров, а практически это расстояние удлинялось на одну треть. Забегая вперед, скажу, что из-за неблагоприятного ледового дрейфа им пришлось пройти 1700 километров.

Первые две недели пути были самыми тяжелыми. Неожиданно резко упала температура, дул встречный ветер, подводило снаряжение, которое появилось только перед выходом на маршрут. И через две недели стало ясно, что двое дальше идти не могут, надо возвращаться назад, и для возвращения им был выделен сопровождающий...

— Было очень тяжело,— вспоминает Андрей.— Порой казалось — все, дальше идти не могу, нет сил. Черпал силы в такие минуты, вспоминая отца.

До полюса оставалось рукой подать, когда погиб Саша Рыбаков.

— Саша был другом моего отца,— рассказывает Андрей.— В тот последний для него день я все время шел рядом с ним. Он незадолго до выхода на полюс получил квартиру, и мы, помню, говорили о том, что вот вернемся в Москву, и я помогу ему с переездом. Обсуждали, куда что поставить, где приделать полочки... Шел он тяжело, но я верил, что он воспрянет — выдержит. Ведь оклемался же, дошел до цели другой участник, хотя был момент, когда уже думали самолет вызывать для его эвакуации... Ночью я лег поближе к Саше, просыпаясь, слушал, как он дышит, все, на мой взгляд, было нормально. Но к утру его состояние резко ухудшилось, и мы с нетерпением ждали самолет, который Чуков еще вечером вызвал по связи. К обеду Саши не стало. Диагноз — сердечная недостаточность... До прихода самолета надо было решать судьбу экспедиции — идти дальше или сворачиваться. Я считал, что мы должны достичь той цели, во имя которой отдали жизнь и отец, и Саша, и мои товарищи думали так же. Вскоре прилетел самолет, забрал Сашу и двух членов экспедиции с печальной миссией сопровождать умершего в Москву, а мы, оставшись всемером, на следующий день вышли на «последнюю прямую» к полюсу.

Но не слишком ли дорога́, спрашивается, цена этого рекорда? Обратимся вновь к альпинизму — покорение каждого восьмитысячника, увы, требует жертв. Так будем помнить имена Юрия Подрядчикова и Александра Рыбакова, отдавших жизнь ради утверждения «альпийского стиля» во льдах Арктики.

А Андрей Подрядчиков мечтает теперь дойти со своей командой в автономном режиме и до Южного полюса.

Вл. ВЛАДИН

Я — ДЕПУТАТ!

Фельетон

Если бы меня выбрали депутатом от нашего квартала, то я бы сразу со всей ответственностью и со всей мощью свойственного мне общественного темперамента стал бороться за светлое будущее этого региона.

Накопилось очень много безобразий. За примерами далеко ходить не надо.

Вызывает серьезные опасения тот факт, что в доме № 6 повысилась преступность. Васильев из кв. № 44 пьет сам и постоянно спаивает своего кота валерьянкой. Кот дурно воспитан, в состоянии опьянения носится по квартире и орет благим матом, пугая соседей из дома № 8, которые не пьют и не курят. Сын Кузьмичевых недавно разбил окно на 10-м этаже. Что по этому поводу мне ответит МВД и лично тов. Бакатин?

Гражданка Микулина из третьего подъезда держит у себя козу и возит ее гулять на лифте. Это нервирует окружающих. Ведь не каждый из нас имеет возможность держать козу со всеми вытекающими оттуда последствиями. Налицо явная социальная несправедливость. Может быть, стоит задуматься органам социального обеспечения о выдаче коз жителям нашего квартала, хотя бы престарелым инвалидам и многодетным семьям?

В квартире № 22 постоянно протекает кран. А между тем Министерство жилищно-коммунального хозяйства даже не пошевелилось, чтобы исправить это вопиющее безобразие.

У девочки Кати Лаутензак с 6-го этажа плохие гланды. Вопрос к вам, тов. Чазов, что вы собираетесь по этому поводу предпринять?

Министерство тяжелого машиностроения вот уже 4 месяца делает вид, что не замечает плохо работающий лифт в первом подъезде.

Да, очень много у нас еще недостатков. Плохо работает комитет по науке и технике. Я сам предложил в прошлом году совершенно новый вид дверного глазка и послал чертежи куда надо. Ни ответа, ни привета.

Я думаю, что мои избиратели не простили бы мне, если бы я ничего не сказал о Чибисове из 12-й кв. и Орадзе из 17-й, которые игнорируют правила общежития. В связи с этим предлагаю ввести Закон об уборке мест общего пользования.

Запущена политико-воспитательная работа в красном уголке. Не всем по душе развивающаяся гласность. Так, например, у Коломийцева из 3-го подъезда взломали почтовый ящик и выкрали экземпляр журнала «Плейбой». В лифте появляются анонимные надписи, содержащие непарламентские выражения в адрес всеми нами уважаемой жилички из д. № 4, корп. 3, кв. 149 М. Щ. (по понятным причинам, имя и фамилию не расшифровываю).

Теперь о молодежи. Я не принадлежу к тому поколению, которое считает, что она безнадежна. Да, была у нас группа юнцов, увлекающихся тяжелым роком, дискотеками и кинофильмом «Маленькая Вера». Но мы собрали бригаду во главе с токарем Михаилом Васильевым. В нее входили шофер Антонов, револьверщик Кузьмин, слесарь-водопроводчик Тюменев, мастер кузнечно-прессового цеха Буров и др. представители передового рабочего класса. Ради благородного дела они бросили все — домино, жен и детей, и крепко, по-мужски, нелицеприятно побеседовали с молодежью. Теперь бывшие поклонники рок-металла при виде представителей передовой части нашего общества дружно начинают разучивать «Рябинушку» или «Мы с тобой два берега у одной реки». Так что, тов. Мироненко, не все еще пропало. Советую брать с нас пример.

Ни для кого не секрет наши проблемы с сельским хозяйством. Так вот, гражданка Кузина с 21-го этажа посадила у себя на балконе южноамериканский экзотический фрукт авокадо, или, по-ихнему, «аллигаторова груша». Но этот фрукт жрет тополиная моль, он хиреет и урожайность его крайне мала. А как было бы хорошо, если бы у каждого из нас на праздничном столе всегда было по авокаде! Помогите, дорогие аграрии!

Плохо работает пункт приема стеклопосуды № 18. Они категорически отказываются принимать трехлитровые банки, мотивируя это пресловутым отсутствием тары. Товарищи депутаты! Предлагаю создать комиссию по проверке деятельности пункта приема стеклопосуды № 18. Во главе комиссии предлагаю кандидатуру какого-нибудь академика либо, на худой конец, директора какого-нибудь часового завода.

Много нареканий у моих избирателей к гаражам во дворе. У них очень скрипят двери. Мосгорисполком должен наконец обратить на это свое пристальное внимание.

Надо вести беспощадную борьбу с надписями «Спартак — чемпион!» как не выдерживающими плюрализм мнений.

Вот уже месяц, как у нас засорился мусоропровод. Я требую, чтобы Верховный Совет вместе с Советом Министров, подключив Госплан, срочно выделил средства для его очистки!

Вот что я бы натворил, если бы был депутатом. И тогда в нашем квартале наступило бы светлое будущее!

Да, чуть не забыл. У меня депутатский запрос — сын Мароkяна Ашот отобрал у моего мальчика мячик. Так пускай вернет.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КРИК ДУШИ

За последнее время «Зеленый портфель» получил со всех концов страны 567 юмористических рассказов про конкурсы красоты. Сюжеты этих произведений разных авторов удивительно похожи: в финале победительницей оказывается пожилая женщина, имеющая наилучшие производственные показатели. Поэтому, если кто-либо еще собирается прислать нам смешную историю о том, как у них на предприятии решили провести конкурс красоты, местком начал обсуждать кандидатуры и т. д., то спешим сообщить — спасибо, эту хохму мы уже слышали. Придумайте что-нибудь поостроумней.

Александр ИВАНОВ

Пародии

Весна на Арбате

Кончается зима. Тягучим тестом
Расплылся снег и задышал тепло.
И каплями художественных текстов
Забрызгано оконное стекло.

(Анна ГЕДЫМИН)

**Весна, ты оценила нас, как видно!
Теплом дохнуло. И сугроб осел.
Подходишь к окнам — нн черта
не видно,
Весь город как-то сразу окосел.**

**А город весел! Дышит полной грудью.
И тщетно трет ладонями домин
Свои глаза, заляпанные мутью
Художественных текстов Гедымин.**

Преображение

Вдруг зальюсь румянцем,—
Скрою боль и грусть.
С помощью двух пальцев
Больше не сморкнусь.

(Виктор КОРОТАЕВ)

**Грустно признаваться,
Боль скривила рот.
Я, конечно, братцы,
Раньше был не тот.**

**Был я хулиганом,
Сопли до пупа.
Водку нил стаканом,
В общем, шантрапа.**

**Нынче изменился,
Галстуки ношу.
Как бы вновь родился
И стихи пишу.**

**Встречных не пугаю,
Редко матерюсь,
Громко не рыгаю,
На пол не сморкнусь.**

**Вежлив непривычно,
Пью теперь боржом.
Шамаю прилично —
Вилкой и ножом.**

**Не шути со мною,
Ставь на постамент!
Был шпана шнаною,
Стал — интеллигент!**

Величальная

Каким здоровьем нужно обладать,
чтоб быть на свете
русским человеком!
Какую ж нужно силушку иметь,
чтоб всю отдать
и стать еще сильнее!

(Феликс ЧУЕВ)

**Мне гордости вовеки не избыть,
и горд всегда
и не могу иначе.
Каким же нужно фантазером быть,
чтоб все снустить
и стать еще богаче!**

**Как нашему народу не воздать,
как из него не сотворить кумира.
Каким здоровьем нужно обладать,
чтоб все сгноить
и содержать полмира!**

**Кто б мог такое, кроме нас,
суметь —
тернеть гордясь,
склоняться и не охнуть.
Какую ж нужно силушку иметь,
чтоб все сгубить
и до сих пор не сдохнуть!**

На вахте

Как младший штурман
я стоял столбом.
Радист сопел, работая ключом.
А капитан — в иллюминатор лбом —
о чем-то думал. Знать бы мне,
о чем...

(Игорь КОЗЛОВ)

**С овеянным ветрами чистым лбом,
как младший штурман трепетен и юн,
на вахте и всегда стоял столбом,
иначе посылали мыть гальюн.**

**На вахте я всегда стихи слагал,
в мороз и на тронической жаре.
Радист сопел, но все не постигал
глубиниой тайны точек и тире.**

**А я свод неба подпирал плечом,
сознанием в надмирности витал.
Наш капитан не мыслил ни о чем,
когда и вслух стихи свои читал.**

**Я внутреннему голосу внимал
буквально в состоянии любом...
Тогда еще никто не понимал,
что думал я в иллюминатор лбом.**

В НОМЕРЕ:

Проза

Геннадий ГОЛОВИН. Чужая сторона. *Повесть* **(5)**
Анастасия ЦВЕТАЕВА. Зимний старческий Коктебель (45)

Наша публикация

Марк АЛДАНОВ. Святая Елена, маленький остров. *Повесть* **(23)**

Наследие

Леонид КИСЕЛЕВ. «Поэты умирают в небесах...» (52)
Надежда МАНДЕЛЬШТАМ. Воспоминания. *(Заключительные главы)* **(55)**

Поэзия

Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ (19), Алексей РЕШЕТОВ (44), Армен АКОПЯН (53), Леонард ЛАВЛИНСКИЙ (54)

Публицистика

Сергей СТАНКЕВИЧ: «Там, где начинается единство, там заканчивается парламент» (2)
20-я комната. *Заседание двадцать седьмое* **(66)**
Рой МЕДВЕДЕВ. Они окружали Сталина. *Глава пятая: Несостоявшийся «наследник» Сталина* **(71)**

Критика

Наталья ИВАНОВА. Потаенный Тендряков (84)

Культура и искусство

Виктор ЛИПАТОВ. Белый танец с чиновником и без него (63)
Николай КАРЕТНИКОВ. Темы с вариациями (78)

Наука и техника

Процент величия? *Интервью с Б. И. Искаковым* **(88)**

Почта «Юности»

Феликс БЕРЕЗИН. История ордера на арест Берия (91)

Спорт

Владимир ЛУКЬЯЕВ. Подрядчиков-младший и другие (93)

Зеленый портфель

Вл. ВЛАДИН. Я — депутат! (95)
Александр ИВАНОВ. Пародии (96)

Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются.
Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в издательство «Правда» по адресу: 125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

Оформление обложки Р. Доминова
Главный художник О. Кокин
Художник Ю. Цишевский
Технический редактор О. Трепенок.

Сдано в набор 21.06.89. Подп. к печ. 02.08.89. А 09917
Формат 84×60⅛. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,68.
Усл. кр.-отт. 19,53. Уч.-изд. л. 17,75.
Тираж 3 100 000 экз. Заказ № 831
Цена 70 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

© Издательство ЦК КПСС «Правда», «Юность», 1989 г.

ПРИТЧИ АЛЕКСЕЯ БЕГОВА

Картины, экспонировавшиеся в Москве на первой персональной выставке 37-летнего художника Алексея Бегова, написаны за два последних года. Значительная часть работ Алексея и его жены — художницы Карины Назаровой — сгорела при пожаре в мастерской. Ничья жизнь не застрахована от потерь. Но одних они ломают, в других мобилизуют силы. Бегов принадлежит ко вторым.

Его картины — притчи. Они лаконичны и предельно выразительны. Угадать верность одной теме трудно. Художник размышляет над непоправимой судьбой поколения своих родителей, испытанных войной, или тех, кто опален огнем Афганистана, — картина «В госпитале». Или вот перед вами холст «В парке», где люди поистине объединены танцем, но каждый думает о своей жизни. Алексею не свойственно драматизировать больные проблемы общества. Напротив, он стремится ненавязчиво подсказать выход.

Каждая выставка — это праздник. Окунувшись в атмосферу, созданную талантом одного человека — Алексея Бегова, я почувствовала: как давно ему хотелось поговорить с публикой и как ждет этот глубокий и чуткий собеседник ответного слова.

А. КОРОЛЕВА

Добрый человек.
В парке.

Юность. 1989. № 9, 1 — 96.
Индекс 71120
70 коп.

АНОНС

Дорогие читатели!

В конце этого года и в начале будущего вы прочтете:

**Романы, повести, рассказы молодых писателей:
Петра КОЖЕВНИКОВА, Александра ЛАВРИНА,
Валерии НАРБИКОВОЙ, Евгения ПОПОВА.
Документальное повествование Юрия ЩЕРБАКА:
«Голод на Украине в 30-е годы».
«Юность» предполагает опубликовать следующие произведения:
Габриэль Гарсиа МАРКЕС. «Генерал в его лабиринте».
Эдуард ЛИМОНОВ. Рассказы.
Лев ТРОЦКИЙ. Из книги «Портреты революционеров».
Марк АЛДАНОВ. «Убийство Троцкого».
Евгений ЗАМЯТИН, Владимир НАБОКОВ, Михаил ОСОРГИН — рассказы.
Страницы русской философской мысли —
Николай БЕРДЯЕВ, Василий РОЗАНОВ, Павел ФЛОРЕНСКИЙ.
Лев ТИМОФЕЕВ. «Моление о чаше».
Леонид БОРОДИН. Повесть и рассказы.
Политический детектив Ле КАРРЕ «Маленькая барабанщица».
Публикации в «20-й комнате»:
тревожные проблемы молодых с точки зрения молодежи.
Материалы нашей экологической экспедиции.
Поэтическая рубрика:
Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ, Владимир КОРНИЛОВ,
Наум КОРЖАВИН, Булат ОКУДЖАВА, Владимир РЕЦЕПТЕР,
Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Владимир СОКОЛОВ,
Олег ЧУХОНЦЕВ и другие.
Под рубрикой «Испытательный стенд»
экспериментальные публикации прозы и поэзии молодых.
Нам обещали свои произведения
Анатолий АЛЕКСИН, Владимир АМЛИНСКИЙ, Андрей БИТОВ,
Борис ВАСИЛЬЕВ, Борис МОЖАЕВ.**